

- ЧУДО У ЛЬВИНЫХ ВОРОТ -
в новой повести Юлии Винер
- ЯЗЫКИ НАРОДОВ -
в статье Владимира Ханана
- ЯЗЫКИ ПОЛИТИКОВ -
в статье Александра Мелихова
- ТРАГЕДИЯ "УФТИ" -
Харьковского исследовательского
центра в 1937 году
- ПОРТРЕТНАЯ ГАЛЕРЕЯ
Дмитрия Хмельницкого

117

22

№ 117

МИЛАНСКИЕ
ИЗДАНИЯ
МОСКВА - АВГУСТ



Общественно-политический и литературный
журнал еврейской интеллигенции из СНГ в Израиле

ДВАДЦАТЬ ДВА



117

Журнал выходит при содействии министерства науки
и культуры; Центра интеграции репатриантов - деятелей
литературы и искусства; министерства абсорбции

2000

СОДЕРЖАНИЕ

ЛИТЕРАТУРА

Юлия Винер. Снег в Гефсиманском саду	3
Катя Капович. Ночной слесарь	66
Яков Шехтер. Рассказы	81
Валерий Стратиевский. Стихи	94
Вадим Фадин. Пейзаж в окне напротив	99

ИЕРУСАЛИМСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ

Владимир Ханан. На чужом языке	108
Эдуард Бормашенко. Эстетические пристрастия еврейской мысли	117

КРИЗИС ЛИБЕРАЛИЗМА

Александр Мелихов. От релятивизма к законности	132
--	-----

ИТОГИ ВЕКА

Юрий Ранюк. "Дело УФТИ"	148
Михаил Каганов. Через 60 лет	173
Александр Воронель. Печальный аккорд	182

ЗАМЕТКИ КНИГОЧЕЯ

Михаил Юдсон. К радости, или Ясные сны	186
Эли Корман. Зачем горят рукописи	1 3

ПОРТРЕТНАЯ ГАЛЕРЕЯ Дмитрия Хмельницкого 201

ОТКЛИКИ

Эмилия Обухова. Слово "О словах"	210
Михаил Юлин. Чувство чуда	216
Михаил Копелиович. Книжка с картинками	219
Коротко об авторах	223

*На первой странице: Иерусалим - город, о котором идет спор
(К статье Владимира Ханана).*

*На последней странице обложки: Поэт Григорий Остер
(Портретная галерея Дмитрия Хмельницкого)*

ЛИТЕРАТУРА

Юлия Винер

СНЕГ В ГЕФСИМАНСКОМ САДУ

Самих был десятый ребенок у своего отца и единственный сын. А его отец у своего отца был тринадцатый, и тоже единственный мужской отпрыск. Поэтому отец и дед непременно хотели женить Самиха как можно раньше, чтобы дожидаться продолжателя рода. Когда Самиху было четырнадцать лет, они собрались с деньгами и сосватали ему семнадцатилетнюю Наджму, и, к великой радости всей семьи, через год у Самиха родился сын. Самиху было приятно, что он угодил отцу и деду, приятно было называться по имени сына, "Абу Тайсер", но жена и ребенок никак его не интересовали. Еще через год Наджма родила второго сына, Вошди, и тогда Самих решил, что большего семья не вправе от него требовать. Он сказал отцу, что в деревне, на отцовской земле, от которой зависели еще пять его незамужних сестер, ему на хлеб все равно не заработать, поэтому он оставит пока жену с детьми дома, а сам уйдет в Иерусалим и будет там учиться и работать. Отец не хотел этого, но, с тех пор как у Самиха родилось двое крепких, здоровых мальчиков, он испытывал перед сыном некоторую робость и не посмел его остановить.

Самих поселился у тетки в Старом городе и устроился в гараж, мыть машины. Зарабатывал он не много, но это были его первые деньги, и он тратил их почти все на себя, благо тетка пока ничего не требовала за хлеб и кров. Раз в две-три недели Самих ездил домой, спал с женой и давал ей немного денег. И то, и другое все больше его тяготило. В городе он насмотрелся на стройных, легко и красиво одетых туристок и израильтянок, а у Наджмы был рыхлый выпяченный живот, испорченная татуировкой кожа на лице, и носила она все время одно и то же застиранное черное платье, вышитое матерью Самиха. Денег тоже было жалко. Жена и дети все равно жили на всем готовом, а Самиху нужна была одежда, такая, как у всех городских парней, да и других расходов было много. Са-

мих стал ездить домой все реже. Тем не менее, к восемнадцати годам у него уже было трое детей, и Самих, набравшийся городских познаний, сказал жене, чтобы она пошла в больницу и перевязала трубы. Жена испугалась, заплакала и пожаловалась отцу Самиха. Отец, страстно желавший как можно больше внуков-мальчиков, начал было ругать Самиха, но Самих был уже городской человек, слушать отца не захотел, расплевался с ним и с женой и совсем почти перестал бывать дома.

Теперь надо было бы и впрямь чему-нибудь поучиться. Например, хорошо бы стать механиком в том же гараже. В гараж приезжали чинить свои машины консульские чиновники и работники ООН, и механики подолгу разговаривали с ними по-английски и зарабатывали хорошие деньги. Самиху уже немного надоело жить у тетки, спать в одной комнате с ее детьми. Телевизор у тетки был старый, черно-белый, а о видеомэгагнитофоне и думать было смешно. А у многих его приятелей было и видео, и цветной телевизор, и у некоторых даже автомобили. Самиху тоже хотелось, для этого нужны были деньги. Самих купил несколько учебников по автомеханике, но они были или на иврите, или на английском, и только один на арабском. На иврите Самих болтал свободно, по-английски кое-как, но читать не умел толком ни на одном языке, так как со времени женитьбы бросил учиться. В школе для автомехаников Самиху сказали, что сперва надо закончить хотя бы семь-восемь классов, и потребовали много денег за обучение.

В сущности, ему было неплохо и так, а научиться можно было постепенно и в гараже, присматриваясь к механикам. Старый Валид не раз говорил ему, что руки у него хорошие. Самих дал себе срок до осени – как раз исполнится девятнадцать, он напросится к Валиду в помощники, и тот его всему научит. А оставшиеся летние месяцы Самиху хотелось еще погулять.

Но вышло так, что гулять ему пришлось не по своей воле, и дольше, чем он планировал. В гараже поставили моечную машину и Самиха уволили.

Теперь он часами простаивал на углу улицы с другими парнями. Изредка ему удавалось навязаться в проводники какой-нибудь растерянной паре туристов, и он таскал их по Крестному пути, повторяя фразы, подхваченные от бесчисленных местных гидов: “А здесь господа нашего Иисуса Христа подвергли бичеванию... А здесь господь наш Иисус Христос споткнулся под тяжестью креста...”. Туристы были всегда недовольны Самихом и пытались от

него отделаться, но он не обращал на это внимания, зная, что в конце концов они обязательно что-нибудь заплатят. Он еще раньше заметил, что люди из Европы и Америки, особенно молодые, как-то особенно, участливо предупредительны к нему и его товарищам. Самих не вполне понимал, почему, но видел, что если он, подражая другим, повторял: “Добро пожаловать в мою страну” или “Мы, палестинцы, любим гостей”, – предупредительность туристов удваивалась, и они менее решительно отбивались от непрошенных услуг. Правда, Самих замечал, что между собой все эти люди употребляли совсем другой род вежливости. Он не мог бы объяснить, в чем разница. Просто он чувствовал, что в глубине души он этим людям неприятен, что на самом деле они относятся к нему свысока и с некоторой брезгливой осторожностью, как к больному хотя и опасной, нечистой, но любопытной болезнью, которую они, по каким-то своим соображениям, решили считать почтенной и заслуживающей симпатии. Впрочем, Самих не тратил времени на размышления, а просто пользовался этим, когда удавалось.

Один раз ему посчастливилось заманить в кафе двух больших, белорозовых шведских девушек с голыми, заманчиво подрумяненными солнцем плечами и ляжками. От шведок он денежного профита не ждал, а сидел с ними в кафе под завистливыми взглядами приятелей и терпеливо слушал, понимая с пятого на десятое, как девушки выражали сочувствие его тяжелому положению и объясняли ему, что они, шведки, делают у себя, в Швеции, для его благополучия. Затем Самих проводил их в молодежное общежитие, где они остановились, и там убедился на деле, какие у них гладкие спины и бока и какие мускулистые животы и ноги. Шведки и в постели были доброжелательны и вежливы. Они подробно и нестеснительно объясняли Самиху чего, где и как они хотят. Некоторые их требования смущали Самиха, другие казались просто противными. Однако мужское достоинство требовало, чтобы он все это выполнил. Он скоро обнаружил, что, несмотря на четыре года женатой жизни, очень мало что знает и умеет. Тем не менее, девушки как будто остались им довольны, хвалили за силу и готовность.

Однако, когда он предложил встретиться снова, втроем или с каждой по отдельности, они отговорились экскурсиями и близким отъездом. Самих, как бы в шутку, сказал, что тогда он приедет к ним в гости в Швецию, и они так же шутливо наказали непременно их навестить. Но адресов не предложили, и Самих ушел из об-

щежития с неясным чувством, что ему не только ничего не дали, но, наоборот, обманом что-то у него отняли.

У приятелей, однако, это происшествие прибавило ему авторитета, и он с новым интересом стоял на углу и приставал к женщинам-туристкам с предложением показать достопримечательности Старого города либо выпить чашечку кофе. Постепенно репертуар его расширился, вместо того, чтобы повторять, как заведенный, стандартные фразы “Не могу ли я вам помочь?” или “Вы из Америки? Я люблю американцев”, – он начал придумывать разные уловки, чтобы привлечь к себе внимание. Держал в руках английскую книгу и просил прохожих туристов растолковать ему непонятное слово. Спрашивал девушку, не студентка ли она, и если оказывалось, что студентка, объяснял, что и он студент, но – тут он грустно понижал голос – лишен возможности учиться... Это последнее пользовалось особым успехом и приносило ему порядочный доход как в денежном, так и в других измерениях.

Все это тешило Самиха как азартная и увлекательная игра. Но настоящего удовлетворения не давало. Заработок был ненадежный, и Самих знал, что в профессию это превращать нельзя, а надо искать работу. Тем более, что и тетка намекнула раз, другой, а потом прямо спросила, не собирается ли Самих возвращаться домой. А женщины и девушки шли вереницей мимо Самиха, изредка останавливались, брали свое и исчезали, не оставляя взамен ничего, кроме дешевых подарков и неопределенной усталости. И Самих начал подозревать, что излюбленные разговоры его приятелей о доступных и изголодавшихся западных женщинах, которые утомлены своими бессильными бледными мужчинами и ищут горячей, темной крови – что все эти разговоры немногого стоят. Такая женщина, говорили приятели, способна без памяти влюбиться в восточного мужчину, если только он сумеет по-настоящему ей угодить, и тогда делай с нею что хочешь: хоть бросай с издевкой, хоть обирай до нитки, а лучше всего, привяжи к себе как следует, женись и поезжай жить туда, к ней, в золотую Америку или Европу, где всем заботам и тревогам конец. Последнее для Самиха было бы несколько затруднительно, но Самих не сомневался, что, подвернись только случай, как-нибудь это можно было бы устроить. И кто бы там, в Европе или в Америке, узнал когда про животастую Наджму и ее сопляков? Но случай никак не подворачивался, хотя Самих нравился женщинам и скоро научился делать то, что они хотели, без особого отвращения. Самих и его приятели наперегонки хва-

стались друг перед другом своими успехами у туристок, но до сих пор ни один не женился и не уехал, и даже встретиться с одной и той же девушкой дважды мало кому удавалось.

Женщину, проходившую по улице Акбат эд-Дарваш, где жил Самих, он зацепил просто по привычке, как зацеплял всех одиноких неместных девушек. Вернее, он подумал, что она неместная, и по одежде, и по чему-то неуловимому в облике. На самом же деле она была израильтянка, хотя и сравнительно недавняя. Милочка приехала из России несколько лет назад. Сейчас она шла к своему любимому человеку, голландцу по имени Ангелус, который жил в маленьком домике в Гефсимании, на склоне Масличной горы.

– Эй, мисс, – крикнул Самих по-английски навстречу женщине.
– Мне кажется, мы с вами знакомы.

Женщина шла задумавшись, и при окрике Самиха запнулась и остановилась, вежливо глядя на него близорукими глазами. Самих увидел, как готовность узнать знакомого быстро сменилась на ее лице выражением сдержанного неудовольствия. Тем не менее он храбро продолжал:

– Вы меня не узнаете? Мы же с вами недавно разговаривали.

Женщина еще секунду поколебалась, боясь обидеть невзначай, но потом коротко качнула головой, слегка улыбнулась и зашагала дальше.

Наметанный взгляд Самиха поймал эту мгновенную, нерешительную улыбку, это короткое колебание в близоруких глазах. Оценил он и удаляющуюся фигуру женщины. Положим, “мисс” с его стороны было просто любезностью. Женщина была по меньшей мере десятью годами старше Самиха. Не бог весть какая добыча. И не блондинка – итальянка, наверно, или француженка. По сравнению с любой известной Самиху шведкой или датчанкой, ничего особенного. Ростом невелика, тонкие руки и ноги, небольшая голова на тонкой шее. Но при этом полные круглые бедра, и зад, и тяжелая грудь, колеблющаяся под белой блузкой. И эта не совсем решительная улыбка... Самих быстро нырнул в боковую улочку, пробежал кружным путем и выскочил на эд-Дарваш у дальнего угла, обогнав медленно идущую женщину.

А Милочка, действительно, так и не была вполне уверена, что никогда не встречала этого красивого жуковатого парня. Такие же жесткие, тщательно расчесанные черные волосы, черные глаза с красноватыми белками, пухлые губы под аккуратно подбритыми усиками, такие же свежеотглаженные рубахи, расстегнутые до се-

редины мускулистой груди, и тесные джинсы были у множества молодых арабов, с которыми она имела дело, когда, по пути к Ангелусу, заходила на почту, в магазины, в аптеку на улице Салах эд-Дин в восточном Иерусалиме. Возможно, она и сталкивалась с ним где-нибудь там и даже обменялась несколькими словами. И она досадовала на свою нецепкую память.

У поворота на эль-Муджахеддин Милочка подняла голову и вздрогнула: все тот же парень в свежей белой рубашке, с жуковатыми глазами в длинных ресницах стоял перед нею и улыбался ей прямо в лицо. Милочке стало смешно, и она, уверенная теперь, что это просто уличный пристава, весело помотала головой, хотя и знала, что делать этого не следует. И конечно же, парень немедленно пошел рядом, трогая ее за локоть и быстро выбалтывая свой набор английских фраз. Она все так же весело, но решительно отстранила его, нырнула во встречную толпу туристов, и Самих потерял ее из виду.

Потеря была невелика, и Самих тут же о ней забыл. Но спустя несколько дней, играя с приятелем в нарды у входа в кафе около Иродовых ворот, он снова заметил издали эту женщину. Она быстро шагала на своих тонких ногах, слегка клонясь набок под тяжестью большой сумки с продуктами. На этот раз она гораздо меньше была похожа на туристку. Самих заколебался, но не мог удержаться от соблазна покрасоваться перед приятелем:

– Видишь вон ту, в красном платочке? Гляди, как я ее сделаю.

Он подскочил к женщине:

– Здравствуй, мисс. Узнаете? Это я. Как поживаете?

Милочка узнала его. Но ей было жарко, сумка оттягивала руку, она устала, и назойливая игривость молодого человека раздражала ее.

– Спасибо, хорошо, – сухо ответила она, не останавливаясь и не повернув головы.

– Не хотите ли выпить чашечку кофе, – бубнил парень на своем школьно-туристском языке и терся локтем о ее плечо.

– Оставь меня в покое, – резко бросила женщина на иврите.

Ну, так и есть. Израильтянка. Чтоб ей пусто было. Не стоило и стараться. Надо было плюнуть и повернуть назад. Но приятель смотрел на Самиха, услышать же, на каком языке они говорят, не мог, и следовало еще немного поманежить тетку, а потом сделать вид, что это он сам не захотел, и бросить ее. Продержаться при ней еще минутку-другую, заставить ее как-нибудь повернуть голову и

улыбнуться, а потом сделать за ее спиной, на приятеля, грубый жест и уйти.

А Милочка, ускоряя шаг и уклоняясь от жесткого плеча парня, думала с досадой, что раз уж он привязался, то мог бы хотя бы предложить понести ее сумку, от которой занемели пальцы и ломило спину. Ей было так тяжело, что она наверняка отдала бы парню сумку, и улыбнулась бы ему, и сказала бы что-нибудь хотя и расхолаживающее, но необидное.

Но Самиху и в голову не приходило ничего подобного, и он с разгону все бормотал про свой кофе. Милочка сказала с чувством:

– Послушай, да пошел же ты к черту!

А Самих как раз кое-что придумал. Он забежал спереди, ухватился рукой за узел своего шейного платочка, выпрошенного когда-то у одной из северных девушек, и предложил:

– Давай меняться, а? Тебе нравится мой платочек? Смотри какой, шелковый! А мне нравится твой.

Милочка даже не взглянула на его платок. Не задумываясь, она сдернула с головы свой, сунула парню в руки, пробормотала злобно сквозь зубы:

– Только отвяжись, отвяжись! – и почти побежала дальше. А Самих остался на месте с большим красным платком в руках.

Зима в этом году была теплая, но в самом начале марта вечером пошел сильный снег. Снег шел всю ночь, и в Гефсиманском саду, как и во всем Иерусалиме, повалило и поломало множество деревьев. Ночь была беспокойная, в воздухе висело глухое напряжение; спалось плохо. Ангелус встал в половине седьмого и едва смог открыть дверь: молоденький кипарис, посаженный им с осени, согнулся до земли и упирался верхушкой в дверь. Лимонное дерево низко свесило крону, в снегу вокруг растерянных блестящих лимонов уже образовались серые проталины, в развилке поломанных ветвей сидел круглый снежный каравай. Тревожно и обманчиво пахло наступающим долгим ненастьем, бесконечными сумерками под глухой снежной шубой, тусклым низким небом. Сознание отчетливо говорило, что это Иерусалим, жаркий южный край и начало весны, что снег уже начал таять и к полудню исчезнет совсем, и завтра будет тепло и солнечно, а через две-три недели навалится душный пыльный ветер из пустыни – но обоняние твердило свое: зима, метели, звездный очерк еловой лапы на морозном стекле, накатанные ледяные полоски между сугробами на рыночной площади...

Ангелус любил жару гораздо больше, чем холод. Любил свободу от душных зимних одежд, прикосновение нагретого воздуха к обнаженной коже, любил ощущение доверчивой безопасности в горячей бане бесконечного лета.

Полутора-двух теплых месяцев дома, в Голландии, часто перебиваемых дождями, ему всегда было мало. Даже все его сердечные дела начинались и расцветали в теплое время, когда не только тело, но и душа освобождалась от части своей принудительной защитной коры – но теплого времени было мало, и чувства редко успевали укорениться настолько, чтобы пережить долгий период холодной спячки.

Может, это и было одной из причин, почему он так надолго, и как будто бесцельно, задержался в этом далеком от родины краю. Была и еще причина, и кажется, гораздо более важная, но думать о ней, угадывать, в чем она заключается, не было никакой надобности.

С блаженной мыслью о близком, долгом-долгом лете, Ангелус еще раз втянул в легкие обманчивый снежный воздух, отвел в сторону облепленный снегом кипарис, распахнул дверь настежь и сбросил тапочки. На пухлой белой поверхности ведущей к дому дорожки не было ни единого порока, ни единого следа. Держа тапки в руке, он повернулся лицом к двери, шагнул горячей от постели ногой в снег и, легко ступая на носки, пробежался по дорожке задом наперед. У колодца он остановился и вернулся в дом в обход дорожки, протискиваясь между заснеженными деревьями и промочив насквозь ночную рубаху. Как он и предполагал, снег на каменной дорожке уже подтаял с исподу, и следы его босых ног, ведущие к дому, отчетливо и загадочно чернели на гладком белом полотне.

На пороге дома Ангелус оглянулся на свой садик, на колодец, и дальше вниз, на пологий склон Масличной горы, на коренастые оливковые деревья в долине Кидрона, на розовеющую стену Старого города по другую сторону долины – и в сотый раз рассмеялся от своей удачи, от того, что ему удалось найти себе такое жилье.

Прежде чем поселиться в этом домике на Масличной горе, Ангелус поменял множество квартир. Квартиры были всегда так называемые меблированные, поэтому самым тяжелым предметом у него был ящик с книгами, но и он не увеличивался от раза к разу, потому что Ангелус при каждом переезде выбрасывал большую часть детективов и эротических журналов.

Время от времени хозяева квартир повышали плату. Ангелус начинал искать новую квартиру, за прежнюю цену, и обычно находил, но похуже предыдущей. Впрочем, все квартиры, которые были ему по карману, были плохие, поэтому особенной разницы он не замечал, а только жалел, что так много времени уходит на поиски.

Ангелус жил так уже почти десять лет и о перемене образа жизни думал редко. Можно было, конечно, жениться. Ангелус был хорошего роста, голубоглаз и светловолос, и девушки его любили. Два или три раза девушки на время поселялись с ним в его квартире, другие звали его жить с ними. Однако он не женился. До недавнего времени ни одна девушка не привязывала его к себе достаточно сильно, а главное, было какое-то смутное чувство, что еще не время, что сначала от него что-то требуется, прежде чем он сможет со спокойной совестью осесть прочно, основать собственный дом и родить детей. Что именно от него требуется, он понятия не имел. Сам он от себя требовал не много, а окружающие и того меньше. Чувство это вмешивалось только тогда, когда Ангелус приближался к какому-нибудь важному решению в своей жизни, а тогда он безоговорочно и сразу подчинялся ему.

Можно было также вернуться домой, в Голландию, где жили его родители и младший брат Ринц. В свое время, после очередной войны между евреями и арабами, он и приехал-то сюда всего на одно лето, без всяких других планов. Страна была экзотическая, про сельскохозяйственные коммуны тогда писали, что в них установлен новый порядок человеческих взаимоотношений.

После нескольких месяцев работы в киббуце первый энтузиазм значительно остыл, ребяческая надежда найти здесь новое общество испарилась, экзотическое очарование сильно поблекло. Тем не менее, что-то помешало Ангелусу вернуться домой вместе с группой молодежи, с которой он сюда приехал. Вернее, он просто почувствовал, что остаться ему будет легче, чем вернуться. Раздумывать, почему, он не стал, а, как всегда, подчинился этому своему внутреннему чувству. Он переехал в Иерусалим, тоже не раздумывая и не выбирая, и прошло четыре года, прежде чем он, наконец, собрался на родину. Но и тогда он не был уверен, что уезжает насовсем. Он не уволился с карандашной фабрики, где тогда работал, и, хотя и заплатил своему тогдашнему домохозяину, но ничего ему не сказал. И, как оказалось, кстати.

В Голландии шел дождь, и глаз его отдыхал на сверкающей зелени и умилялся толстым черно-белым коровам на влажных лугах.

Желудок, отвыкший от полновесной, солидной пищи, сперва несколько протестовал, но быстро освоился и радостно принимал нежную телятину с черной подливкой, жирную тушеную колбасу с горохом и густые желтые сливки к душистому яванскому кофе. Городок, где жила семья Ангелуса, мало изменился за эти годы: открылся второй супермаркет, на центральном канале стало больше яхт с иностранными номерами, на большой церковной улице, рядом со старой школой Ангелуса, поселились два обширных семейства из Турции.

Родители были рады видеть старшего сына, хотя, как обычно, говорили мало. Брат тоже был очень рад; он вырос, превратился из подростка в молодого мужчину, такого, каким был Ангелус, когда уезжал. Он тоже собирался вскоре покинуть дом родителей, но это не вызывало ни у кого никаких вопросов. Он снял полуразрушенную квартиру в Амстердаме, ездил туда на конец недели и отстраивал ее своими силами. Родители видели квартиру, видели девушку, с которой Ринц собирался там жить, знали, где он работает и где собирается учиться. Ему было девятнадцать лет, и он не делал ничего неожиданного. В ближайшую субботу Ангелус разыскал свой велосипед и поехал с Ринцем в Амстердам, но прежнее обожание подростка-брата превратилось в трезвый, оценивающий мужской взгляд, а велосипед с отвычки казался тяжелым, путался в ногах – поездка не доставила Ангелусу ожидаемого удовольствия.

Брат был очень горд своей квартирой, и не зря; Ангелус от души хвалил и восхищался. Брат предложил снять заброшенное помещение по соседству и вместе отстроить его для Ангелуса. Ангелус благодарил, сказал, что подумает, но думать не стал. Еще и недели не прошло, а ему уже хотелось назад. Ему было холодно, все время знобило, а лицо горело сухим жаром. Непрерывный мелкий июльский дождь, который поначалу так приятно изумил и освежил его, скоро начал проникать до самых нервов, несмотря на желтый блестящий дождевик и резиновые сапоги, подаренные братом. Глаз вдруг заскучал на плоской, разграфленной каналами на четкие влажные прямоугольники зеленой равнине, затосковал по белому сухому солнцу, по раскаленным серым и розовым холмам, по пыльной, усталой зелени, по смуглым лицам и блестящим глазам иерусалимцев. Окраска природы и вещей начала казаться ему назойливо, анилиново яркой, а люди и их лица, наоборот, тусклыми, подернутыми мутной пленкой. Длинные, светлые

европейские вечера тянулись бесконечно, и Ангелус плохо спал после них.

В воскресенье мать предложила, чтобы он пошел с нею в церковь. Мать была католичка, а отец протестант, и тот и другой практиковали редко. Оба были люди сдержанные, отлично владевшие собой; различие в вере лежало между ними как неширокий, но глубокий ров, не мешавший им жить в согласии, но и не позволивший им за тридцать лет совместной жизни приблизиться друг к другу больше, чем требовала того общая спальня. Сыновья росли католиками, но вера, как впрочем и почти все остальное, не являлась предметом обсуждения.

Родители не ждали от детей любви или помощи, им и в голову не пришло бы, что они могут нуждаться в том или другом. Дети были обязаны родителям одним: уважением. Помимо внешних признаков этого уважения – и нечастый визит в церковь был одним из них – проявить его можно было, и требовалось, став “человеком”. Родители никогда не указывали сыновьям, что они должны делать. Выбор принадлежал им. Но оба брата с детства знали, что обязаны “стать людьми”, чтобы родителям не пришлось краснеть перед другими. И точно так же теперь они знали, что Ринц находится на предназначенном ему пути и что Ангелус с этого пути – сошел. И, значит, преступил завет уважения к родителям. Родители и не догадывались – а если бы догадались, то были бы обескуражены и даже оскорблены – что старший сын давно испытывает к ним обожание гораздо более сильное чувство, и совсем не то, какого они от него требовали. Чувство это позволяло ему простить их жесткую сдержанность, их педантизм, их нетерпимость, их порядочность и чистоплотность, и даже их холодность к нему. Чувство это было – жалость. И такая острая, такая настойчивая, что с возрастом он мог ее вытерпеть только вдали от них.

Ангелус был рад, что пошел с матерью к службе, когда оказалось, что она привела его не в прежнюю, маленькую, душную церковь на рыночной площади, а в так называемую Старую церковь. Начатая постройкой много веков назад, она соответствовала грандиозным планам и мечтам тогдашних католических отцов города. Но они не сумели достроить даже огромный центральный неф; протестантская ересь скоро закрыла для них доступ в души и карманы верующих, да и городок, против ожиданий, вырос за все эти века едва вдвое. Тем не менее, церковь постепенно достраивалась: к посережнему от времени средневековому кирпичу присоединялись новые кирпичные полотнища, темневшие и красневшие

по мере того, как дата достройки приближалась к нынешнему времени. И вот теперь, за годы отсутствия Ангелуса, деревянный корабельный каркас, поставленный на земле вверх дном, полностью заключился в кирпичную оболочку. Несмотря на смешение стилей и эпох, церковь была великолепна, и Ангелусу приятно было думать, что, что бы ни произошло в будущем с верой и религией, мощная эта постройка в его родном городе без труда сможет простоять столько же, сколько уже стояла.

В бога Ангелус не верил, ни теперь и никогда, с тех пор, как узнал, что такое понятие существует и в него можно верить. Можно и, видимо, нужно, потому что многие верили, или говорили, что верят. Но Ангелус этой потребности не ощущал, хотя, зная, что это огорчит родителей, долго скрывал от них. Он не прошел даже обычной стадии юношеского возмущения против бога. Возмущаться и отвергать было некого. Бог не вызывал у него ни возражений, ни сомнений, ни протеста. Он был просто не нужен, ему не было места в общем устройстве мира. Мир и все, что он в себе заключал, превосходно держались вместе без всякого постороннего участия. Мир, то есть все, что человек знал и то, чего он не знал, заполнял сам себя без остатка, полностью соответствовал самому себе и полностью объяснял сам себя, не оставляя ни малейшего зазора для вопроса: почему? Ответ настолько полно и очевидно содержался в самом вопросе, что Ангелусу иногда становилось вчуже обидно, что другие тратят столько душевных сил на постановку этого вопроса, не говоря уже о поисках ответа. Конечно, разумом Ангелус понимал, как хорошо, как вдохновенно было бы, если бы устройство мира допускало существование бога или хотя бы возможность в него верить. Он отлично понимал эту страстную потребность препоручить кому-нибудь хотя бы часть непосильного, неизбывного, неотвязного бремени человечности. Пример был рядом – его родители, эти двое горьких, бессильных, одиноких людей, все же барахтались кое-как на поверхности, держась за хрупкие соломинки веры, пусть каждый своей, но ведущей в одном направлении, к нему, к Тому, который знает, что они есть. Так что Ангелус ясно видел, в чем смысл веры. Но возможности переложить часть собственного груза на иные, более сильные плечи он не видел. Его это не огорчало – и не радовало. Таков был порядок вещей. И следовало не протестовать, не возмущаться, а быть частью этого порядка и наилучшим образом делать то, что в этих условиях можно сделать.

Отец расспрашивал, как ему жилось в чужом краю. Ангелус охотно рассказывал про первое время. Про свою работу в сельской коммуне в жаркой долине на границе с Иорданией, про причудливую, разношерстную, но в самом разнообразии своем странно-одноликую компанию добровольцев из разных стран. Про горько-сладкий вкус горячих от солнца грейпфрутов и про баскетбол в раскаленной тьме по вечерам, под слепящими фонарями. Про свои первые попытки освоить жесткий, неподатливый древне-новый местный язык и про снисходительное дружелюбие хозяев. Но все это продолжалось всего полгода. Дальше рассказывать было труднее. Отец молча выслушал перечень различных мест работы, которые переменял Ангелус, квартир, в которых он жил, и задал неизбежный вопрос:

– И каковы же твои планы теперь?

И Ангелус, который до сих пор еще колебался, ответил не задумываясь:

– Я поеду назад. У меня билет на двухнедельный групповой рейс, так что через неделю.

Отец не удивился, словно ничего иного и не ждал, и только спросил:

– Зачем?

– Да так.

– У тебя там, может, девушка осталась?

Ангелус невольно усмехнулся:

– Девушек там много. Но нет, я не к девушке хочу вернуться.

– К чему же тогда? Или, может, ты надумал перейти в их веру? Я бы не удивился. В конце концов, это самое существенное, что там есть.

Ангелуса поразило спокойствие, с которым отец задал вопрос.

– Нет, – осторожно ответил он. – Их вера привлекает меня не больше, чем любая другая.

– Тогда зачем? С какой целью? Потерять еще несколько лет жизни?

Ангелус не мог ответить. Он знал лишь, что хочет и должен вернуться. Это была простая уверенность, ни на чем не основанная, ничем не подкрепленная. А отец требовал разумной цели, ответственного решения.

– Мне хочется, – сказал Ангелус негромко. – Мне там нравится. Я хочу там жить.

Ангелус отлично знал, как возмутит отца такой ответ. И говорил

так намеренно, давая основания отцу видеть в нем упрямого, бес-толкового недоросля, а не взрослого, отдельного и сложившегося человека. Родителям будет куда легче с ним расстаться, если им будет за что его винить. Отец с облегчением поддался на уловку:

– “Хочется”, “нравится” – когда же ты станешь взрослым? Тебе уже двадцать три. Когда же ты собираешься начать жить? В тридцать лет? В сорок?

– Я уже начал, отец. Я уже взрослый. Ты хочешь, чтобы я остался здесь?

– Это ты сам должен решать.

– Скажи, что я вам нужен, и я останусь.

Как и ожидал Ангелус, мысль о том, что он может в ком-то нуждаться, рассердила отца, и он, едва сдерживаясь, сухо объяснил Ангелусу, что родители его не инвалиды, в присутствии его не нуждаются, а хотят лишь, чтобы он стал человеком, но на это пока рассчитывать, видимо, не приходится, а потому “поговорим, когда ты повзрослеешь и поумнееешь”. Ангелусу было больно, но он знал, что так гораздо лучше. Так у отца нет сознания, что он теряет сына навсегда.

За всю оставшуюся неделю отец едва обменялся с Ангелусом двумя десятками слов. Мать ни о чем не спрашивала, видимо, отец что-то ей сказал.

Ангелус предложил, чтобы родители навестили его в Иерусалиме. Он знал, что матери давно хочется. Она вопросительно посмотрела на отца.

– Навестить тебя? – сказал отец. – Твоя меблированная квартира достаточно велика для приема гостей?

– Там наверняка есть гостиницы, – сказала мать.

– Может быть, мы со временем и совершим поездку по святым местам, – сухо сказал отец. – Это никак не связано со случайным пребыванием нашего сына в святом городе.

Перед самым отъездом Ангелус пошел прогуляться по городу и зашел на кладбище. По сохранившейся с детства привычке он пересчитал семейные надгробия. Последний раз их, помнится, было пятьдесят два, а теперь он насчитал пятьдесят шесть, один камень красного гранита с фамилией ван Дюрен затесался между Донингенами. Местечко, которое Ангелус присмотрел для себя в последний свой визит на кладбище, было уже занято, и Ангелус выбрал новое, не хуже прежнего, в тени большой голубой ели. Он знал, что и это место недолго будет пустовать, но ему приятна была мысль,

что, когда придет его время, он ляжет в землю, насквозь пропитанную многовековым родственным прахом. Хотя он и собирался уехать, а может быть именно поэтому, он рад был, что побывал дома, где все, даже кладбищенская земля на много пядей вглубь, неоспоримо принадлежало ему. Прожив четыре года среди евреев, он познал цену этому преимуществу.

Все это было годы назад. С тех пор Ангелус оставил карандашную фабрику и перешел на молочный комбинат, потом работал санитаром в глазной больнице ордена св. Иоанна – там можно было и дольше остаться, и платили прилично, но тяжело было смотреть на полуслепых детей, ощупью пробирававшихся по сводчатым коридорам и горбившихся над кубиками и книжками. Потом Ангелус встретил на базаре веселого, пухлогрудого Юки, еврея алжирского происхождения. Юки пригласил его к себе домой, познакомил со своей женой Моник и тремя настойчивыми, быстроглазыми детьми, и вскоре они открыли вместе мастерскую по починке велосипедов и детских колясок.

Юки занимался административной и финансовой частью, а Ангелус прилежно чинил, но заказов было не слишком много, а Юки, как Ангелус вскоре начал подозревать, занимался и другими, не велосипедными делами. На вопросы Ангелуса он только смеялся и показывал ему щегольски аккуратные бухгалтерские книги. И доля Ангелуса в доходах была хотя и не роскошная, но он смог переехать на приличную квартиру и присмотрел себе стереофоническую систему хорошей марки. Тут пришла полиция, их обоих арестовали и наложили арест на имущество, к счастью, Ангелус стереосистемы еще не купил, а остального было не жалко. Ангелус провел одиннадцать дней в предварительном заключении, после чего вмешалось голландское посольство, да и полиция, видимо, убедилась в полной невинности Ангелуса по части невелосипедных дел. Его крепко оштрафовали и велели покинуть страну в течение сорока восьми часов. Юки сел на три года, а Ангелус съездил на месяц на Родос и, через Хайфу, вернулся в Иерусалим, отдохнувший и загорелый, с твердой решимостью больше такому риску не подвергаться. Он поработал немного подносчиком на стройке, а потом устроился техником на завод холодильников Калтермана, где ему помогли оформить солидное разрешение на работу.

С квартирами ему долго не везло, и становилось все хуже, пока однажды, с год назад, знакомый грек-ювелир из Старого города не

сказал ему, что на Масличной горе, при русском монастыре в Гефсимании, сдается домик- развалюха, без электричества, без водопровода и без канализации, а потому очень дешево. Ангелус в тот же день слетал в монастырь, посмотрел домик, поторговался для приличия с матерью-экономкой и тут же подписал договор на два года, с правом продлить его по истечении срока.

Домик был арабской постройки, с толстыми стенами, сводчатым потолком и арочными окнами, и весь состоял из одной большой квадратной комнаты. В нем очень давно никто не жил, и монашки, видимо, решили сдавать его в виду инфляции, подорожания и общего оскудения источников дохода. Домик был завален старым ненужным барахлом. Ангелус раскопал там две ржавые лампы-трехлинейки, почистил их, наполнил керосином, и при их свете две недели работал по вечерам, расчищая и отскребая внутренность домика. Постепенно обнаружилось, что в доме был узорчатый красно-коричневый плиточный пол, который Ангелус сперва отдраил скребком, потом отмыл стиральным порошком, а под конец, восхищаясь затейливым узором и блестящей свежестью красок, навошил и отполировал мягкой шерстяной тряпкой.

Большую часть стекол в трех окнах пришлось поменять; усохшие оконные и дверные рамы тоже нуждались в замене или хотя бы в покраске, но это Ангелус решил отложить на потом. Ему не терпелось переселиться в свое новое жилье. Он нанял арабского грузчика с пикапом, обошел барахольные лавочки в религиозном еврейском квартале и купил себе все необходимое: двухстворчатый платяной шкаф времен Мандата, круглый раздвижной стол и три продавленных венских стула, двухспальный диван-кровать стиля модерн пятидесятых годов и маленький туалетный комодик, вполне подходящий для кухонной посуды. Старую двухконфорочную газовую плиту и керосиновую печку Фридмана он получил даром от знакомых. В арабской компании по доставке газовых баллонов долго не соглашались снабжать его газом, но ему удалось уговорить их на условии, что от шоссе до дома он будет таскать баллоны сам. Он поставил два баллона под окном, протянул медную трубку сквозь прогнившую оконную раму и подсоединил к плите, установленной на комодике. В этом углу была его кухня. Для туалетного уголка ему хотелось найти рукомойник, какой был у них дома в детстве, с пистоном вместо крана и с раковиной, под которой стояло в шкафчике ведро для грязной воды. Но найти такой умывальник пока не удалось. Пришлось удовлетвориться тазом и кув-

шином. Для более солидного мытья Ангелус купил цинковое корыто и, для нагрева воды, пятнадцатилитровую ресторанный суповую кастрюлю.

Больше всего возни было с отхожим местом. Низенький каменный сарайчик пристроен был к задней стене дома, и, когда Ангелус расчистил репейник и заглянул внутрь, он увидел, что вся яма доверху завалена камнями, землей и всяким древним мусором. Как ни хотелось ему строить все своими руками, но он боялся не угадать, в какую сторону направлен подземный сток для нечистот, и нарушить старую систему канализации. Ангелус сговорился с двумя арабскими рабочими, которые обещали ему сделать из уборной игрушечку. Когда они пришли, однако, выяснилось, что они имели в виду только надземную часть работы, а расчищать выгребную яму отказались наотрез, уверяя Ангелуса, что порядочный человек такую работу делать не может. В конце концов Ангелус произвел расчистку сам, а арабы сидели поодаль и, посмеиваясь и зажимая носы, хотя запаха давно никакого не было, руководили его работой. Затем они быстро и аккуратно починили сарайчик, пробили в нем окошко, навесили дверь, залили пол бетоном и выложили внутри каменный сидячий толчок, поверх которого Ангелус вцементировал массивное пластмассовое сидение с крышкой. Уборная действительно стала как игрушечка.

Колодец был в хорошем состоянии, так как монашки пользовались им для поливки окружающего домик небольшого фруктового сада. Ангелусу пришлось лишь купить два ведра и веревку и откачать верхнюю воду, замусоренную лимонными листьями и хвоей. И в тот же день он переселился в свой дом.

Сначала Самих был очень доволен трофеем. Приятель завистливо поцокал языком, дома Самих дал платок тетке, и та его выстирала и выгладила. Свой старый платочек, по чести сказать порядочно уже изношенный, Самих отдал одной из племянниц, а сам стал носить новый, красиво оттенявший его смуглую грудь. И очень скоро он снова увидел женщину, шедшую по эд-Дарвашу. На этот раз она была не одна, а с высоким беловолосым туристом. Самих даже ухмыльнулся – тоже, видно, вроде него, ловит северных иностранцев. И даже и не подумал отойти в сторону, а так и стоял, ухмыляясь женщине прямо в лицо, уверенный, что та в присутствии своего мужика не осмелится потребовать платок обратно, хотя, очень возможно, и хотела бы.

Выглядела она сегодня совсем иначе, чем в прошлые разы. Ни усталости, ни раздражения на ее лице не было, глаза сверкали и играли, вся кожа была розовая и гладкая, а зубы в смеющемся рту белые и блестящие. И смотрела она на своего иностранца так, что у Самиха что-то больно и завистливо шевельнулось повыше желудка. И он великодушно решил отойти в сторонку, не портить ей отношений с иностранцем.

Но в этот самый момент женщина заметила Самиха – трудно было не заметить ярко-красное пятно у него на груди. Она приостановилась и дернула своего иностранца за руку. Иностранец тоже посмотрел на Самиха, с улыбкой слушая, что говорила ему женщина. Жаловалась, наверно. Сейчас, подумал Самих злорадно, сейчас он перестанет улыбаться, и не исключено, что он бросится на Самиха. Самих ничего не боялся, а поджидал схватки с некоторым даже удовольствием. Он напряжил плечи, на случай если придется драться, и ноги – если придется удирать. Все это было совершенно лишнее. Иностранец дослушал, засмеялся и дружелюбно помахал Самиху рукой. И они прошли мимо.

После этого Самих перестал носить красный платок. И на улицу стал выходить реже. Он боялся, что опять встретит эту женщину и ее иностранца. Эта мысль была ему противна. Раньше он был убежден, что женщина отдала ему платок из страха, из естественного почтения всякой женщины перед всяким мужчиной. Он вообще никогда еще не сомневался, что любая женщина его хочет, как впрочем хочет она любого сильного, молодого и настойчивого мужчину. И если она отказывается и упирается, то только потому, что стесняется и боится, или обстоятельства неподходящие, и вообще, женщинам от века так положено. И он носил красный платок гордо, как знак своего мужского превосходства, как свидетельство своего умения получить от женщины то, чего он хочет, и, может быть, как залог чего-то большего в будущем. Возьмет ли он это большее, верил Самих, зависело только от него, от его желания.

А женщина, давшая ему этот залог, должна была чувствовать себя виноватой и скрыть это обстоятельство от своего мужчины. Она должна была пройти мимо и сделать вид, что не знает Самиха. Не ответить, даже если бы он заговорил с ней. Это было бы не обидно, а естественно и даже лестно.

А она взяла да прямо пальцем показала иностранцу на красный узел на шее у Самиха. Она нисколько не чувствовала себя виноватой. И смеялась. Оба они смеялись над Самихом! Самих вспоми-

нал теперь то, на что раньше и не подумал обратить внимание. Как пренебрежительно, свысока она с ним говорила, как сунула ему этот платок, не думая, не глядя, с той самой брезгливостью, которую иностранные туристы так тщательно скрывали. Но то иностранцы, люди из другого мира. С ними и разговор другой. А эта сука, израильтянка поганая, она-то чем так хороша, что позволяет себе смеяться над мужчиной? Сука, сука, потаскуха жидовская с голыми ногами и руками. Сама пекло и томило, и каждый раз, как он вспоминал смех женщины и иностранца, и особенно его дружелюбный взмах руки, ему становилось тошно и хотелось то ли сплунуть, то ли напиться воды, то ли ударить кого-нибудь изо всей силы.

Самих заскучал в городе и поехал домой. Отец был рад, дети лезли на колени, кланчили подарков. Подарков он не привез – денег не было. С женой Самих сперва решил не спать, не хотел больше сопляков. Но потом не выдержал и так измордовал ее в постели, что она потом целый день ходила раскорякой. Это его еще больше разозлило и он поддал ей кулаками.

Вернувшись в Иерусалим, Самих принялся искать работу. Некоторое время он мыл полы на почте, потом поработал грузчиком на хлебовозке, а потом теткин муж через приятеля устроил его в городское управление, на дорожно-ремонтные работы. Самих стал работать пневматическим молотком, разбивать на куски и выворачивать старый асфальт, где ему велели евреи. Здесь платили неплохо, но Самих ненавидел свою работу, ненавидел свой тяжелый горячий механизм, который бился и грохотал у него в руках, пронизывая все тело омерзительной дрожью, ненавидел жирную асфальтовую пыль и тех людей, которые указывали ему, что и где делать.

Об учебе он больше не думал. Он как-то вдруг перестал верить в себя, в то, что ему удастся быстро и легко научиться какому-нибудь доходному и почетному делу. И за туристами почти перестал гоняться – не было ни сил, ни времени, руки, лицо и волосы были всегда грязные и отпугивали чистеньких иностранцев, да и Самих потерял к ним прежний интерес. Вместо любопытства и спортивного азарта они вызывали у него теперь завистливое и угрюмое раздражение. Ему не хотелось теперь ни заигрывать с ними, ни выманивать у них подачки, а хотелось подойти и сказать что-нибудь грязное и грубое, особенно девушкам. Самих начал давать тетке каждый день немного денег, она перестала ворчать, и после работы он чаще всего сидел дома.

Сначала Самих вспоминал иногда про девушку и ее иностранца.

У него было смутное чувство, что это они заставили его взяться за теперешнюю его работу, что это они виноваты в том, что даже в свободное время у него дрожат руки и екает в животе, что голова набита звенящей пустотой, а в носоглотке комом стоит вонючая дорожная пыль. Он теперь не боялся встречи с ними. Выходя изредка на улицу постоять с приятелями, он клал в карман заново выстиранный и выглаженный платок. Он представлял себе, что он сделает, когда встретит женщину. Он ей эту тряпку в морду бросит. Сперва плюнет на платок, а потом швырнет ей прямо в морду. А может, если представится случай, и похуже что сделает.

Но женщина не появлялась на улице Акбат эд-Дарваш. Может быть, догадалась, как неразумно она поступила, оскорбив Самиха на глазах у другого мужчины, почувствовала, что опасно ей теперь с ним встретиться. И постепенно Самих перестал ее высматривать, перестал класть красный платок в карман, а потом как будто и совсем забыл.

Милочка же, конечно, и не догадывалась ни о чем, никогда даже и не вспоминала жуковатого арабского парнишку, которому отдала когда-то один из своих многочисленных голландских платков. И ходить через Старый город она перестала только потому, что нашла более удобный, более близкий путь к дому Ангелуса.

Ангелус крикнул с порога:

– Милочка, вставай! Снег!

В комнате было холодно. Милочка спала с головой под одеялом. Ангелус подбежал к кровати, отдернул одеяло, потряхнул в заспанное лицо мокрой полрой рубахи:

– Снег! Весь сад завалило!

Милочка, не открывая глаз, заслонила лицо рукой и спросила:

– Много?

– Полно! Пошли бабу лепить!

– Хорошо, – вздохнула Милочка. – Автобусов не будет. На работу не пойду. И ты не ходи.

Она снова натянула одеяло на голову.

Но Ангелуса распирало. Хотелось скакать, громко кричать, хотелось пробежаться по своим заснеженным владениям. Но жалко было делать это одному. Он откинул одеяло, плюхнулся в постель рядом с Милочкой, прижался своим холодным мокрым телом к ее теплоте, разнеженному, обхватил заледеневшими ногами ее голые икры. Она завизжала и заехала ему локтем в подбородок:

– Садист! Осатанел.

Ангелус выскочил из постели, налил из ведра воды в чайник и поставил на плиту. Но газ зажечь не успел. Милочка высунулась из-под одеяла:

– Хлеба нету, забыл, хозяин?

Ангелус все еще не вполне привык к тому, что ближайшая лавка находится в получасе ходьбы, что нельзя запросто выскочить и купить хлеба или молока, и в доме у него часто недоставало разных продуктов. Самому ему это было все равно, но, когда у него ночевала Милочка, он очень старался, чтобы все было. И вот, забыл самое важное – хлеб.

– Я сейчас к монашкам слетаю, авось дадут.

– А раньше давали?

– Я не пробовал.

Он стал одеваться.

– Погоди, – сказала Милочка, вылезая из постели, – дай сапоги в уборную сбежать.

Она вернулась и забралась обратно в постель, и Ангелус натянул нагретые ею сапоги.

– Теплые, – с удовольствием пробормотал он.

– Теплые, – передразнила Милочка, – зачем теплые болвану, который босиком по снегу бегаёт. Да ещё задом наперед.

– А, ты заметила? – ухмыльнулся Ангелус. – Как странно, правда?

– Очень странно, – пробурчала Милочка, – особенно когда он простудится и будет валяться в жару. Да кругом ни души. То-то странно будет.

Ангелус засмеялся, откинул одеяло, поцеловал Милочку в мягкую шею, схватил свою ярко-синюю спортивную куртку и выбежал из дома.

Отец Джейкоб Баркер шел из Вифании в город покупать обувь на предстоящий весенне-летний сезон. Поход этот был запланирован заранее, и отец Джейкоб не видел причины откладывать его из-за снега.

В прошлом году ему не удалось собрать нужные средства, и он проходил всю весну, лето и осень в тех же шнурованных башмаках на толстой подошве, в которых ходил и зимой. Ноги прели и набухали в тяжелых башмаках, между пальцами появилось свербящее раздражение, от которого с трудом удалось избавиться, а у башма-

ков, которыми отец Джейкоб очень дорожил, сильно стоптались подметки, и вифанийский сапожник взял порядочно денег за починку. И для здоровья, и для сохранности обуви полезно было сменить башмаки на более легкие, и, снег или ведро, а покупать их надо было уже сейчас.

Тем более, что денежные обстоятельства отца Джейкоба значительно поправились в этом году. Сначала его навещил англиканский теолог, интересовавшийся той эзотерической, почти отмершей ветвью христианства, приверженцем и единственным представителем которой в Иерусалиме вот уже тридцать лет был отец Джейкоб. Теолог прожил с ним две недели в его комнатке в Вифании, умилялся пасторальной неприхотливости его обихода, воде в каменной цистерне, латаными простыням, развешанным во дворе, лоханке, в которой отец Джейкоб обливался по утрам, медному примусу, на котором он готовил рис с жареными кабачками, и неподъемной тяжести “Ундервуду”, на котором перепечатывал свои рукописи. А отец Джейкоб с удовольствием делил с англичанином удобства, которые тот не задумываясь мог себе позволить: частые поездки в город на такси, ужины в хороших ресторанах, привозной сыр, шоколад и ветчину, покупаемые гостем в дорогих деликатесных магазинах, его душистый шампунь и мыло, его запас отличной писчей бумаги. Пристыженный простотой и убожеством отца Джейкоба, теолог непрерывно извинялся за свои барские привычки, за свою неспособность отказаться от них даже на две недели, за то, что он оскверняет чистоту и отрешенность его жизни своим вторжением. Отец же Джейкоб считал все эти слова ненужным кокетством, и только жалел, что англичанин приехал так ненадолго. Отец Джейкоб, действительно, хотел и любил жить просто и скромно, но чрезмерное самоотречение добродетелью не считал и в бедности своей видел отнюдь не заслугу, а неудачное стечение обстоятельств, со временем долженствующее измениться. Но как ни пытался отец Джейкоб объяснить гостю, что и он предпочел бы жить в квартире с канализацией и водопроводом, и есть более разнообразную пищу, и спать на целых простынях, и чаще менять одежду, и не исписывать бумагу с обеих сторон – англичанин не мог или не хотел ему поверить. Во искупление своих плотских излишеств, он замучивал хозяина заполночь учеными разговорами и расспросами.

Впрочем, отец Джейкоб и сам был рад поговорить с человеком, любившим и знавшим разноязычные версии Ветхого Завета почти

так же хорошо, как и он сам. Не избалованный симпатией и интересом, он охотно рассказывал гостю о своем тернистом пути от римско-католической церкви, покинутой им еще в молодости, в Канаде, через греко-католическую и греко-православную – к его нынешней, когда-то мощной и обширной, а теперь полуисчезнувшей, но для отца Джейкоба единственно праведной Восточной церкви. Ныне даже между учеными-теологами мало кому было известно, что это не мертвая историческая реликвия, похороненная под прахом времен, а живая вера, горящая устойчивым пламенем в груди человека, который сам, один, без всякой посторонней поддержки нашел эту веру, познал ее и жил для нее и в ней. И отец Джейкоб наслаждался столь редким для него пониманием и сочувствием собеседника.

Пожаловался он ему и на то, как враждебно и пренебрежительно относятся к нему, пастырю без паствы, церковнослужителю без храма, отцы других, богатых и влиятельных иерусалимских церквей, как чинят ему препоны на каждом шагу, не позволяют проповедовать в селениях, некогда прилежавших Восточной вере, отбивают у него немногочисленных потенциальных новообращенцев, чернят его в глазах власть предержащих. Со всем этим отцу Джейкобу приходилось жить изо дня в день, но он отнюдь не падал духом, ибо верил в свою миссию и в свои силы, а рассказал он об этом гостю в откровенной надежде на солидное даяние, и, может быть, даже регулярную поддержку от сочувственного слушателя. Но англичанин и тут предпочел не вполне его понять и, уезжая, оставил ему лишь небольшую сумму “на книги”.

Одну или две книги, давно им облюбованные, отец Джейкоб действительно приобрел, но в основном деньги пошли на покупку отреза прочного серого сукна и на шитье новой рясы, ибо старая, носимая им бессменно летом и зимой, выгорела и истончилась, а главное, так неистребимо пропиталась запахом пота, что отец Джейкоб даже сам от этого страдал. Ничего постыдного в таком распоряжении деньгами даятеля он не видел, так как знал, что сейчас, пока не наступил день торжествующего возобладания самой чистой, самой благодатной формы христианства, духовное ее присутствие в Иерусалиме зависит от его, отца Джейкоба, физического существования. В том, что этот день рано или поздно наступит, отец Джейкоб не сомневался. Оберегать же свою уязвимую плоть было одной из его обязанностей.

Таким образом, у него появилась новая, свежая ряса. А тут он

закончил небольшую, но изящную работу по сверке перевода древнего сирийского текста, заказанную ему Иерусалимским университетом, и часть денег немедленно отложил на покупку обуви.

Еще до полочки он прошелся по армянским и арабским обувным лавкам Старого города, где все было значительно дешевле, чем у евреев. Но качество товара показалось ему не вполне надежным, и он решил, не жалея денег, купить в еврейском магазине самые прочные и удобные спортивные туфли, приличного черного цвета, на легкой эластичной подошве и с ортопедической прокладкой в подъеме. Для этого он теперь, с утра пораньше, отправился из Вифании в западную, еврейскую часть Иерусалима, в религиозный квартал, где цены были все же поскромнее. Сделав покупки, отец Джейкоб собирался зайти к знакомому раввину, которому он хотел предложить свеженайденный аргумент в давно начатом талмудическом споре. Чтобы не смущать раввина и его соседей, он сменил свой обычный наряд на цивильный костюм и плащ и, как всегда в редких случаях, когда он снимал рясу, чувствовал себя не вполне одетым, непривычно легким и молодым.

По прямой до русского монастыря можно было, казалось, камнем добросить. Но Ангелус знал, что ощущение это обманчиво. Да и не было туда прямого пути. Нужно было спуститься вниз по извилистым, усеянным камнями тропкам, обогнуть стену, зайти с фронта, через ворота, и лишь тогда добираться до кухни. Он мчался вниз по заснеженной тропе, скользя и подсакивая на невидимых камнях и выбоинах, раскинув для равновесия руки и не чувствуя под собой ног. Иногда он даже взглядывал вниз – ноги были и исправно делали свое дело, но он не ощущал ни толчков, ни выбоин, а несясь вниз, как на лыжах по накатанной лыжне. Раз, другой он прыгнул, спрямляя зигзаги дорожки, а потом понесся по целине, почти по прямой, круто вниз, не глядя. Задняя стена монастыря быстро надвигалась на него. Ангелус открыл глаза.

Впереди на снегу мелькало светло-желтое пятно. Ангелус прибавил скорости и приблизился к нему. Собака. Щенок-подросток, месяцев пяти, длинноногий и длиннохвостый. Почувствовав за спиной Ангелуса, щенок не остановился, но и не свернул в сторону, а продолжал бежать перед ним, выдерживая небольшую дистанцию. Ангелусу хорошо видны были его острые лопатки, костлявый крестец и туго обтянутые короткошерстой шкуркой крутые ребра. Ангелус попытался догнать щенка, но тот, не оглядываясь, ускорил бег. Ан-

гелус притормозил, но расстояние между ними не увеличилось. Ангелус остановился, взметнув по бокам два снежных веера. Щенок тоже остановился и повернул к нему длинную узкую морду с вислыми ушами и черными глазами в желтых ресницах.

– Ты чей? – спросил Ангелус.

Щенок смотрел на него голодным, безразличным и тоскливым взглядом.

Ангелус присел на корточки и протянул руку:

– Пошли со мной?

Щенок вытянул шею, удостоверился, что в руке ничего нет, и попятился. Ангелус сделал шаг вперед. Щенок, не отводя от него взгляда, боком отпрыгнул назад.

– Пошли, – сказал Ангелус, пытаясь дотянуться до него рукой, – попросим у монашек хлеба.

Щенок заворчал и отпрыгнул еще дальше.

Ангелус выпрямился.

– Пошли, пошли. И тебе достанется.

Щенок заворчал громче и завилал хвостом.

Ангелус двинулся вперед, не обращая больше на щенка внимания. Он давно потерял дорожку и теперь, очнувшись от своего бездумного спуска, обнаружил, как трудно идти по заваленному камнями, крутому и скользкому склону. Щенок трусил параллельно, низко свесив голову на длинной шее и не глядя на Ангелуса.

Обнаружив, что воды в ведре не хватит для умывания, Милочка надела старые башмаки Ангелуса, взяла лопату и стала расчищать дорожку к колодцу. Отбрасывая мокрый снег на вскопанные Ангелусом грядки, она скоро вошла в ритм однообразных движений и начала думать о том, о чем думала неотрывно каждую минуту, свободную от сна, работы или общения с людьми, на протяжении последних месяцев – с тех пор, как познакомилась с Ангелусом.

Милочка не понимала, что с ней происходит. С первого же дня, проведенного с Ангелусом, она сказала себе, что не понимает этого человека, и сразу решила не беспокоиться по этому поводу: он был сделан из иного, не знакомого ей материала и пришел из не знакомого ей мира, но это казалось несущественным для тех легких и наверняка недолговечных отношений, которые она планировала с ним. Накопив со времени развода порядочный опыт общения с разными мужчинами, Милочка немного устала от непрерывной борьбы со своими партнерами. Все они, каждый на свой манер, сознательно или бессознательно, стремились доказать ей и

миру, что они мужчины, тем самым постоянно вынуждая Милочку в ответ доказывать, что она женщина. В душе Милочка считала это ненужной и обидной тратой сил, но до сих пор думала, что иначе не бывает, и изворачивалась, как умела. С Ангелусом вдруг оказалось, что изворачиваться и доказывать не нужно. Как будто Милочка все время жила задерживая дыхание, и вдруг почувствовала, что может спокойно дышать полной грудью. Ощущение было редкостное, и этим следовало пользоваться, пока не пришел конец.

Однако же, несмотря на всю эту житейскую мудрость и на радость общения с Ангелусом, скоро она начала ощущать какое-то неясное беспокойство, быстро перешедшее в непрерывную тревогу. Милочка, мгновенно оставлявшая своих приятелей, как только они обнаруживали признаки более серьезной привязанности, Милочка, со дня развода превыше всего ценившая свою свободу, возможность думать и поступать по-своему, никого не стесняя и не огорчая, начала испытывать нечто, сразу лишившее ее этой драгоценной свободы: страх за Ангелуса. Напрасно напоминала она себе: "Меня это не касается, он сам по себе, а я сама по себе", напрасно твердила: "Мне все равно, мне все равно" – страх не проходил, а рос. И без всяких к тому реальных оснований. Ангелус был здоров и благополучен. Соперниц у нее не было, хотя Милочка, по женской слабости, ревновала его к тем девушкам, которых он любил до нее. Но это легкое, немного даже щекочущее чувство ревности не шло ни в какое сравнение с тем гнетущим страхом, с тем предчувствием, что Ангелуса у нее отнимут, которое все чаще накатывало на нее без всякой причины.

Милочка пыталась рассуждать рационально, ругала себя за непривычные и неприличные собственнические склонности, называла себя бабой, наседкой, но ничто не помогало. Наконец она пришла к очевидному выводу, который на время поставил все на свои места: Милочка поняла, что попросту влюбилась в Ангелуса. Тревога ее и паника были естественны, так же как и желание безраздельно владеть этим человеком и страх его потерять. Милочка честно призналась себе, что столь ценимая ею свобода ей больше ни к чему, если это означает свободу от Ангелуса. И, несмотря на прочно укоренившееся отношение к самому слову "замужество", решила, что хочет выйти за него замуж. И при первом же удобном случае сказала об этом Ангелусу. Он посмотрел на нее с удивленной улыбкой и сказал:

– Ты тоже об этом думала? Вот совпадение!

– Ха! Совпадение! – с нарочитой развязностью сказала Милочка. – На мне, я думаю, это большими буквами написано.

– А на мне?

– На тебе?

По знакомым Милочке правилам игры, ей следовало бы обидеться, или хотя бы огорчиться, что он не выразил той же готовности, с которой она решалась на шаг, столь противоречивший всем ее недавним убеждениям. Но он повторял настойчиво, все с той же недоуменной улыбкой:

– На мне написано? Что на мне написано, ты видишь?

И у нее упало сердце, и вместо обиды или огорчения накатило вдруг все тот же знакомый безрассудный страх, что его у нее отнимут, и она крикнула со злостью:

– Ничего на тебе не написано! Ничего я не вижу! Взял себе эту жидовскую манеру отвечать вопросом на вопрос!

С тех пор разговора о женитьбе не было, и тревога не оставляла Милочку. Вместо того, чтобы вести себя с Ангелусом так, как подсказывало ей все ее существо и как вел себя с нею он, она теперь часто дулась, обижалась, придиралась к мелочам, злилась, если он не угадывал невысказанные перемены в настроении, требовала помощи в делах, с которыми отлично могла справиться сама, словом, делала все то, что так ненавидела и презирала в обращении многих своих подруг с мужьями и что было ей так мучительно в собственном поведении с бывшим мужем.

Все это никак не соответствовало тому, что она привыкла думать о себе и о своем отношении к мужчинам за счастливые последние пять лет. Это ее сердило и унижало, и она становилась все более резка, раздражительна и напряжена. Дело дошло до того, что она чувствовала себя в безопасности только тогда, когда Ангелус был у нее на глазах. Она силой заставляла себя не звонить ему по пять раз в день на работу и не бегать к нему домой каждый вечер. Ангелус, разумеется, замечал это, но не сердился и не смеялся над ней. И это бесило Милочку еще больше. Какого дьявола, почему он не ответит ей той же монетой, не гаркнет, не устроит сцену с криками и взаимными обвинениями, именно такую, какие так ненавидела Милочка в своей прежней замужней жизни? Почему, наконец, не пошлет ее подальше, вместо того, чтобы терпеть истеричную русско-еврейскую бабу в своей упорядоченной голландской жизни? Она даже неоднократно начинала ему что-то в этом роде говорить, а он не понимал ее, и наконец сказал:

– Не надо так тревожиться, Милочка. Вот увидишь, все наверняка будет так, как мы хотим. Ты же знаешь, что я тебя люблю.

Сказал и, видно, сам удивился. А Милочка не удивилась. Она и раньше знала, что он ее любит. Она только не понимала, как это ей – ей, Милочке Шмуклер – выпало такое чудо. Этот человек, о котором она с колющей болью в сердце думала, что он сокровище, редкостная находка, миллиардный выигрыш в лотерее, голубоглазый добрый принц, каких в жизни не бывает вообще, а уж для нее, Милочки, и подавно – вел себя так, будто в самом деле любил Милочку. И не ту, которую она с таким трудом и тщанием выстроила за последние пять лет – самостоятельную, сексапильную, деятельную, довольную жизнью молодую женщину – а вот эту растрепанную, назойливую, зависимую бабу, которая кому угодно могла отравить существование. И Милочке стало стыдно за свое нетерпеливое бабское желание поскорее привязать его к себе пустым формальным актом, из-за которого, как она уверяла себя, и было все ее беспокойство. Но тут он прибавил:

– Все будет так, как мы хотим, и, я думаю, скоро. Вот только...

– Что?

– Вот только мне надо сперва...

– Что тебе надо? – спросила Милочка, холодея.

Он не отвечал, смотрел на нее с недоуменной улыбкой.

Милочка забыла весь свой стыд и все свои разумные соображения. Она обхватила Ангелуса за голову и прошептала:

– Давай уедем, убежим, давай спрячемся куда-нибудь...

Ангелус засмеялся:

– Давай спрячемся! – и потащил ее в постель.

Это было вчера вечером, и все скоро растаяло в безопасном постельном тепле и близости. Но ночь Милочка спала плохо, может быть, из-за снега, думала она теперь, не желая поддаться беспокойству, которое опять нарастало в ней тем сильнее, чем дольше отсутствовал Ангелус.

В монастырской кухне приход Ангелуса сильно всполошил двух молоденьких послушниц-арабок. Ангелус заговорил с ними по-английски, потом на иврите, но они, отступив в дальний угол, отворачивались и закрывали лица платками. Ангелус вспомнил, что монастырь русский, и выкрикнул одно из немногих русских слов, которым Милочке удалось его обучить:

– Хлеб! Хлеб!

Одна из послушниц приспустила платок, глянула на Ангелуса круглым черным глазом, набрала в грудь воздуха и пронзительно взвизгнула по-русски:

– Матушка! Матушка Агния!

Ангелус оглянулся. В дверях стояла низенькая, плотная монахиня в черном клобуке и синем фартуке поверх длинного черного одеяния. Она недовольно, но спокойно обратилась к Ангелусу, видимо, тоже по-русски. Ангелус улыбнулся ей, извинился по-голландски, потом перешел на иврит, увидел, что его не понимают, и закончил тем, что опять повторил:

– Хлеб! Хлеб!

Монахиня вошла в кухню, открыла дверцу большого буфета, вынула буханку стандартного магазинного хлеба (Ангелус почему-то надеялся, что они пекут свой), протянула его Ангелусу и проговорила по-английски:

– Возьмите. Но, пожалуйста, не превращайте это в привычку.

Ангелус начал было объяснять, что он живет в домике наверху, но монахиня перебила его:

– Я знаю. Это, однако же, не оправдание. Мы не поощряем визиты посторонних в наши жилые помещения.

Ангелус смущенно пробормотал:

– Извините, я просто, по-соседски...

– Нет. Ваш дом расположен достаточно далеко от нас, и пусть оно так и останется.

– Да, конечно. Я понимаю, – согласился Ангелус. – Я не должен был. Спасибо за хлеб, и больше это не повторится. Но, может быть, вам что-нибудь понадобится – я умею всякую ручную работу...

– Вы прекрасно навели порядок в своем доме. – Монахиня слегка улыбнулась. – Но нам ничего не надо, благодарствуйте. У нас свои работники.

Ангелус еще раз поблагодарил за хлеб и повернулся уходить, но монахиня проговорила с некоторым колебанием:

– А эта молодая особа там с вами... ваша жена?

Далеко или нет, а все им известно. Ангелус сдержал улыбку:

– Это моя... э...

Молоденькие послушницы в тылу кухни неслышно захихикали.

– Мы предпочли бы, чтобы это была жена, – твердо закончила монахиня, движением руки отпуская Ангелуса.

Они предпочли бы, а? Улыбаясь и качая головой, Ангелус направился к воротам. Они предпочли бы! Что же, так и жениться для

них? То ли из-за снега, то ли еще отчего, Ангелус чувствовал себя сегодня непривычно: голова была легкая, звонкая, как от алкоголя на пустой желудок, краски и формы казались резче и ярче, запахи острее и чище, звуки определеннее и мелодичнее, чем всегда, а у сердца что-то дрожало и прыгало, то расширяясь и окатывая тело жаром, то сжимаясь и стягивая кожу холодными мурашками. И ноги в тяжелых резиновых сапогах опять несли его, как заведенные.

Араб-сторож у ворот, один из тех двоих, что чинили ему уборную, кивнул на хлеб у Ангелуса под мышкой и засмеялся. Ангелус засмеялся в ответ и вышел за ворота. А может и впрямь? Может, скоро и женюсь, подумал он. Может, скоро и можно будет, прибавил он про себя, сам не зная, почему.

Ангелус зашагал по узкой аллее между двумя каменными стенами. Внизу, на дне долины, не видимой за стенами францисканского монастыря, жадно шумел Кидрон, насыщаемый водой от тающего снега. К грохоту мчащейся по узкому ложу воды присоединился другой грохот, быстро нарастая и перекрывая все иные звуки – вой моторов, дребезжание тяжелого металла, визг мощных тормозов, лязгание неповоротливых сцеплений на неровностях дороги. Ангелус знал, не видя, что по Иерихонскому шоссе движется в долину Иордана колонна тягачей с танками на платформах.

Стены обеих монастырей кончились, можно было поворачивать вверх. Ангелус глянул мельком на шоссе, но не стал любоваться заснеженным ущельем, а скорее перевел взгляд наверх, на склон, на свой маленький домик, едва видневшийся сквозь обвисшие деревья. Перед домиком копошилась черная фигурка – Милочка разметала дорожку. Ангелус огорчился – как же она без сапог? – и заторопился домой.

У самого поворота вверх, сбоку от тропы, сидел желтый щенок.

– Ох, да я тебя забыл совсем, – сказал Ангелус и оторвал горбушку от буханки.

Щенок пристально смотрел на хлеб, но не подходил. Ангелус отломил кусочек и бросил на снег рядом со щенком. Тот отскочил назад, в сторону шоссе. Ангелус начал было уговаривать его не бояться, ему очень хотелось подманить щенка, взять его с собой, но голос его тонул в приближающемся грохоте металла, и надо было спешить домой. Ангелус размахнулся и бросил щенку всю горбушку. Горбушка легонько стукнула щенка по лбу, он в ужасе подпрыгнул на месте всеми четырьмя лапами, повернувшись в воздухе на сто восемьдесят градусов, и рванул вниз по склону, прямо на еще пустое, но уже содрогающееся от близкого грохота шоссе.

Головная машина вывернулась из-за скрывавшей ее стены. Ангелус ринулся вслед за щенком, размахивая буханкой и крича:

– Стой! Стой, дурак!

Щенок на бегу свернул назад морду, увидел нагоняющего его Ангелуса, вильнул вправо, влево, и Ангелус слишком поздно понял, что не надо было бежать за ним, щенок остановился бы сам. Но теперь он совершенно потерял голову от ужаса и от грохота, справа и слева были высокие заборы; Ангелус остановился, но щенок уже не видел этого, он видел только отрезок шоссе, опять пустой между прошедшей первой машиной и еще не надвинувшейся второй, и длинные ноги понесли его прямо туда, он выскокил на залитый талой водой асфальт, с разгону домчался почти до середины и, наверное, успел бы проскользнуть под носом у неповоротливой, громоздкой военной машины, но в это время за спиной у него просвистело на встречной полосе такси и обдало его густым веером воды с песком. Щенку, видно, залепило нос и глаза, он заметался, потерял направление, и бампер тяжелой машины надвинулся совсем близко.

Ангелуса отделяло от шоссе шагов, наверное, тридцать, он не мог, не мог успеть, человек в высокой кабине, вероятно, даже и не видел щенка, а если видел, не захотел бы, да и не смог бы так быстро затормозить огромную грохочущую массу, напиравшую сзади на его машину, тут не бежать надо было, а лететь. Ангелус закрыл глаза и сделал последний, отчаянный бросок вперед. Ступни его болезненно грохнулись об асфальт, руки вцепились в задние ноги щенка, но это еще не все, теперь надо было оттолкнуться занемевшими от удара ногами, поднять в воздух свою собственную тяжесть вместе с тяжестью щенка и перенести ее на тротуар по ту сторону дороги.

Тяжело дыша, Ангелус стоял на тротуаре, прижимая к себе замершего щенка и буханку, чудом не выроненную из рук. По всей длине шоссе стоял леденящий душу вой тормозов, серо-зеленые чудовища неудержимо проползали еще десяток-другой метров и останавливались одно за другим. И стало тихо. Из всей колонны только водитель второй машины, от которой Ангелус со щенком сумели увернуться, знал причину остановки. Этот водитель выскочил теперь из своей кабины и бежал к Ангелусу, и Ангелус приготовился к страшной, заслуженной ругани, и, может быть, даже к аресту. Он задержал продвижение целой огромной колонны. С армией шутки плохи.

Водитель, худой парень с темногубым смуглым лицом, добежал до Ангелуса и выбросил вперед руку, Ангелус думал – для удара, и у него не было свободной руки заслониться, щенок оказался больше и тяжелее, чем представлялось на расстоянии. Но вместо удара парень вцепился ему в плечо, затем обхватил пальцами шею сзади, беззвучно открывая и закрывая рот, словно и ему не хватало воздуха.

– Ты как это сделал? – выдохнул наконец парень, сжимая пальцами шею Ангелуса.

– Прости, не сердись, – попросил Ангелус. – Моя вина. Но я боялся, что ты его не видел...

– Ну да, да, – нетерпеливо крикнул парень, – но как ты это делаешь?

Щенок испуганно забился у Ангелуса в руках, Ангелус прижал к себе локтями его ноги, щенок задергал вытянутой шеей, глянул вокруг дикими глазами и запихнул морду Ангелусу глубоко под мышку.

От головы колонны подкатил джип с сопровождающим офицером, офицер соскочил на мостовую и резко спросил молодого водителя, что здесь происходит.

Парень заговорил быстро, возбужденно, его горловой акцент мешал Ангелусу понять все, что он говорил, но ясно было, что парень видел, как Ангелус бежал за собакой по склону, что ради собаки он не стал бы тормозить, да и уверен был, что та проскочит, а потом уже не видел ее, из кабины не видно, а смотрел на человека на склоне, и этот человек, то есть Ангелус, сделал что-то, Ангелус не понял что, парень весь дрожал, видимо, оттого, что чуть не задавил человека. Подошли еще несколько водителей, офицер, как Ангелус и ожидал, начал резко выговаривать ему за безрассудный поступок, и одновременно ругал молодого темногубого солдата за остановку.

– Вы правы, вы правы, – повторял Ангелус, а сам прислушивался к тому, что отвечал водитель, а тот все твердил одно и то же, Ангелус улавливал отрывки: “Бежит, бежит... метров двадцать... и вдруг р-раз... схватил его и р-раз... я бы не остановился, но как он это делает... не меньше как двадцать метров... бежит, бежит и р-раз!” Кто-то из водителей засмеялся, другой выругался: “Не морочь голову, Эли”, а третий потрогал безвольно висящую ногу щенка и сказал: “Ничего ему не будет, перепугался только”.

– По машинам! – сердито крикнул офицер, затем спросил Ангелуса: – Вы турист? Откуда?

Ангелус ответил. Он знал, что это его преимущество, знал, какую реакцию имя его страны неизменно вызывало у здешних людей, и, хотя за все эти годы так и не сумел понять, почему, но привык и давно перестал разубеждать израильтян в дорогой им иллюзии, будто в его стране их как-то по-особенному любят и жалеют. Сейчас, увидев как немедленно смягчилось сердитое напряженное лицо офицера, он почувствовал особенную неловкость и поспешно прибавил:

– Но я давно здесь живу.

– Все равно, – сказал офицер. – Не знаю, как у вас в Голландии, а у нас положено собаку на поводке держать.

– Хорошо, я буду, – немедленно согласился Ангелус, не стоило объяснять офицеру, что собаку эту он только сегодня встретил. – Еще раз, я очень сожалею, что наделал вам всем хлопот.

Но офицер уже отвернулся от него и крикнул темногубому водителю, который один остался стоять на мостовой:

– Приказ слышал?

– Но, командир, спросите же его, спросите, как он это сделал? – взмолился парень.

Сзади по всему шоссе нетерпеливо гудели задержанные машины. Офицер махнул рукой в сторону тягача, вскочил в свой джип, и тот немедленно рванул с места.

– Э-эх, – сказал парень и качнулся было к Ангелусу, глядя на него расширенными, недоумевающими глазами, но сзади выли заведенные моторы, головной тягач уже стронулся с места, парень взялся рукой за губу, сильно дернул ее книзу и побежал к своей машине.

Ангелус медленно перешел шоссе позади последней платформы и, очутившись на другой стороне, почувствовал, что его руки, обнимавшие щенка, свело судорогой. Он нашел большой камень, уже обтаявший и влажно дымившийся под ярким солнцем. С трудом согнув дрожащие ноги, он сел на камень, выронил в снег буханку и осторожно опустил щенка к себе на колени, кое-как собрав в кучку его длинные, безвольно раскинутые ноги. Щенок не шевельнулся, только напряг шею, удерживая голову у Ангелуса под мышкой.

Милочка кончила расчищать дорожку, набрала воды, умылась, зажгла газ под чайником и печку, и включила радио. И стала накрывать стол к завтраку.

Радио просигнало восемь часов и начало передавать последние известия. Главным событием был, разумеется, снег. Милочка с опаской прислушалась к тому, что говорило радио об автобусном движении: некоторые маршруты, по мнению радио, уже начали или скоро должны были начать работать, но к счастью, не те, которые вели к местам работы Милочки и Ангелуса. Дальше Милочка слушала невнимательно, но уловила, что ожидаются беспорядки в арабской части Иерусалима и в Старом городе, в связи с тем, что несколько членов парламента намерены побывать в большой мечети на Храмовой горе. Зачем они туда идут, с неясным любопытством подумала Милочка, если заранее знают, что это вызовет беспорядки. Впрочем, она, как большинство выходцев из России, не вникала по-настоящему в запутанные подробности арабско-еврейских отношений, придерживаясь простого и ясного мнения, что евреи в своей стране имеют право ходить, куда желают, а значит, и на Храмовую гору. Вся эта политика, по чести сказать, мало ее занимала, она лишь подумала: не забыть сказать Ангелусу, чтобы не ходил сегодня в Старый город – и выключила приемник, не дожидаясь конца последних известий.

Самих, в отличие от Милочки, не собирался пропускать рабочий день по случаю снега. Накануне муниципальный подрядчик предупредил, что, хотя прогноз обещает снег, работы будут проводиться как всегда, и те, кто не выйдут утром, будут уволены. Самих ненавидел свою работу, но местом дорожил, и был рад, когда обнаружил, что его автобус ходит. В автобусе он тоже услышал последние известия по израильскому радио. И он тоже слушал невнимательно и насторожился только, когда речь зашла о визите еврейского начальства на Храмовую гору.

Самих не мог бы сказать, верит ли он в Аллаха; он, бывало, и пиво пивал за компанию с туристами, и пост в Рамадан соблюдал плохо, и съел однажды предложенный ему девушкой из Дании бутерброд с ветчиной. Он, правда, иногда ходил по пятницам в мечеть, потому что и теткин муж, и многие его приятели ходили. Хаживал он туда раньше и в немолитвенное время, потому что туда валом валили туристы, и иногда удавалось что-нибудь перехватить. Среди посетителей часто бывали и евреи, и Самиху это было все равно, так как от них никакой поживы не ожидалось. Время от времени туда, к большой мечети, пробиралась особая кучка евреев, которые пытались там молиться по-своему; полиция быстро их

выгоняла. Самих не знал истории конфликта между евреями и мусульманами вокруг Храмовой горы и не интересовался ею. Он родился и вырос в мире, где евреи на каждом шагу делали что-то такое, что было ненужно, вредно или оскорбительно для арабов, Самих принимал это как данность и не вникал в детали.

Тем не менее, сейчас, услышав, что в Старом городе ожидают беспорядки, Самих, не раздумывая, сошел с автобуса на следующей остановке и пешком отправился домой.

Отец Джейкоб был в том возрасте, когда тело еще исправно и послушно подчиняется законным требованиям своего хозяина, но уже не позволяет распоряжаться собой бездумно и нерасчетливо, и немедленно мстит за любое излишество. Поэтому отец Джейкоб упорядочил свою жизнь таким образом, чтобы, никогда не бездействуя, никогда и не перенапрягаться; не ставил себе непосильных задач, но пристально следил за тем, чтобы исполнять все посильные. Поскольку он предпочитал ходить пешком, отсутствие автобусов ему не мешало, наоборот, приятно было дышать свежим воздухом, не загаженным выхлопными газами, да и дешевле. Все маршруты были у него давно рассчитаны до минуты. Дома он еще успел вымыть посуду после завтрака, выгнать на улицу кошку, послушать последние известия в восемь часов, и вышел из дому как раз вовремя – магазины открывались в девять.

Он шагал широким, размеренным шагом, не торопясь и не мешкая, думая одновременно и о предстоящей покупке, и о том, как деликатно, но остроумно он подколлет ученого еврея своим неопровержимым доводом. Поскольку оба эти занимавшие его предмета были уже вполне продуманы и решены, часть его сознания оставалась свободной для размышлений о том, что он услышал по радио.

Вопрос о Храмовой горе и о доступности ее для евреев давно и живо интересовал отца Джейкоба. Он-то отлично осведомлен был о всех сложных и мучительных перипетиях конфликта, и давно пытался для себя решить, чью сторону следует ему держать. И каждый раз, будучи честным человеком, натыкался на непреодолимые препятствия, мешавшие ему решить вопрос однозначно. Сейчас он снова быстро перебрал в уме противоречивые доводы с обеих сторон. Евреи утверждают, что на горе Мория находится скала жертвоприношения, то место, где Авраам готовился принести Господу в жертву сына своего Исаака. Мусульмане же считают, что не Исаак был жертвенным агнцем, а Ишмаэль, от которого и по-

шел весь род Ислама. Тут, по совести сказать, отец Джейкоб склонялся на сторону евреев, за ними явно было право первенства, да же если, как утверждают некоторые авторитеты, скала жертвоприношения вообще находилась совсем в другом месте. Евреи построили на горе Мория свое святилище, а затем и второе на месте разрушенного, задолго до того, как Мухаммад явил миру свое пророчество. Значит, опять право первенства за ними. И когда халиф абд-эль-Малик построил на том же месте, и именно вокруг скалы, свою великолепную мечеть в конце седьмого века, он сделал это не столько ради святости этого места для мусульман, сколько, главным образом, для того, чтобы продемонстрировать тогдашним местным жителям, по большей части христианам, величие и могущество Ислама, чтобы они почувствовали, что власть халифов Умайя – вещь прочная и долговечная, а не очередной набег диких кочевников из пустыни.

До этого момента отец Джейкоб определенно держал руку евреев. Тем более, что его вера безоговорочно включала в себя дохристианский иудаизм, и послехристианский иудаизм считала отнюдь не порочным или злокозненным, а лишь неполным, и прощала евреям их заблуждения как проявление вполне понятной человеческой слабости. По его убеждению, между иудаизмом и христианством не было истинного противоречия; если бы иудеи не познали единого Бога, у людей не было бы и пути к познанию Мессии; за это человечество обязано евреям вечной благодарностью. Послехристианское же их упорствование в своем заблуждении было вещью преходящей и не шло ни в какое сравнение с великой их заслугой.

А помимо глубокого теологического убеждения, отец Джейкоб питал к евреям простое сердечное сочувствие. Сквозь все их высокомерие, сквозь их крикливую самоуверенность, их скверные манеры и чиновничью бездарность, от которых он так часто страдал в этой стране, неизменно виделась ему тяжкая тень их неприкаянности, непривязанности, ненадежности их земного существования. Однако же, говорил себе отец Джейкоб, с этой ненадежностью они просуществовали на свете тысячи лет. Как знать, может быть, их предназначение и заключается в том, чтобы вечно напоминать роду человеческому, как нелепо и безрассудно называть эту землю и эту жизнь “своей”.

Их теперешняя попытка обрести прочность и обоснованность при помощи государственного устройства на Святой земле представлялась ему хотя и прекрасным, но преждевременным экспери-

ментом, вероятнее всего обреченным на неудачу – и в их словах “это наша земля”, “это наша страна”, “мы здесь у себя дома”, произносимых часто и с вызовом, ему слышалась все та же неуверенность и неприкаянность, от которой щемило сердце.

Возвращаясь, однако, мыслью к Храмовой горе, отец Джейкоб видел, как осложняется положение с течением времени. Положим, постройка большой мечети на Храмовой горе была актом политическим, а соседствующая с ней аль-Акса и вовсе перестроена была из христианской церкви. Но с тех пор прошли века, строения эти обросли легендами и эмоциями, освященными временем. Та нездешняя, дальняя молитвенная обитель, куда, то ли во сне, то ли наяву, Магомет совершил ночной полет из Мекки и откуда затем он взшел к Аллаху, со временем нашла свое земное пристанище в Иерусалиме, на Храмовой горе. Божественный скакун эль-Бурак, несший на спине своей пророка, прынул в небо с того именно места, где ныне стоит большая мечеть, и на скале жертвоприношения осталась неизгладимая вмятина – след его копыта. Отец Джейкоб убежден был, что легенда эта – позднейшего происхождения, ибо провел много часов в мечети Омара, расшифровывая надписи на ее стенах, и нигде не нашел ни малейшего упоминания святости этого места для Ислама в связи с Магометовым вознесением. Тем не менее, он не считал, что это дает основание отбросить притязания Ислама на Храмовую гору. Вера, даже построенная на заблуждении, была в его глазах бесценным сокровищем, и обращаться с нею следовало бережно. Тем более, что и сейчас, опять, святое это место стало для палестинских мусульман средоточием их национальных чувств. И чем дальше, тем упорнее и отчаяннее цеплялись они за иллюзорную арабско-мусульманскую суверенность этого места; фанатическая привязанность к нему питалась неудовлетворенными национальными чувствами, не находящими себе иного выхода

Это арабская сторона дела. Теперь – евреи. Евреи – хитрый народ, с одобрением думал отец Джейкоб. Победно вступив в арабский Иерусалим в шестьдесят седьмом году, они подчинились требованиям дня и оставили управление всем огромным мусульманским комплексом на Храмовой горе в руках мусульманского совета. И тем сразу убили нескольких зайцев. Во-первых, не стали возбуждать лишнюю смуту среди местного, только что покоренного, населения. Правда, отец Джейкоб помнил, что в те дни Большая мечеть отнюдь не была для магометан таким средоточием стра-

стей, каким стала за последние десять-пятнадцать лет. Но все-таки. Во-вторых, весь мир увидел, как уважительно евреи относятся к чужой религии, которая к их собственной относилась совсем иначе. А главное, им тем легче было тогда оставить священную гору в магометанском ведении, что они сами, подчиняясь заветам своих мудрецов, не имели даже и права всходить на то место, где некогда стоял их храм.

Да, как это ни парадоксально, для верующего еврея было бы святотатством вступить в пределы столь священного для него места. Что великий иудейский храм, и первый, а затем и второй, стояли именно на этом холме, соглашались почти все авторитеты, и светские и религиозные. Но никто не мог с уверенностью сказать, где находилась в храме Святая Святых. То тайное, укрытое от непосвященных глаз место, где находились данные Господом Израилю скрижали Завета, и куда, раз в год, вступал первосвященник пред лицо Господа и произносил его грозное и невыразимое Имя. Столь велик был его священный ужас, что порой, произнеся непронизносимое, он падал наземь без чувств – на этот случай к ноге его привязывали веревку, дабы извлечь тело из неприступного места.

И эта картина, и вся неразрешимая запутанность предмета, тянувшаяся прямо в сегодняшний день, так явственно представились отцу Джейкобу, что ему вдруг стало жарко и душно. Привычная охота к рассуждениям покинула его, и натренированный мозг мгновенно и полностью выключил эту тему.

Чайник начал бурлить и поплевывать, Милочка поставила его для сохранности тепла на печку и накрыла полотенцем. И что это он так долго не идет? Милочка начала ощущать легкий холодок над желудком, но твердо приказала себе не дурить, а прибраться лучше хоть немного в доме. А для того, чтобы поднять себе настроение и встретить Ангелуса весело, стала вспоминать, как она с ним познакомилась.

Полгода назад Милочка праздновала очередную годовщину своей жизни в Израиле и позвала к себе людей. Ей лень было много возиться, хотелось непринужденного, бесцеремонного веселья, поэтому она пригласила только русских, таких же как она, сравнительно недавних иммигрантов, чтобы без формальностей и чтобы не напрягаться по части языка. Купила водки, копченой рыбы, маслин, соленых огурцов, сварила картошки и нажарила котлет, а потом отодвинула мебель к стенам и предоставила гостям веселиться, кто как может.

Правда, многие ее знакомые считали, что праздновать тут нечего, что пребывание их на новой родине обернулось совсем не так, чтобы отмечать годовщины прибытия, да и вообще, что дух истинного веселья они навсегда оставили позади, в России. Однако же все приглашенные пришли. Люди они все были довольно молодые, вокруг тридцати, все уже преодолели самые болезненные первые годы приспособления к новой жизни и все, несмотря на частые и интенсивные склоки, рады были предложению собраться своей компанией. Да и водка, выпитая в умеренном количестве, но со множеством ритуальных жестов и восклицаний, быстро произвела свое действие, и все пошло как по маслу. Было именно так, как Милочке хотелось, беззаботно, пьяновато и легкомысленно, и она позволила себе отпустить тормоза. Плясала с двумя своими бывшими, теперь женатыми, любовниками, каждому по очереди объяснив, как ему повезло, что он женился не на ней, и с удовольствием выслушав их сожаления по этому поводу. Потом, вызвав добровольца из числа гостей, уложила его на ковер и демонстрировала, как она лечит физиотерапией своих пациентов, жена пациента обиделась и потребовала, чтобы он отвез ее домой. Все стали их отговаривать, и в это время пришел еще гость, с незапланированным приятелем. Приятель, светловолосый и светлицый, оказался голландцем, но все уже слишком разгулялись, чтобы стесняться присутствием постороннего. Да и голландец оказался вполне на высоте, болтал на иврите, хвалил котлеты, мгновенно догнал остальных по части выпивки, пел, валял дурака и танцевал не хуже прочих. У женщин он был нарасхват, и Милочке не удалось даже разок пройти с ним. Все, не сговариваясь, решили, что если он кому и достанется, то Ларисе Малышевой. Она была самая европейская на вид, совсем не похожа на русскую еврейку, длинноногая, с прямыми сильными плечами и узкими бедрами, с русской челкой, искоса падавшей на широко расставленные серые глаза. И было только справедливо, что голубоглазый северный человек почти весь вечер провел рядом с ней. Милочка радовалась, что он не скучает, и даже и не пыталась обратить на себя его внимание. Было и без того весело, и расходиться начали поздно.

Провожая к дверям очередную пару, Милочка краем уха услышала, как голландец переговаривается с приведшим его приятелем:

– Пора и нам?

– Ты, наверное, Ларису будешь провожать? А я тогда вот эту компанию подброшу.

– Ладно, – согласился голландец. – Слушай, а где вот тут была такая маленькая, толстенькая?

– Которая?

– Ну, маленькая такая, черненькая, все тут вертелась, а теперь не вижу.

К двери подошли еще люди, и Милочка не слышала продолжения, но она сразу догадалась, что голландец имел в виду ее. И хотя слова могли показаться обидными, тон был совсем не обидный, наоборот. Тут к ней подошла прощаться разгоряченная, сияющая Лариса, а вместе с ней и он. Лариса нагнулась и крепко, благодарно поцеловала Милочку в обе щеки. И он тоже нагнулся, поцеловал Милочку в губы и сказал:

– Это ты, оказывается, наша хозяйка!

– Я, – ответила Милочка, глядя снизу вверх в улыбающиеся серые глаза.

– А завтра ты гостей принимаешь?

Милочка ясно увидела, как мгновенно опало счастливое лицо Ларисы, и в другой раз она, может быть, и пожалела бы подружку, но сейчас никого жалеть было нельзя, и она ответила быстро и без запинки:

– Тебя – да.

Милочка тогда так и решила, что это ей подарок от судьбы к ее годовщине. Ей-то как раз было что праздновать.

Приехала она в Израиль с мужем. Милочка вышла за него очень рано, неполных восемнадцати лет, и не по любви, а от неуверенности в себе. Пять лет замужества она прожила сперва в полном недоумении, а потом в тоске и скуке, и, если бы не переезд в Израиль, возможно и до сих пор жила бы с мужем, отравляемая сознанием своей непригодности, опутанная чувством вины, жалости и безысходности.

Милочка была у своих родителей одна. Ребенком она часто болела, было что-то с легкими, с бронхами, она была слабенькая и тощенькая. Родители держали ее дома, доставали по знакомству справки от врачей, чтобы Милочка могла учиться экстерном, нанимали ей репетиторов. Милочка была поздний ребенок, она смутно знала, что до ее рождения отец “пострадал”, лишился, как и многие его коллеги-евреи, аспирантского места в институте, не мог найти работы и должен был уезжать каждую зиму из Москвы куда-то в Мичуринск, где преподавал в школе рабочей мол одежды. К

концу пятидесятих годов он вернулся домой, но аспирантуры заново добиться не сумел, стал и тут преподавать в школе, а когда родилась Милочка, ему пришлось подрабатывать частными уроками, чтобы ни в чем ей не отказывать. Мать рассказывала, что отец до Мичуринска был “не такой”, а веселый, самоуверенный и предприимчивый. Милочке трудно было в это поверить, да сначала ей и было это все равно. А позже, когда она подросла, он стал ей неприятен своей вечной озабоченностью, своим скопидомством, своим полным отсутствием интереса к чему-либо, кроме семьи, своим непрерывным трусливым шипением по поводу соседей, сослуживцев и начальства. Все было не по нем, вечно он все и всех критиковал, и по ночам Милочка привыкла засыпать под нескончаемый саркастический шепот, несшийся с постели родителей. Мать тоже работала, но не так много, как отец, потому что должна была выхаживать и откармливать Милочку. В этом она находила радость и удовлетворение, и была совсем не такая желчная, как отец.

Милочка была приучена часто и питательно есть, приучена была к тому, что еда ее сильно отличалась от еды родителей – потому что ей было “нужно” – и долго не видела в этом ничего странного. Долго не казалось ей странным и то, что у нее нет подруг, и даже свое нехождение в школу она привыкла считать неизбежным и полезным для себя. Она много читала, слушала радио и смотрела телевизор, знала, что страна, где она живет, огромна, сильна и устроена, в общем и в целом, прекрасно, и была довольна собой и жизнью. Злобная воркотня отца была следствием его скверного характера, на который иногда жаловалась со вздохом и мама, и Милочка по ночам просто зажимала уши подушкой.

Но к двенадцати годам стало очевидно, что Милочка совершенно здорова, к тому же отец постарел, устал, начал давать меньше частных уроков, больше бывал дома, и Милочка сама запросилась в школу.

И тут оказалось, что Милочка, умненькая и хорошенькая девочка, мамина и папина радость, вовсе не красавица и не умница, а “бомба”, “бочка”, “жиртрест”, “мясокомбинат”, “кушай, детка, кушай, никого не слушай”. Училась она с легкостью, сказывались домашние занятия и обильное чтение, но плохо понимала, о чем говорят между собой другие ребята, не знала простейших игр, считалок, популярных песен и анекдотов, не могла разобраться в интригах, в расстановке сил и иерархии своего класса. За неизменно хорошие отметки ее считали выскочкой и показухой, а за все осталь-

ное дурой ненормальной. Вдобавок, на первом же уроке произошло нечто, совершенно для нее тогда непонятное и неожиданное, что надолго подпортило ей отношения с самой собой и со школой.

Началось все нормально. Учительница, немолодая женщина с седым пучком и с веером симпатичных морщин вокруг глаз, погладила Милочку по голове и посадила рядом с курносый мальчишкой, тоже довольно толстым. Пока учительница разбирала бумаги на столе, Милочка разглядывала соседа.

– Эй, жирная, чего пялишься? – беззлобно спросил мальчишка.

– Сам ты жирный, – храбро ответила Милочка.

– Тебя как зовут, жирная?

Без всякого дурного предчувствия Милочка ответила:

– Шмуклер Милочка.

– Чего? – сказал мальчишка. – Шмукля?

– Шмук-лер, – с расстановкой произнесла Милочка. – А тебя как?

– Мук-лер, – так же с расстановкой повторил мальчишка. – Ага. Вас понял, Мук-лер Шмилочка.

Учительница жестом потребовала тишины, и Милочка решила рассчитаться после. Ей было досадно, что она назвала себя “Милочка” вместо солидного, взрослого “Людмила”, и жалко было домашнего, мамино, ласкового имени, противно исковерканного мальчишкой, но обиды она не почувствовала. Ей даже как бы польстило, что она сразу же сделала первый шаг на пути в тот особый школьный мир, где, как она знала из книжек, у всех обязательно были свои, часто нелепые и смешные, прозвища и клички.

Учительница объявила:

– Ребята, у нас в этом году много новеньких. Давайте познакомимся с ними.

Она стала называть фамилии, и ребята вставали один за другим и говорили: “Я русский, родился там-то, учился там-то, мой папа делает то-то...” – а все смотрели на них с любопытством и слушали. Милочка была последняя в списке и успела набраться духу. Ей даже хотелось, чтобы ее вызвали поскорее, потому что другие все говорили почти одно и то же, а у нее все-таки история была необычная. Она встала почти не робея и заговорила отчетливо и бойко:

– Я русская, родилась в Москве, училась дома, экстерном, потому что...

– Шмуклер, – прервала ее учительница негромко.

Милочка остановилась с разгону. По классу пронесся тихий шелест, учительница подняла руку, и все стихло.

– Шмуклер, – повторила учительница негромко и, как показалось Милочке, ласково, – ты этого еще не знаешь, но мы в школе привыкли говорить только правду. Ты тоже должна этому научиться.

– Но я правду говорю, – уверенно ответила Милочка. – Я сильно болела, и поэтому...

– Шмуклер! – учительница слегка повысила голос, но не сердито, а укоризненно, и Милочка не испугалась. Ей очень хотелось угодить седенькой учительнице и поскорее доказать ей, что и Милочка привыкла всегда говорить правду. Она не могла понять, почему у всех сошло гладко, а у нее заело. – Не торопись, Шмуклер, подумай и начни сначала. Итак?

Милочка подумала, но ничего не придумала. Она набрала в грудь воздуха, выдержала долгую паузу и сказала медленно, как хотела учительница:

– Я русская, родилась в Москве, учи...

– Ребята! – громко обратилась к классу учительница. – Шмуклер не умеет говорить правду. Она научится. А мы должны ей помочь. Давайте ей поможем.

– Давайте, давайте! – радостно загудел класс.

– Ш-ш! Как вы думаете, ребята, Шмуклер сказала нам правду или нет?

– Нет! Врет! Неправду!

– Давайте попросим ее сказать правду.

Происшествие превращалось во всегда желанный ученическому сердцу спектакль, и класс готовно захлопал в ладоши:

– Просим! Просим! Пусть скажет правду!

Милочка пыталась догадаться, что им нужно. Экстерном она училась, это правда. Болела – у мамы все справки есть. И в Москве родилась. Еще она сказала, что она русская. Тоже правда. Это ведь и все говорили, и учительница их не останавливала. Правда, в разговорах папы с мамой часто упоминалось, что они евреи, и Милочка знала, что это обстоятельство чем-то сильно мешало им, но это было их сугубо домашнее, семейное обстоятельство. Она вовсе не собиралась его скрывать, но с какой стати говорить именно о нем сейчас, во время первого знакомства с классом? Не станет же она рассказывать, например, что маме с папой всегда не хватает денег, или что у них в комнате проваливается паркет. Все

это их, папины и мамины взрослые заботы, в которые дети не вмешиваются. Другие тоже ничего не говорили о своих семейных обстоятельствах. Какое отношение они могли иметь к школьной жизни Милочки? Нет, не может быть, чтобы от нее ждали этого. Но тогда чего?

– Ну, Шмуклер? – сказала учительница.

Милочка молчала.

– Ты скажешь нам, кто ты?

Милочка молчала.

– Кто ты, Шмуклер?

Милочкин сосед по парте тихо проговорил: “Муклер Шмилочка”.

– А ты, Шмуклер, к тому же и упрямая!

И Милочка, все еще отбивавшаяся, все еще пытавшаяся объяснить свою невзгоду тем, что она толстая, или тем, что она училась экстерном, или даже тем, что ее белый нейлоновый фартук, сшитый мамой, отличался от магазинных фартуков других девочек, вдруг отчетливо поняла, что они имели в виду именно это, добивались от нее признания именно в этом. А ведь признаться можно только в дурном, и – да, она хотела, хотела это скрыть, но теперь нельзя было ни скрыть, ни сказать.

Милочка села на скамью и закрыла лицо руками.

Класс разочарованно зашелестел.

Учительница вздохнула и сказала:

– Шмуклер не только врунишка, но и трусиха. Боится признать свою ошибку. Ну, ничего. Она научится.

Милочка научилась с одного урока, и ошибку свою никогда больше не повторяла, хотя в чем она заключается, так, в сущности, и не поняла. И относиться к самой себе и к жизни она начала несколько иначе, без прежней безусловной доверчивости. С началом школы жизнь ее перестала быть тем теплым, интересным и дружелюбным местом, в котором ей повезло родиться и пробыть целых двенадцать лет, где ее любили, хвалили и баловали. И сама она теперь казалась себе не тем, чем казалась раньше.

Раньше она привыкла думать о себе с безусловной симпатией, наверняка не хуже других, а кое в чем, может, и лучше. Теперь же все в ней самой было ей противно, все не так, как у других. Противное имя: Клаву Чучину звали Чучка, Колю Волкова звали Серый, Марину Офицерову звали Генеральша – а ее звали Шмилочка, Шмилочка Муклер. Противное жирное тело, раскормленное ма-

мой. Милочка знала теперь, что только еврейские мамы так раскармливают своих детей. Случайно Милочка услышала, как одна учительница сказала про нее другой: “типичная еврейская красота” – и потом долго и недоуменно рассматривала в зеркале свои слишком черные и слишком блестящие глаза, свой тонкий, высокий, слишком четко очерченный нос, свой слишком пухлый и слишком красный рот с легкой тенью над верхней губой.

Противны ей были и собственные мозги, которые, против милочкиной воли, схватывали слишком быстро и слишком много и потом тупо скучали, пока нормальные ученики доходили до всего нормальным медленным путем, с повторениями, объяснениями и поворотами вспять. Несмотря на все усилия, Милочка долго не могла заставить свою голову работать так, как у всех: в любом предмете она неизменно видела не то, что видели другие, замечала нелепости, несоответствия и смешные, или, наоборот, трогательные и волнующие стороны там, где другие ничего такого не замечали. Раньше все это казалось Милочке естественным и интересным, но в школе она узнала, что это не так, что все другие думают иначе, и ненормальность ее мышления обнаруживалась, к милочкиному позору, всякий раз, когда она открывала рот. Поэтому теперь она старалась побольше молчать, а домашние задания, чтобы избежать недоразумений, заучивала слово в слово. Учителя говорили про нее: “старательна, но для евреечки туповата”.

С годами, впрочем, она сбросила чрезмерный вес, хотя настоящей худобы ей так никогда и не удалось добиться; чрезмерная быстрота и острота восприятия тоже замедлились и притупились до обыкновенной пристойной сообразительности. Дольше всего Милочка попадала впросак со своей манерой всегда замечать и считать главным не то, что замечали и считали главным другие. Но постепенно она научилась выведывать исподволь, что думают о предмете окружающие, и сообразовывать с этим свои высказывания. А для полной безопасности, она стала покрывать свои мнения своего рода клоунадой. Любые свои слова, даже самые надежные, она на всякий случай сопровождала ухмылкой, нарочито неуклюжим движением руки, иногда даже легким подпрыгиванием на месте, вроде балованного ребенка, изрекающего забавные словечки на потеху взрослым. Она как бы наперед давала понять слушателям, что это она нарочно, для понту, смеху ради. Она даже прослыла острячкой, ей так и говорили: “ну, ты острячка, Шмилочка”, и Милочка в ответ ухмылялась, хотя сама не видела в своих словах

ничего смешного или остроумного, а часто, наоборот, высказывала свои самые душевные мысли.

На этих условиях, в качестве клоуна, ее постепенно приняли в компанию сверстники, тем более что к шестнадцати годам Милочка сильно изменилась внешне. Одноклассники Милочки, слишком привыкшие к ее паясничанию, оставались к этому нечувствительны, но на улице молодые мужчины оглядывались на Милочку и часто пытались завязать знакомство. Это приводило Милочку в смятение. Молодые люди, пытавшиеся ухаживать за Милочкой, наверняка ошибались, принимали ее за что-то другое. Рано или поздно ошибка должна была обнаружиться, и тогда поклонник должен был с отвращением ее отбросить. И Милочка, не дожидаясь этого, торопилась обнажить свою истинную сущность, пускала в ход привычные клоунские приемы и дурацкие обидные шуточки, за которыми чувствовала себя в безопасности, и знакомство быстро сводилось к недоуменному, но для нее, как она думала, безболезненному концу.

После школы она даже и не пыталась поступить в институт, хотя мама очень настаивала. Но папа к тому времени уже умер, изойдя бессильной желчью, а маме с Милочкой было не справиться. Милочке не хотелось заниматься никакой умственной деятельностью и очень хотелось еще похудеть, и она поступила в физкультурный техникум на физиотерапию. Там она очень скоро встретила своего будущего мужа. Хотя Милочка и думала иногда о замужестве, но, зная все свои вывихи, совершенно на это не надеялась, а уверена была, что умрет старой девой. И когда преподаватель лечебной физкультуры, ничем особо Милочку не привлекавший, но вполне приличного спортивного вида и кажется незлой, влюбился в Милочку и проявил серьезные намерения, она сказала себе, что это, возможно, единственный ее шанс и надо брать, что дают.

Милочка заметила, что опять начала думать о неприятном, а Ангелус все не возвращался. Прошло уже около часа, в комнате стало тепло от печки и газовой плиты, сваренный Милочкой кофе остыл. Но беспокоиться, разумеется, не следовало. Что могло с ним случиться в женском монастыре? Наверно, монахини его заговорили, а он, по своей деликатности, не может от них отделаться. Или хлеба ему там не дали, и он все-таки побежал в лавку. Да, скорее всего в лавку. В Старый город. А там, может, хлеба еще не подвезли по случаю снега. Или вообще еще закрыто, и он ждет. И

там... Приспичило же мне этого проклятого хлеба требовать. Обойтись не могла, принцесса? Нажарила бы, например, картошки, никакого хлеба не надо. Вот и нажарь, ожесточенно проговорила Милочка вслух, начисть и нажарь, и не дури себе голову.

Оставив удручавшие его мысли о Храмовой горе, отец Джейкоб с облегчением вдохнул снежный воздух и снова стал замечать окружающий мир.

Он уже вошел в Иерусалим, миновал Францисканскую церковь с ее аляповатым, но давно присмотревшимся и потому не резавшим глаз мозаичным фронтоном, и подходил к мосту через долину Кидрона. Шоссе над ущельем огорожено было с обеих сторон каменным парапетом, на котором часто сидели туристы и паломники, любясь прекрасным видом на святые места и щелкая фотоаппаратами. Но сейчас для туристов было еще рано. Слева, по другую сторону дороги от отца Джейкоба, стояла небольшая, сравнительно недавно построенная греческая православная церковь, вид которой каждый раз вызывал у отца Джейкоба невольную досаду. У этой церкви тоже не было прихожан, она открывалась только по большим праздникам два-три раза в году, и выстроили ее жадные греки для того лишь, чтобы закрепить за собой попрочнее кусок бесценной земли в святой Гефсимании. Ниже уровня дороги, не видимое непосвященному глазу, под церковью скрывалось целое большое здание, разбитое на обыкновенные квартиры, которые расчетливый поп-киприот, держатель церкви, сдавал внаем жильцам, чаще всего еврейским молодым парам либерально-богемного толка. У отца Джейкоба были там даже знакомые, но он ходил к ним редко, не желая лишний раз вступать в греческие владения.

Избегая взглядом нелюбимое здание, отец Джейкоб опустил глаза, и увидел впереди на тротуаре небольшую желтую собаку, которая сидела на тающем снегу, прижавшись к парапету боком и уткнув в него морду. Отец Джейкоб собак побаивался, особенно тех, что без хозяина, и подумал было, не перейти ли ему на другую сторону.

Но хозяин был тут же, в нескольких десятках шагов. Высокий широкоплечий молодой человек в синей куртке стоял во весь рост на парапете. Под сверкающим утренним солнцем, непривычно отражаемым белыми полотнищами снега, человек казался огромным и очень ярко одетым. Он стоял спиной к дороге, спокойно свесив руки по бокам, и тихонько покачивался взад и вперед, с носков

на пятки, глядя вниз, в долину. Отец Джейкоб знал, что смотреть там не на что, кроме запорошенного черной дорожной пылью и замусоренного рваными пластиковыми мешочками участка при доме, тоже принадлежащем грекам. Высоты там было не меньше десяти метров, и, хотя молодой человек наверняка обладал отличным чувством равновесия, отец Джейкоб, забыв про собаку, с некоторым беспокойством наблюдал его небрежную позу и это его покачивание. Он невольно ускорил шаг.

В это самое время молодой человек раскинул руки и сильно качнулся вперед. Отец Джейкоб побежал. Но добежать не успел. Слегка оттолкнувшись ногами, молодой человек бросился вниз, в долину.

Желтая собака зашевелилась, отвернула морду от стенки парашюта и, вытянув кверху длинную шею, нюхала воздух.

С больно колотящимся сердцем отец Джейкоб подбежал к тому месту, где только что стоял молодой человек. Он заглянул за парашют, кляня себя за медлительность и с ужасом ожидая увидеть внизу жалкую кучку разбитой плоти. Однако человек еще только приземлялся. Как раз в это мгновение ноги его коснулись пухлого снега, он неловко присел на корточки, но тут же выровнялся, слегка подпрыгнул и пробежал несколько шагов. Остановился, повернулся лицом к парашюту, снова покачался немного с носков на пятки. Затем, глубоко согнув колени, рывком подбросил себя на полметра от земли, замер на секунду – отец Джейкоб видел, как содрогалось от напряжения его вытянутое тело – и, сильно опираясь разведенными в стороны руками на воздух, начал медленно подниматься.

Отец Джейкоб, замерев, смотрел на юношу и едва успел отшатнуться от парашюта в последнюю секунду, невзначай смахнув на землю валявшуюся там початую буханку хлеба. Прямо на него из-за парашюта выплывала голова молодого человека – сперва потные волосы, затем напряженно расширенные невидящие глаза, крепко стиснутые губы, затем показались плечи, распластанные большими белыми руками, окаменевший от усилия торс, ноги с оттянутыми носками – человек завис над парашютом и мягко на него опустился.

– Уф! – сказал молодой человек, толчками выпуская задержанное дыхание.

– В-вы... ничего? Не... не ушиблись? – пролепетал отец Джейкоб.

– А? – переспросил молодой человек, с видимым трудом сводя

глаза в фокус на отце Джейкобе и сконфуженно улыбаясь. – Да нет, тут ведь невысоко, и там мягко, снег... Просто захотелось проверить...

Но отец Джейкоб уже не услышал его слов. Вообще ничего больше не слыша и не видя вокруг, он резко повернулся и, не разжимая судорожно стиснутых на груди рук, быстро зашагал, почти побежал прочь.

А Ангелус оглянулся по сторонам, убедился, что поблизости никого больше нет, и снова повернулся лицом к обрыву. И начал: немного покачался – и вниз, на уже вытопанную его ногами вмятину в снегу. Постоял минуту – и вверх, на парапет. И еще раз. И еще. Переждал, пока прошли люди, и снова. С каждым разом спуск становился более плавным, подъем менее мучительным. И каждый раз, поднявшись, Ангелус говорил себе с восторгом – да, это я, это происходит со мной! И никак не мог остановиться.

Наконец тело начало ему отказывать, и он, покачавшись с сожалением еще немного, прыгнул с парапета на мост. И увидел на тротуаре буханку. Хлеб уже успел подмокнуть в грязной снежной каше, Ангелус недоуменно потрогал его носком сапога и хотел откинуть в уголок, где копилась куча мусора, но тут на глаза ему попался желтый щенок. Он разломал хлеб на куски и сложил аккуратной горкой на тротуаре. Затем тихонько свистнул щенку. Недоверчиво поглядывая исподлобья вверх, щенок подкрался к хлебу, схватил кусок и, рыча, отбежал в сторону.

Самих только еще подходил к теткинному дому, а уже жалел, что вернулся. И чего сорвался? Тетка, наверно, прибираться начала, ворчать будет. В городе было все, как обычно. Народу на улицах немного, только ошалевшая от снега мелкота носится и вопит. Туристов вообще почти не видно – рано для них, поспать любят. Да они и одежды-то с собой теплой сюда не берут, как же, жаркий южный край, идиоты. Одни только немцы какие-то с голыми коленками – “Я-а, я-аа”, злобно передразнил их Самих – да кучка японцев со своими видеокамерами, этим все нипочем. И лавки на базаре только-только начали открываться, да половина и совсем не откроется. Тихо и пусто... Побежать быстро опять на автобус? Ну, опоздает немного, скажет, из-за снега, может, и помилуют... Да зачем он и вернулся-то? Поглядеть, как друзья из пограничной охраны одеваются все подходы к священной территории? Полюбоваться издали, как подъезжает к воротам вереница красивых блестящих авто-

мобилей с еврейским начальством? Большое дело, ну, поднимутся на гору, ну, посмотрят кругом, чего и ищут-то, неизвестно – как пришли, так и уйдут.

Тетка действительно занималась уборкой и встретила его неласково, не хотела даже в комнату пускать, а ему обязательно нужно было переодеться. Тетка вынесла на порог его чемодан, и он тут же, на пороге, быстро натянул чистые джинсы и сменил запачканную рабочую куртку на новую, кожаную, с красивыми молниями на рукавах и карманах. Рядом топтались два младших племянника, жадно заглядывали в чемодан, лезли грязными лапками. Один потянул из-под кома рабочей одежды ярко-красный уголок. Самих тихо ругнулся, племянники прыснули в стороны. Самых вытащил красный платок, сунул в карман, затынул чемодан ремнем и пошел.

Всю дорогу в опустевшей голове отца Джейкоба билась одна мысль – скорей куда-то пойти, кому-то сообщить, рассказать, объявить... Машинально он дошагал до еврейской части города и только тут несколько опомнился. Куда пойти, что объявить? Ему стало стыдно за свою растерянность. Почему он так поспешно и трусливо убежал? Да, конечно, он увидел нечто, чего никто в мире никогда еще не видал. Но ведь этому наверняка имелось какое-то рациональное объяснение. Отец Джейкоб с энтузиазмом следил за новейшими достижениями науки и техники и глубоко верил в их почти неограниченные возможности. Как же это он не остановился, не расспросил молодого человека, не попросил его повторить свое невозможное действие? А может быть, это была просто какая-то абберация зрения, трюк иллюзиониста? Тем более надо было расспросить, проверить, убедиться... Что же именно он увидел? Что это было? И кто это был?

По инерции он добрался до намеченного магазина – и тут обнаружил, что не помнит, зачем сюда пришел. Оставалось лишь неутолимое стремление поскорее кому-нибудь рассказать, такое сильное, что впору было остановить первого встречного. Вот когда отец Джейкоб пожалел о своем одиночестве. Кинуться в полицию? На радио, на телевидение? Там его, быть может, и выслушают. Но, разумеется, не поверят, сочтут за сумасшедшего. Если же вдруг поверят, сразу побегут разыскивать юношу, а эта мысль была отцу Джейкобу нестерпима.

Раввин в Бухарском квартале! И выслушает, и за сумасшедшего не примет! Не выбирая мест посуше, отец Джейкоб зашагал крат-

чайшим путем прямо по расквашенному снегу. Желание рассказать жгло так сильно, что, подходя к знакомому дому, он даже не глянул на себя в витрину соседней лавочки, чтобы убедиться, что цивильный наряд его благопристойен и не шокирует чопорного раба.

Рав Хаим был занят с учениками, но сразу заметил, что гость его сильно возбужден. Велев молодым людям продолжать занятия попарно, он осведомился о здоровье отца Джейкоба. Но тот, не желая втягиваться в докучливый ритуал, только нетерпеливо махнул рукой, и рав Хаим недоуменно приподнял бровь.

И тут возбуждение покинуло отца Джейкоба. Да полно, было ли это, видел ли он это? Неужели он сейчас станет говорить этому самоуверенному, полному еврейского скепсиса служителю чужой религии, что видел чудо? А ведь до сих пор рав Хаим относился к нему не без уважения, хотя отец Джейкоб и ловил порой на его лице скрытую усмешку превосходства. Однако обширные познания отца Джейкоба, его безупречный, со всеми сефардскими придыханиями и гортанными звуками иврит и прекрасный арамейский импорнировали ученому раввину, а непривычное смирение гостя ему даже льстило.

Отец Джейкоб вздохнул с сожалением, но остановиться уже не мог. Пробиваясь сквозь гудение учеников, он как можно суше и прозаичнее изложил увиденный им эпизод. Раввин слушал молча, не выражая ни недоверия, ни изумления. Отец Джейкоб замолчал. Молчал и раввин. Ученики исподволь разглядывали гостя и еле слышно пересмеивались.

– Вы мне не верите, – грустно сказал отец Джейкоб.

– Да почему же, – раввин вздохнул и опустил глаза вниз, на ноги гостя.

Отец Джейкоб невольно проследил за его взглядом и увидел, что с башмаков натекло на ковер. В другой раз это сильно смутило бы его, но сейчас он только поежился и подобрал ноги под стул.

– Почему бы и нет. Верю, что видели, – раввин снова вздохнул.

– Да и погода нынче такая, что всякое... – он неопределенно пошевелил в воздухе тонкими пальцами и привычно взялся за длинный завитой локон. Затем повернулся и, доставая с полки у себя за спиной одну из толстых книг, проговорил другим, оживленным тоном:

– Я полагаю, реб Яков, вы пришли опровергнуть постулат, который я сформулировал в прошлый раз?

– Я... да, действительно...

– Ну-ну, посмотрим, как вам это удастся!

– Да... нет, но... как же?

– Что – как же? А, вы все об этом... – по лицу раввина скользнула знакомая отцу Джейкобу снисходительная усмешка и тут же исчезла, сменившись выражением грустной укоризны. – Я всегда подзревал, что вы, христиане любых оттенков, не довольно крепки в вере. Все-то вы ищете чудес, доказательств, подтверждений. Даже вы, причастившийся стольких подлинных истин. Разве мало вам, что весь наш мир – одно великое чудо? Всевышнему ли потакать вашей слабости мелкими тривиальными фокусами?

– Так вы думаете, это просто фокус?

– А вы как думаете?

– Я не знаю, что и думать.

– А что он сказал? Как объяснил?

– Никак... Я не спросил...

– Не спросили? Как же так?

– Я... мне стало страшно... я ушел...

– Страшно! – торжествующе воскликнул раввин. – Страшно? Вы увидели нечто, что показалось вам чудом – и испугались? Не возликовали при виде снисхождения Господня – пусть чудо и ложное, в чем я убежден и в чем вы не захотели убедиться – не вознесли благодарственную молитву, а трусливо пробежали мимо! Ну, и чего после этого стоит ваша вера?

Отцу Джейкобу вдруг невыразимо жалко стало прежней своей жизни, трудной но спокойной, без сомнений и колебаний. Теперь, он знал, не будет ему покоя, и эта прежняя жизнь представилась ему такой счастливой, такой безмятежной, что отец Джейкоб чуть не заплакал. И разговаривать с раввином совершенно больше не хотелось.

– Вы правы, наверное, – неловко пробормотал он и встал.

– Куда же вы, реб Яков?

– Да я тут... по делам...

Усмешка исчезла с лица раввина.

– Сидите, реб Яков, сидите, мой друг. Сейчас вам принесут кофе. Вы удручены? Простите меня, я чрезмерно поспешил с выводами. То, что вы рассказали, заслуживает более подробного разговора. Давайте же рассудим спокойно. Да вот, – рав Хаим снова обернулся к книжной полке, – я вам сейчас на эту тему прочту из...

– Нет, нет, это вы меня простите, – торопливо перебил его отец Джейкоб, отступая к двери. – Мне в самом деле пора. Мне нужно...

Нужно ему теперь было только одно – вернуться поскорее на то же место и... что? Трудно было ожидать, что там все осталось как было, что юноша по прежнему стоит, покачиваясь, на парапете моста через Кидрон. Но отец Джейкоб не рассуждал и не загадывал, а шел, торопился изо всех сил, проехал даже часть пути на подвернувшемся автобусе, и только твердил про себя, как заклинание: “Это снег, снег, это странный отраженный белый свет...”

К тому времени, как Милочка дочистила картошку, руки у нее так похолодели, что едва держали нож. Ни уговаривать, ни ругать себя не имело больше никакого смысла. Ангелус отсутствовал почти полтора часа. Радио сказало, что начальственный визит на Храмовую гору протекает как намечено, что на мусульманском кладбище у Львиных ворот наблюдается некоторое скопление враждебных местных элементов, но силы безопасности полностью владеют ситуацией и надеются избежать эксцессов. Милочка выключила печку, скинула башмаки Ангелуса, как глупо, что она, не поверив прогнозу погоды, пришла сюда вчера в легких туфлях, но ничего не поделаешь, башмаки слишком велики – и выбежала на тающий снег.

Ангелус стоял и смотрел, как щенок ест. Ему и самому хотелось есть, он нагнулся и выбрал кусок хлеба почище и посуше, потом отошел немного, снял с парапета полосу ноздреватого снега, скатал его в плотное яблоко и с наслаждением набил рот хлебом и снегом. Как хорошо! Шампанские пузырьки радости покалывали разгоряченное тело острым холодком. Расслабившиеся мускулы блаженно гудели.

Но где это он? Как он сюда попал? Ангелус повел вокруг неузнающим взглядом.

Вокруг него была то ли сказка, то ли театральная декорация. Справа крепостная стена, в ней ворота... Заснеженное ущелье с радостным шумом воды, а левее – пологий склон горы, покрытый бело-зеленым ковром, там и сям уставленный ярко раскрашенными церковными зданиями... Взгляд его заскользил выше, выше, и сам безошибочно отыскал наверху маленький домик, едва видный среди испятнанной снегом зелени. Мой домик, с радостным изумлением подумал Ангелус. И сразу все стало на свои места. Иерусалим, Гефсимания, а рядом Старый город, ворота святого Сте-

фана, они же Львиные... А слева Масличная гора, и на горе его домик, а в домике его ждет Милочка.

Милочка! Она ведь его ждет! И это вот как раз хлеб, который он должен был ей принести! Сколько же времени прошло? Часы он забыл надеть, но, кажется, порядочно. Милочка сердится, а если он не принесет хлеба, рассердится еще сильнее. Ангелус улыбнулся. Милочкин гнев смешил его и трогал, а еще больше его трогало горькое раскаяние, которое неизменно наступало вслед за вспышкой. Иногда он и вовсе не понимал, почему она сердится и на что обижается, от чего у нее внезапно меняется настроение, но это не раздражало его, а умиляло. А иногда и восхищало, ибо сам он на такие острые эмоции был неспособен. Огорчали его лишь милочкины страхи. Сам-то он боялся только одного – что он, прохладный и пресный европеец, закованный в броню условностей и приличий, скоро наскучит этому пылкому, непосредственному, переменчивому и перепутанному существу, словно сошедшему со страниц русского классического романа.

Вот и сейчас Милочка, наверно, уже начала тревожиться. Она тревожится о нем! Что с ним что-нибудь случится! Радостное возбуждение, не покидавшее его с самого утра и достигшее, казалось, апогея минуту назад, усилилось до такой степени, что Ангелус не выдержал, подпрыгнул и повисел немного в воздухе, не касаясь ногами земли. Но тут же опомнился – вдали по дороге шли люди. На свете есть милый сердцу человек, который тревожится, как бы с ним чего-нибудь не случилось! Не бойся, Милочка, ничего со мной не случится и случиться не может. Теперь у меня есть все, и даже больше, чем у других, теперь я все могу, теперь я так счастлив, что ничто меня не тронет и не огорчит.

Вот, разве что твоя ругань, ухмыльнулся про себя Ангелус, когда я явлюсь домой без хлеба. А впрочем – вот же близко ворота, а за воротами лавка.

– Ну, а ты, небось, наелся и не пойдешь теперь? – спросил он щенка.

Щенок тем временем, хватая куски, отбегал на все меньшее расстояние. Последний кусок он взял уже без жадности, подержал в пасти и выронил к ногам Ангелуса. Ангелус нагнулся и почесал между длинными вислыми ушами, щенок задергал кожей и поднял щетину на загривке, но не отошел.

– А то пойдём? Грех замаливать? – Ангелус подтолкнул щенка под тощий зад в сторону ворот.

Щенок низко нагнул голову и уперся всеми четырьмя лапами. Ангелус толкнул сильнее, щенок проехался немного по скользкому тротуару и сел.

– Ну, если так, извини, – сказал Ангелус, – больше никак не могу, – и зашагал к воротам. Может быть, щенок сам побежит за ним. Но когда он обернулся, щенок сидел на прежнем месте и смотрел на него отчаянными глазами.

– Ах ты упрямая скотинка, – пробормотал Ангелус, быстро вернулся и схватил щенка на руки. Тот не сопротивлялся, а снова сунул голову Ангелусу под мышку и затих.

У ворот русского монастыря знакомый араб-сторож со смехом сказал Милочке, что да, Ангелус был, веселый такой, хлеба ему дали, и он ушел, давно уже. Милочка побежала дальше. Значит, гуляет где-нибудь, на снег любитесь, решила она с замирающим сердцем. Ноги у нее промокли сразу, но она этого не чувствовала. Ох, как я его сейчас изничтожу, твердила она себе. Как я его сейчас... Я там сижу с ума схожу, а он гуляет себе, веселый такой... Ну, я ему сейчас... Милочка явственно увидела, как покаянно зажмурятся обожаемые голубые глаза, а твердый рот чуть сожмется, удерживая улыбку – конечно же она знала, что он посмеивается над ее гневом, и сердилась еще больше, и любила его еще больше – нет, решила она внезапно, не буду я его ругать, не буду упрекать, а обниму, прижмусь, уведу его в наш тихий, теплый, неприступный домик, только бы найти его, найти его поскорее.

Милочка добежала до моста через Кидрон, и тут ей пришло в голову: может, он встретил знакомых, живущих вот здесь, при греческой церкви, и они затащили его к себе? Она готова была уже сбегать по ступенькам, ведущим в нижние этажи, в жилые квартиры, когда заметила на другой стороне немолодого мужчину в темном старомодном плаще, с большой полуседой бородой, задумчиво стоявшего у парапета. Милочка бросилась к нему:

– Простите, вы тут давно стоите? – мужчина был явно не араб, но не походил и на туриста, и Милочка заговорила с ним на иврите.

– Я... да... стою... – невпопад ответил мужчина, но тут же перевел на Милочку рассеянный взгляд и повторил более внятно: – Да, я здесь... стою... некоторое время.

– Вы случайно не заметили, не проходил тут молодой человек, высокий такой блондин в синей куртке? С буханкой хлеба в руках?

Мужчина внезапно оживился:

– Ах, так это была его буханка! Какая неловкость! Я ее нечаянно сбросил прямо в снег и даже не поднял...

– Значит, вы его видели? Когда? Куда он пошел? – лихорадочно допытывалась Милочка.

– Вот это, видимо, остатки от нее, – продолжал человек, указывая на кучку раскисших хлебных корок. – При нем собачка была, она, наверное, пое... – Человек вдруг задохнулся и прошептал еле слышно: – Вы его знаете? Кто он? Откуда он?

– Я вас очень прошу, – Милочка напрягла все силы, чтобы говорить медленно и убедительно, чтобы ее слова дошли до этого, видимо, безумного, прохожего, – пожалуйста, скажите мне, когда вы его видели и куда, в какую сторону он пошел?

Человек не отвечал, только дышал прерывисто и ищущим взглядом смотрел на Милочку.

– Налево? Во-он туда? – Милочка, как ребенку, показала ему на дорожку, ведущую вверх, на гору. – Или туда? – она махнула в сторону греческой церкви. – Или, может быть, туда? – и она вытянула руку по направлению к Львиным воротам.

Человек все молчал, и Милочка подумала с отчаянием, что никого он не видел, что все это фантазии – еще и собачку какую-то приплел – но тут рассеянный взгляд человека сосредоточился, и он проговорил отчетливо и разумно:

– Да, высокий молодой человек в ярко-синей куртке. Мне тоже необходимо его найти. К сожалению, я не видел, куда он направился отсюда. Это было уже давно, больше часа назад, и, когда я уходил, он был здесь, – человек похлопал по парапету. – Значит, вы его знаете?

Больше часа назад! Господи, где же он? Милочка только досадливо махнула рукой и рванулась было дальше, но человек мягко удержал ее за локоть.

– Может быть, вы знаете, куда и зачем он шел? И так мы сможем его найти?

Мы! Сил нет, сейчас привяжется!

– Да за хлебом же, за этим самым хлебом! – нетерпеливо крикнула Милочка. – И зачем только вы его сбросили! И, – Милочка недоуменно посмотрела на человека, – как, откуда сбросили? Что он вообще здесь делал, ему совсем не по пути!

– Он... – человек настойчиво смотрел Милочке прямо в глаза и снова начал задыхаться, – он... он здесь...

Милочка высвободила локоть и побежала к воротам. Не было у

нее сил ждать, пока этот псих растелится, да и так все было ясно: потеряв каким-то образом драгоценный хлеб, Ангелус решил все-таки угодить ей и пошел в Старый город, в лавочку. И ждет, глупый, пока она откроется. Все, как она и думала. Теперь, скорее всего, уже купил и идет назад. Вот сейчас, в любую минуту, он попадется ей навстречу, вот он сейчас выйдет из ворот – Милочка близоруко сощурилась, но разглядеть издали не смогла, увидела только, что площадь перед воротами уставлена полицейскими и военными машинами, и там идет какое-то шевеление, нуда, начальственный визит, но бояться нечего, силы безопасности полностью владеют ситуацией... Сзади слышались торопливые шаги, Милочка обернулась и увидела, что странный человек в темном плаще догоняет ее. Путь к воротам шел в гору, Милочка сильно устала, но все же прибавила шагу. И как раз в это время мимо нее замелькали один за другим блестящие лимузины, и Милочка с облегчением поняла, что визит благополучно завершился.

Ни одного из своих приятелей Самих дома не застал. И на углу, где они обычно стояли, тоже никого не было. Он подошел к кафе, с хозяином которого часто играл в нарды – может, тот что знает, может, видел кого из парней – но кафе было закрыто. Самих сунулся к одному подходу к большой мечети, к другому – везде солдаты и полиция, а народу мало, и никого знакомых.

Получалось, что один Самих оказался таким дураком, бросил все, прискакал, рискуя рабочим местом. Еще и переоделся, неизвестно ради чего. Второй раз тетка чемодан не вынесет, да и поздно теперь. Работе скажи прощай. Ну и черт с ней. Неужто он не найдет, где дерьма нахлебаться? Слава богу, грязной работы у евреев хватает. А в конце концов, можно и домой уехать, в деревню. Денег он подкопил, а с деньгами и дома хорошо пожить. По крайней мере, уважение, никто погонять не будет. И все ему будут рады – а тут кто ему рад? Спокойная деревенская жизнь представилась вдруг Самиху такой заманчивой, что ему захотелось немедленно собраться и уехать. Но неясно, когда будет попутный автобус, да и нельзя оставить недополученные за эту неделю деньги.

Деваться было некуда, заняться нечем, и Самих брел потихоньку в сторону Львиных ворот, теперь уже просто потому, что на нем была красивая новая куртка, а там, он знал, были люди.

Войти в Старый город Ангелус успел и даже хлеб купил, хотя и

вчерашний, но выйти не успел – все подходы к Львиным воротам оцепили солдаты пограничной службы. Вместе с ним около оцепления стояло порядочно народу, и он узнал в чем дело. Надо было ждать.

У Ангелуса устали руки. Он с трудом высвободил голову щенка у себя из под мышки и поставил его наземь. Щенок сразу сел ему на ноги, прижался мордой и всем телом.

Состояние счастливого сна, в котором жил сегодня Ангелус, начинало незаметно меняться. Он все шел и шел домой, к Милочке, и все никак не мог дойти. И теперь он так безнадежно опаздывал, что ему стало грустно, и показалось вдруг, что он и не дойдет никогда, и Милочку никогда не увидит, все будет идти и идти, и забывать, куда и зачем шел, и снова вспоминать, и каждый раз это будет удар в сердце, вот как сейчас, когда он вдруг осознал, что утро проходит, солнце стоит высоко, снег почти растаял, а он выскочил из дому на минуту, за хлебом к завтраку, и было это давно-давно...

Но тут оцепление распалось, солдаты вразвалку потянулись к воротам, а за ними задержанные оцеплением люди. Ангелус подхватил щенка, сунул его, чтоб не держать руками, под расстегнутую куртку, доверху затянул молнию и двинулся вместе со всеми.

Самих увидел эту толпу издали и заторопился – может, там что происходит. По дороге он на всякий случай выломал из разбитой ограды небольшой, но увесистый кусок бетона с торчащим из него обрезком железного прута.

И Милочка тоже увидела – сначала солдат, которые выходили из ворот и неторопливо разбредались по своим машинам, а потом, вперемешку с ними, туристов и местных жителей, и среди них мелькнула ярко-синяя куртка.

А затем произошло что-то – она даже не поняла, что, около самых ворот образовалось вдруг какое-то завихрение, солдаты начали снова выскакивать из машин, раздался негромкий щелчок, и от ворот навстречу Милочке побежали люди. В сторону мусульманского кладбища поползло низкое мутное облако, у Милочки сильно запершило в горле, она пробиралась вперед, вытягивая шею и пытаясь найти глазами синее пятно, нос ей раздирало едкой кислотой, глаза заливало слезами. Какой-то встречный мужчина сунул ей руку прямо в лицо, Милочка хотела оттолкнуть чужую руку, но бежавший рядом с ней бородатый человек в темном плаще выхва-

тил то, что держала эта рука, и прижал Милочке ко рту и носу. Дышать стало легче, и Милочка увидела, что это была разодранная ногтями половинка луковицы.

На подходе к воротам у Самиха тоже защипало в носу и в горле, и он с удовлетворением понял, что бежит не зря. Он выхватил из кармана красный платок и закрыл им рот и нос.

Когда упал первый камень, Ангелус уже выходил из ворот. Шедший неподалеку от него солдат охнул, схватился рукой за плечо, и сразу все сбилось в кучу, закрутилось, сверху летели камни, кто-то упал, неразборчиво зарычал мегафон, Ангелуса отнесло обратно к воротам, он пытался пробиться вперед, тут у него запершило в горле, защипало в носу и в глазах, ничего нельзя было разглядеть, щенок вывинтил голову из-под ворота куртки и, отчаянно чихая, рвался наружу, Ангелус пытался запихнуть его обратно, но мешала буханка, и щенок выкарабкался к нему на плечо. Ангелус удерживал его одной рукой, боясь, что он спрыгнет и его затопчут, а другой, не выпуская буханки, пытался пробиться вперед, прочь, он оказался здесь случайно, это была не его схватка, не его война, ему было здесь не место, его место было там, наверху, на Масличной горе, в мирном теплом домике с милой женщиной...

Камень ударил щенка прямо по носу, морда сразу облилась кровью, и щенок, даже не пискнув, обмяк под рукой у Ангелуса. Ангелус прижался ухом к мягкому животу – сердце билось, но кровь текла сильно, много ли там этой крови, надо скорей к ветеринару, или как-нибудь еще остановить. “Пустите, пустите!” – закричал Ангелус, и ближние, увидевшие кровь, немного раздались, но дальше опять шла толчая, Ангелус вытянул шею, ища просвета.

Он вытягивал голову и шею все выше, выше, и за шеей потянулось вверх все тело, Ангелус оттолкнулся ногами от земли, а рукой от соседних спин и плеч и приподнялся над толпой.

Низко над землей стелился едкий желтоватый туман, сквозь который свистели камни. Солдаты теснили толпу обратно в ворота, но Ангелус успел подняться над головами. “Куда, куда?!” – крикнул ему один из солдат, с телефоном в руке, видимо, командир, и попытался схватить его за ногу, но Ангелус оттолкнулся носком от его руки и поднялся выше.

Свободное пространство было совсем близко, за двумя рядами военных машин. Сбоку, со стороны мусульманского кладбища, на машины и на выпрыгивавших из них солдат валился град камней,

в ответ им из толпы солдат затрещали выстрелы. Следовало подняться еще выше, чтобы перенестись через машины и не попасть под камни, но не хватало сил, мешала буханка, щенок неподвижно лежал на плече, на державшую его руку капала кровь, неужели он не успеет донести его до ветеринара. Ангелус завис над полупрозрачным облаком, которое медленно тянулось вниз, в долину, и увидел Милочку. Какой-то бородатый человек в темном плаще прижимал руку к лицу Милочки, а она вырывалась, пыталась идти против потока бегущих прочь людей.

– Милочка! – закричал Ангелус. – Милочка, уходи! Беги, Милочка!

Он увидел, как Милочка обеими руками вытерла глаза и обратила к нему невидящее лицо с широко открытым ртом.

– Где ты? Где ты-ы?! – не услышал, а догадался Ангелус. Человек в темном плаще тоже поднял к нему залитое слезами лицо, и Ангелус узнал странного старика, который так поспешно убежал от него на мосту через Кидрон. Человек этот вскинул обе руки вверх, видно было, как открывается в крике обросший бородой рот, а затем, все так же воздевая руки к небу, рухнул на колени.

Ангелус не слышал его крика, но слышали окружавшие старика люди. Один, другой обернулся на бегу, глядя по направлению его взгляда. Их примеру последовали еще несколько. И еще. По всему пространству перед воротами волной пошло равномерное движение. Солдаты, туристы, случайные прохожие, парни с камнями в руках на мусульманском кладбище один за другим поворачивались и начинали смотреть вверх, туда, куда указывали вздетые руки.

И останавливались.

Перестали летать камни. Замолкли выстрелы. Онемел мегафон. Застыли на месте бегущие люди. Порывом ветра отнесло в сторону вонючее облако. И стало тихо.

Ангелус знал, что надо немедленно спускаться. Но прямо под ним стоял крытый брезентом армейский грузовик, а вокруг него кучка задравших головы солдат с опущенными автоматами. Ангелус напряг плечи и колени и сделал рывок вперед, Милочка была совсем близко, теперь надо было только плавно опуститься, уже невысоко, не уронить хлеб в слякоть, все смотрят, это нехорошо, разговоры пойдут, но зато стрелять перестали... Из ворот – никто туда не смотрел, никто не заметил – вылетел небольшой ярко-крас-

ный сверток и, описав над толпой дугу, ударил Ангелуса сзади в выстриженную шею. На полдороге с него слетела красная тряпка и тут же была затоптана толпой.

Ангелусу показалось, как пчелиный укус, как странно, откуда сейчас пчелы, он хотел отмахнуться, но руки висели вдоль тела, хотел опереться хотя бы ногами на воздух, но воздух больше не держал его, воздуха вообще больше не было, щенок зашевелился и начал сползать на грудь, как бы не упал, дышать нечем, помогите, Милочка, помощи...

И Милочка успела, успела подбежать, и отец Джейкоб тоже, Ангелус упал прямо на их подставленные руки, и они упали все вместе, и громко завизжал придавленный их телами щенок.

Ангелуса похоронили в родном городке, правда, не под той голубой елью, которую он себе выбрал, но близко. Приехал его брат Ринц и забрал тело и все прочее, что осталось от Ангелуса.

Милочка на похороны не ездила – никому и в голову не пришло ее позвать, ее не считали ни вдовой погибшего, ни даже его близкой подругой, друзьям она ничего не рассказывала, боясь сглазить, только Лариса Малышева ревниво догадывалась, но и она не знала, как далеко зашло у нее дело с Ангелусом. Знали, пожалуй, только монашки в русском монастыре, но молчали, хотя и осуждали. А у самого Ангелуса друзей близких не было, приятелей же, с момента знакомства с Милочкой, он видал редко и в личную свою жизнь не посвящал. Полиция тоже скоро оставила Милочку в покое.

На память об Ангелусе у нее остался только желтый щенок – это мне вместо ребенка, с горькой ухмылкой говорила себе Милочка. Разбитый нос у него скоро зажил, он отъелся и вырос в большого стройного пса, но не приручился, остался неласковый и пугливый, хотя Милочку за хозяйку признавал.

Когда улеглось немного первое возбуждение и первая скорбь, отец Джейкоб сказал себе, со спокойствием, удивившим его самого, что он не знает – и никогда не узнает – что это было и кто это был, и какого искать в этом смысла. В одном он уверен, сказал он себе: после того, что произошло, евреи и арабы никогда больше не смогут, да и никто не сможет проливать кровь ради разрешения своих споров. Хотя средства массовой информации писали и гово-

рили о событии мало и невнятно, отец Джейкоб не сомневался, что о нем очень скоро узнают везде, и это произведет на всех потрясающее, очищающее действие. И в этом и заключается настоящий смысл чуда.

Однако шло время, в полиции расспросили отца Джейкоба всего один раз, все аккуратно записали, и больше не вызывали. Разговоров о произошедшем он не слышал, так как мало с кем общался, в Вифании, где он жил, никто ничего не знал, а когда он попытался рассказывать, весь его непонятный рассказ, вместе с выводами, был воспринят соседями-арабами как еще одно доказательство его симпатии к евреям, в которой его и так давно подозревали.

Он разыскал Милочку, но она едва узнала его и разговаривать не могла. А когда, выждав немного, он пошел к ней снова, оказалось, что она там больше не живет и нового адреса не оставила.

Он долго не мог успокоиться, пошел-таки и на телевидение, и в две израильские газеты, и даже в одну арабскую, добился, чтобы его приняли. Везде его выслушивали на удивление вежливо, недоверия не выражали, отвечали успокоительно, но неопределенно, и последствий это никаких не имело. Опубликована была стандартная официальная версия: во время беспорядков в Старом городе погиб от брошенного арабским террористом камня голландский гражданин Ангелус Ван Дюрен, ведется расследование. Что же касается беспорядков, то они, разумеется, по-прежнему возникали там и тогда, когда возникали к тому соответствующие предпосылки.

Дело в том, что, хотя чудо произошло на глазах множества людей, но никакого документального свидетельства о нем не осталось. Находившиеся на месте телерепортеры рутинно снимали начальственный визит, а затем и стычку у Львиных ворот, и, когда все замерло, направили свои видеокамеры туда, куда смотрели все. И глазами, естественно, увидели то, что видели все. Однако через видеоискатели не заметно было ничего из ряда вон выходящего, получились просто кадры неподвижной толпы на фоне Львиных ворот, и только на одной кассете смутно мелькнуло в неразберихе что-то синее, тяжело падающее на головы.

Позже, разумеется, запечатлен был лежащий на грязном асфальте светловолосый человек, и его лицо с неподвижными голубыми глазами, и его откинутая в сторону рука, выронившая бухан-

ку белого хлеба, и окровавленный длинноухий щенок на руках у полицейского, и молодая полная женщина, стоящая на четвереньках у тела, и коленопреклоненный бородатый старик, и кусок бетона с торчащим обрезком ржавого железного прута – но как и откуда человек упал, из видеоматериала не было ясно, а значит, нечего было ни подтверждать, ни отрицать.

Свидетельства же очевидцев решено было считать следствием редчайшего оптического эффекта, возникшего в результате сочетания необычных атмосферных условий и действия слезоточивого газа.

А Самих, по правде сказать, даже и не рассчитывал попасть в Ангелуса. Просто выглянул из ворот, готовый к действию и удивленный, что все вдруг затихло, увидел парящую над площадью фигуру ненавистного иностранца и, не раздумывая, обернул свой камень в платок, раскрутил, как пращу, и метнул. Когда же увидел, что попал, и иностранец валится вниз, сразу сообразил, что дело плохо, и быстро убрался. Никто даже и не заметил, что это он метнул. И надо же, не такой уж и тяжелый был этот кусок бетона, а иностранец, оказывается, тут же и кончился. Наверно, концом прута задело. Даже жалко немного – он так занятно висел в воздухе, совсем как в кино. Вот бы узнать, как он это делал, что за трюк.

Было сильное искушение похвастаться перед приятелями, но благоразумие взяло верх. Виновного разыскивали, всех парней, бывших на кладбище, таскали в полицию, допрашивали, а его не тронули. Тем не менее, на следующий же день Самих собрался, плюнул на недополученные деньги и уехал в деревню – как раз вовремя, к рождению четвертого сына. И, что самое интересное, ему даже приятно стало, что у него столько детей. Молодец Наджда, что не послушалась, не перевязала трубы. Пусть рождает, пока рождается, тем более мальчиков. Теперь, пожалуй, можно бы и девочку сделать, в семье пригодится – хотя мальчишки, конечно, лучше, почетнее.

1985 – 1999

НОЧНОЙ СЛЕСАРЬ

Макс Гольф прочитал в городской русской газете, подобранной в прачечной, что его счастливый день - воскресенье. В воскресенье в пять часов утра он неожиданно проснулся с криком "Мама-мамочка!" и сел на диване, громко дыша и сжимая в руках бешеный будильник сердца. Через две с четвертью минуты Макс с благодарностью понял, что счастье уже началось. Он выжил, это было "А". "Б" заключалось в том, что ему удалось выпутаться из вязкого ночного кошмара. Правый глаз распух и с трудом открывался. Макс нашарил выключатель. Умывание холодной водой немного остудило комариный укус, но зато начисто отшибло сон. Ворочаясь на жестком неразложенном диване, он стал припоминать приснившееся.

Все началось с того, что Макс пытался поймать попутку и неожиданно для себя поймал поезд. Люди встретили его появление усталыми бараньими взглядами; в их отсутствующих позах, укачанных и согбленных, читалась многочасовая, а может, даже и многодневная усталость. Макс даже наклонился, чтобы проверить, не стоят ли под сиденьями чемоданы. Чем больше он наклонялся, тем плотнее пассажиры сдвигали ноги, словно старались загородить что-то позади. Испугавшись чего-то, он бросился к двери и стал, как мотылек, колотиться в ее створчатое стекло.

А за окнами в это время проносилось что-то страшное, в чем угадывался его родной Питер, но такой, словно на него свалилась ядерная бомба. "Я старею, меня мучат кошмары", - пожаловался Макс Гольф темноте в комнате.

Сон был настолько гадкий, что по сравнению с ним бессонница показалась счастьем. Макс чувствовал, что снова лежит на своем диване в скворечнике на четырнадцатом этаже. За окном невдалеке шумит океан. Сон накатывал и снова откатывал. Начинали петь птицы. Макс поднялся и, все еще не решаясь зажечь торшер, что-

бы не разбудить царящий в комнате кавардак, натянул в полутьме брюки и старую шерстяную кофту. Пока он чистил зубы, тьма окончательно осела вместе с ключьями тумана.

Так начинался еще один воскресный сентябрьский день.

Макс снял с плиты свистящий чайник. Открыл тумбочку, вспомнил, что кофе вышел еще вчера. Без кофе Макс не жил уже двадцать лет. Набросив поверх старой лохматой кофты штормовку и схватив по старой русской инерции портфель, на дне которого загремели какие-то железки, Макс Гольф спустился на лифте вниз. Дом еще спал. За порогом лежала свежая почта осенней платановой листвы. Платаны облетали первыми. Это и означало осень в Ривьере. Из черной лужи посреди двора на него глянул интеллигентный, не очень причесанный мужчина приятной невыразительной наружности, ни высокий, ни низкий, ни старый, ни молодой с намятым за ночь хохолком волос.

До магазина было не более трех минут быстрой ходьбы, плюс три минуты на покупку и три минуты обратной дороги - итого девять. Девять было любимое число Макса. Он родился девятого января 1959 года. На тот момент, когда он вышел из подъезда своего дома в районе бостонской Ривьеры и направился вглубь микрорайона, ему было тридцать восемь лет и девять месяцев.

Когда через день газеты сообщили о его исчезновении и поместили на второй странице фотографию, хозяин магазина, где Макс спрашивал в то утро кофе, наполовину вспомнил его. Вспомнил именно на ту половину, которая была на черно-белом снимке. Да и как он мог бы забыть странного покупателя, который говорил с ним на испанском почти без акцента? Сообщение о том, что одетый в потустороннего цвета штормовку разыскиваемый иммигрант из России, поразило хозяина. Он бы скорее поверил, что покупатель был марсианин. Все русские говорили только на одном иностранном языке, даже в магазин ходили прилично одетые - в джинсах и кожаных куртках или в плащах с короткими рукавами и широкими плечами на китовом усе. Хозяин магазина сначала сомневался, а потом все же позвонил в полицию, и оттуда прислали молодого полицейского с большим отрывным блокнотом. Хозяин магазина сказал, что видел пропавшего в первый и последний раз в жизни в семь часов утра 9 сентября.

- Почему же ты уверен, что видел его в последний раз? - спросил полицейский, на что мексиканский продавец ответил пожатием плеч.

А с пропавшим произошло вот что. Выйдя из магазина, он ощутил приступ тоски по несложившейся семейной жизни и тут же, не откладывая в долгий ящик, пошел искать телефон. Вскоре он уже звонил бывшей жене Олесе.

Макс проехал несколько ривьерских кварталов и вошел в их прежний кисловатый, пахнущий чужими детьми и прачечной, подъезд. Нужно было на восьмой, но туда лифт не доходил. «Вероятно, этот этаж достраивали уже после запуска лифта», - подумал Макс.

Их дверь стояла полуприкрытой, из знакомой солнечной щели высовывал нос плюшевый тапок с пампонкой. Олеся в квартире не было, но на плите что-то готовилось.

Макс Гольф медленно подошел к перилам и посмотрел вниз, в длинный калейдоскоп лестничных выражей. Через пролет стояла она, его общительная жена, в своем ярком сарафане и, тоже склоняясь через перила, громко перекрикивалась с кем-то этажом или двумя ниже.

- Мама варит борщ, - отвечал соседский мальчик укусным баритоном.

- При чем здесь борщ? Я спрашиваю, как ее нога? - переспрашивала Олеся нижестоящего.

- Вот именно, при чем здесь борщ? Идите все по домам! - зашумел Макс с высоты восьмого этажа и, оглянувшись, поспешил назад, потому что от сквозняка дверь, подпертая тапочком, стала закрываться, норовя выпихнуть одноногого плюшевого хозяина за порог.

Пятясь при виде запыхавшейся жены, Гольф двигался в свою прошлую жизнь. В прихожей он ушибся затылком обо что-то острое и ветвистое. Макс мужественно скривился. Это были его же олени рога, привезенные ручной кладью. Один рог вешалки обломался еще в Шереметьево, но Олеся приклеила его клеем. «Жаль, жизнь вот так же не склеить», - сказала она, вешая рога обратно.

И вот теперь Олеся в ярком сатиновом сарафане хозяйничала, даже мурлыкала что-то себе под нос, а Макс столь же невозмутимо тянул кофе из своей старой надтреснутой чашки. В его бывшем доме все было треснутое. В треснутом и подклеенном липкой лентой окне ворковали голуби.

И все-таки здесь он отогревался сердцем. Перед Максом, как ни

в чем не бывало, легла пачка воскресных газет. Газеты приходили Олеся, потому что руки не доходили написать на почту, чтобы переадресовали. По воскресеньям Макс всю жизнь читал газеты. И после развода он продолжал это делать. Леся что-то сказала, повторила, потом повысила голос, но он пропустил ее слова мимо ушей, потому что думал о другом. Он заметил, что после его ухода бывшая жена помолодела: то ли поправилась, то ли, наоборот, похудела. У нее появились, что называется, формы. Он еще сам не понимал, радовала или огорчала его произошедшая перемена. Обычно спрятанные за уши и связанные в хвост волосы развеялись под яркой бархаткой. Недавно она стала носить очки с большими диоптриями; они шли ее длинному, плосковатому лицу, потому что глаза у нее были не очень большими, а стекла их приятно увеличивали. В этих больших, подчеркивающих очках она становилась похожа на аквалангистку.

- Почему твои идиотские газеты должны всю жизнь лежать в моей тарелке? - ворчала она.

Зазвонил телефон. Прижав трубку ухом, она продолжала помешивать деревянной лопаткой содержимое сковородки. Макс был почти счастлив. Если бы не сознание того, что ужинать ему все равно придется в одиночестве, он был бы совершенно счастлив. Пик воскресного утра, она переговаривалась с дочкой по телефону. Все осталось по-старому, но они уже не были вместе. Странно, но именно попытки исправиться или исправить положение делали его с каждым разом все более безнадежным. Создавалось такое впечатление, что по жизни кто-то долго тер грязной и жесткой стирательной резинкой. Что-то непоправимо протерлось, какая-то защитная амальгама сошла на нет. В протершуюся до дыр бумажную пустоту дул сквозняк старости. Подумать только, ему не было и сорока, а он чувствовал себя одиноким и ненужным стариком. С другой стороны, они оба умело притворялись, что все в порядке, что и после восемнадцати лет брака можно остаться друзьями. Но если бы не это маленькое лукавство с его и ее стороны, он бы, пожалуй, не вынес разрыва. Вот уже полгода они жили так, и Макс Гольф знал, что и это пройдет, и знание о том, как сказал Экклезиаст, приумножало скорбь. Иногда ему казалось, что надо поговорить, но он не решался. По ее лицу он чувствовал, что ей такой разговор будет в тягость и причинит только боль. Любая откровенность означала бы нарушение правил игры, и оба продолжали блефовать.

Олеся повесила трубку и следила за двумя брачующимися голубями на плоской крыше соседнего дома. Макс Гольф и сам туда смотрел с полминуты. Слышно было, как шкворчит масло в сковороде. Уже далекие от источника взгляда, их глаза встретились.

- Может, я мог бы остаться с тобой хоть на сегодня? - тихо сказал Макс.

Олеся отрицательно покачала головой.

Выйдя из дома, он с удовольствием потянул носом разреженный воздух осени. И хотя ущербное солнце стояло еще высоко и, казалось, не думало закатываться, Макс с грустью подумал о том, что скоро, часа через три-четыре, начнут приливать сумерки.

Возле соседнего подъезда, когда он вышел, курил Зорик Учитель. Когда-то они вместе ходили на курсы английского в одну синагогу. И от Учителя тоже ушла жена. Впрочем, Рита ушла не так, как уходят интеллигентные русские жены. В отличие от Олески, Рита ушла со скандалом и отказывалась видеться с бывшим супругом. После нескольких попыток Учителя заявиться к ней на работу и устроить дебош, она вытребовала у судьи "ограничительное распоряжение", воспреещающее Зорику приближаться к ней и зачинать разговор. Это случилось в августе. Зорик, человек несдержанный, отказал себе в радости "въехать по рылу" новому мужу бывшей жены. О том, чтобы ударить женщину, не могло быть и речи. От депрессии и воздержания Зорик поначалу очень расползся. Однако южный темперамент взял свое, и через полгода друг, похожий на умудренного Оноре де Бальзака в период завершения последнего тома "Человеческой комедии", сбросил лишние килограммы и стал колдовать над развязкой своей жизненной драмы. Макс же автоматически стал его поверенным.

- Ну что, ты согласен? - спросил Зорик, протягивая ему открытую пачку "Мальборо".

Макс честно признался, что и думать забыл о предложении Зорика.

Зорик нахмурился, покусывая мундштук сигареты.

- А я думал, ты ко мне идешь...

- Я - что, я - не против, - сказал Макс.

- Правильно, ты выполнишь свой интеллигентский долг, и у тебя самого поднимется планка! В конце концов, старик, ты один можешь убедить Ритку выслушать меня.

Гольф кивал, соглашаясь.

- Я не раз замечал, Гольф, что у нашей интеллигенции отсутствует мотивация к выживанию. Булгаков знаешь что говорил? Что интеллигенции нужно оправдание, чтобы совершать как плохие, так и хорошие поступки. Беды происходят от того, что просто из моральных соображений она ничего не делает, - только во имя чего-то. А здесь такие, как ты да я, не нужны. Низкая у нас самооценка, старичок.

- А что, у тебя, Учитель, тоже низкая?

- Ask? - с гордостью сказал Зорик с неповторимым одесским акцентом. - У меня самооценка ниже пояса. Иначе я бы не торговал книгами, а заведовал собственным книжным издательством.

- Книжник ты и фарисей. - отмахнулся Макс. - И трепло, к тому же. Думаешь, я смогу уболтать Ритку?

- Старик, попытка не питка, - сказал Зорик с укоризной.

Пообещав, что позвонит позже, Гольф кивнул и двинулся по направлению к метро. По дороге он думал о том, что почти все его приятели, тридцатипятилетние или около того ребята, приехав в Америку, остались холостяками. "Почему они от нас уходят?" - думал он. Они - были русские жены.

У дочери Гольф появился в начале второго. Она жила на съемной квартире. Дина его впустила и тут же исчезла в ванной. А на полу остался, как перо жар-птицы, пояс от ее яркого китайского халата. "Проходи же!" - крикнула она полураздраженно из ванной комнаты, обнаружив его стоящим на прежнем месте посреди прихожей. "Папенций, я тебе ужасно рада, только у меня нет времени". Квартира была еще заспанная. Макс слушал, как журчит вода в раковине и Дина роняет какие-то легкие пластмассовые предметы в умывальник. Вышла она сильно преображенной: другие ресницы, волосы, взрослый запах. Он еще немного посидел, побарабанил пальцами по плафону настольной лампы. Потом зашел на кухню, где царил еще больший беспорядок, чем в его душе. Он прикрутил кран, пытающийся, капля по капле, лишить равновесия пагоду чашек и тарелок в умывальнике. Макс даже зачем-то заглянул в холодильник. Там стояла непочатая бутылка шампанского и лежало надкусанное яблоко. Уже на пороге что-то вспомнив, он вернулся в комнату и быстро набрал номер Зорика.

- Слушай, а ты уверен, что все будет нормально? Этот Риткин муж меня не пристрелит из арбалета?

- Он и слов таких не знает, чудаков человек.

- А то, что я сам, без заявки с их стороны?
 - Говори, что она вызвала. Рита не выдаст, она боится меня и тебя больше, чем этого козла.
 - А то что я русский, не подозрительно?
 - А там все слесаря русские, они с местняком не тусуются.
 - Что?
 - Не общаются с Мексикой.
- Гольф помолчал.
- Скажи, ты как считаешь, Леся мне изменяла до развода?
 - Я могу только думать и предполагать... - загадочно произнес Учитель. - Это особая статья.

Зорик всегда, когда речь заходила об изменах, выражался очень юридически. У Гольфа, тем не менее, отпустило на душе. Он даже стал насвистывать по дороге на станцию.

Он любил свою жену, и что с того, что эта любовь уже ему не принадлежала? Она была растворена в вещах, осела на страницах вместе прочитанных книг, на календарях, облетающих в гостиной, неприкаянно жила в их взрослой дочери. Это было сильное и почти уже безличное чувство, которое в нем практически не нуждалось. Его любовь в нем не нуждалась. Он и она, его любовь, могли обойтись друг без друга. Одно он хотел выяснить, чтобы окончательно от нее освободиться: была ли Олеся ему верна, продолжала ли любить его последние годы, когда они так бездумно и расточительно ссорились из-за каждой мелочи каждый им отпущенный небом совместный вечер. Если да, то он сможет жить с ней, чтобы без нее. Если нет, то он навсегда останется один, в своей высокой скворечне над океаном, где он будет ночами ворочаться на жестком диване, стареть и слушать, как скрипят ржавеющие железные пружины и стучит будильник сердца.

Сказать, чтобы он приходил назад, - нет, она никогда этого не скажет. Но Макс Гольф почему-то упрямо верил, что однажды получит письмо с просьбой вернуться. Письмо будет заказное, а сама Олеся будет стоять внизу у подъезда.

- Что-то треснуло, что-то треснуло, но что? - удивленно повторил он, сам стуча зубами. Ему вдруг стало как будто скучно жить.

В то кафе, в которое он хотел, он не попал, - там по воскресеньям было закрыто. Но рядом открылось совсем простенькое заведение "Рози" с двумя столиками снаружи. Макс взял капучино

и вышел на свежий воздух. За соседним столиком сидела девушка возраста его дочери и курила длинную коричневую сигарету. Перед ней стоял молочный коктейль. Перед ней на столике лежала распластанная обложкой вверх книга. Гольф обратил внимание на то, что книга была русская, но название ее ему ничего не сказало.

Гольф вежливо сел к девушке лицом, хотя океан был с другой стороны. У нее на крыле носа виднелся припудренный волдырь лихорадки, розоватое водянистое пятнышко было и на нижней губе. Куря, она машинально царапала болячку ярко оранжевыми ногтями в лаке. Как врач Гольф не мог этого вынести.

- Если это герпес, то лучше всего не трогать.

- А? - удивилась она.

- Это у тебя герпес? - спросил он.

- Да, - ответила она по-русски.

- А ты русская, - сказал наблюдательный Гольф.

- Да.

- Герпес не надо сковыривать. Он тогда пройдет быстрее.

- Я не трогаю, случайно... Болит, - по-детски пожаловалась она и скривила такую же жалкую мордочку, как и его дочь, когда заболела.

- У меня есть мазь дома.

- Правда?

- Мы можем зайти, и я тебе дам. Я недалеко живу, вон в том доме, - показал он и вдруг испугался: а что если она подумает, что он ее заманивает?

- Я буду очень признательна. Но сколько это возьмет?

- Да что ты, я - бесплатно!

- Но я спрашиваю - сколько возьмет по времени? Я с чемоданом.

Тут только Гольф понял, что она, хоть и говорит без акцента, но переводит фразы с английского. Значит, русский у нее был не родной.

- Только приехала в Бостон? - почему-то обрадовался Гольф.

- Нет, уезжаю. Мне надо сегодня переждать где-то, потому что вечером возьму самолет.

- Можешь поставить чемодан у меня и погулять возле моря. Меня все равно не будет. А мазь в холодильнике возьмешь, называется "серол", очень помогает.

Она с удивлением посмотрела на него, но взяла протянутый ключ.

- А вы сами?

- У меня запасной... у - это... у жены, в общем.

- Вы имеете жену?

- Бывшую. Олесю, - добавил Гольф и закашлялся.

- Вы дым не любите? - спохватилась она.

- Нет, не люблю. То есть да, не люблю. - Гольф подумал, что уже и сам не знает - да или нет.

Он смотрел, как она записывает его адрес на пачке, а потом царапает что-то на обороте картонной крышечки от той же сигаретной пачки. Заметив его взгляд, она быстро вытерла молочные следы от коктейля и придавила окурочку о подошву.

- Вот, здесь мой новый адрес в Лос-Анджелесе... Приезжайте в гости. Хоть завтра.

- Да, Лос-Анджелес - это рай, - промычал Макс Гольф, но адрес не взял.

Оставив на столике три доллара, он пошел к выходу. На пороге он, однако, резко развернулся и, не сбавляя скорости, подошел к столику, где сидела незнакомка.

- Если не увидимся, просто оставь ключ в почтовом ящике.

Она посмотрела на него внимательно и кивнула. Макс сунул треугольник с адресом в карман шерстяной кофты. Она еще долго смотрела ему в спину, пока он перебирался на другую сторону дороги, убегая от сигналижающих машин. Руки его оставались в карманах, портфель торчал из-под мышки.

Сутки спустя он найдет смятую бумажку с ее адресом в другом кармане и отдаст его шоферу такси в аэропорту Лос-Анджелеса. Садясь на заднее сиденье Макс Гольф искренне спросит себя: "Что же я в самом деле делаю, старый идиот, она же мне в дочери годится?"

Ключ Макса Гольфа будет найден его бывшей женой на дне железного почтового ящика. Там же окажется и записка с корявым детским почерком: "Спасибо! И до встречи в раю!"

Всего этого Макс Гольф не знал, когда шел к автобусной остановке. Человек вообще мало что знает про свое даже близкое будущее. Возле кассы он хлопнул себя по лбу: он даже не спросил, как звали незнакомку. На ее самопальной визитной карточке, сделанной из обрывка сигаретной пачки, имя и фамилия не обозначались за недостатком места. Она же, дойдя до подъезда и прочтя на почтовом ящике "Макс Гольф", рассмеялась от совпадения. Ее

звали Сара Мак-Гольф, ей было девятнадцать лет от роду, 170 сантиметров роста, наполовину еврейка, наполовину ирландка. У нее в Бостоне был любовник, вышибала в ирландском баре “Черная роза”, с которым она собиралась расстаться, потому что он баловался героином. В последнее время он стал усиленно предлагать ей попробовать. Вообще нынешний любовник Сары был не совсем в ее вкусе, не говоря уже о его темных увлечениях. Ее тянуло к мужчинами типа ее отца и старшего брата, русским евреям с врожденным плоскостопием и кожей, усеянной родинками. Макс Гольф, с которым она была знакома ровно пятнадцать минут, был мужчина в ее вкусе.

В автобусе Макс сел на переднее сиденье, потому что сзади его обычно укачивало сильнее. Он ерзал, вызывая взгляды водителя. В Линне он быстро вышел из автобуса и направился в центр города. Адрес он знал на память, потому что Зорик много раз его повторил. Особняк стоял в естественной нише зелени, которая об эту пору года уже шелестела редкой желтизной. Рита тоже была крашенная блондинка.

Дом действительно был роскошный, как и рассказывал Учитель, но при этом имел вид необжитой. Присмотревшись, Макс понял, что такое впечатление создавалось опущенными жалюзи. Попытаться проникнуть в такой дом под видом слесаря было чудовищной затеей двух идиотов без воображения и чувства заземления. Вся теория Зорика разбивалась о строгий вид этих каменных стен и забранных чугунными решетками окон.

Макс Гольф несколько раз обошел вокруг дома, все время жуя круги. Проходя рядом, он старался заглянуть внутрь. Дом безмолвствовал. У Макса Гольфа даже мелькнула надежда, что зорькиной бывшей жены Риты с мужем не окажется дома. Он подумал, что, может быть, это и к лучшему: он поедет себе домой, наконец-то купит кофе и еще успеет поболтать с девчонкой с оранжевыми ногтями, которая так забавно говорит по-русски. Как ее зовут, кто ее родители, есть ли у нее профессия? Чем больше он думал о ней, тем больше проникался какой-то трогательной отеческой заботой. Она ему напоминала Лесю восемнадцать лет назад. У нее тоже было длинное, плоское лицо и большой рот. К его огорчению, в верхнем окне зажегся свет, и чья-то тень практически свалилась рядом с кустом, за которым стоял Макс. Тень была мужской, огромной, с одной рукой, поднятой вверх по направлению к Максиму.

Раздался стрекочущий грохот. Хозяин дома поднимал деревянные жалюзи.

Слесарь, который пришел в восемь вечера, выглядел скорее, как врач или школьный учитель. Тыча портфелем в холодные батареи, он сказал, озираясь что отопление полетит к псам, если не прочистить хорошенько.

Хозяин, 1 метр 96 сантиметров, центнер весу, посмотрел на него удивленно, но кивнул.

- Сделаешь за час?

- Посмотрим...

- Это не вопрос, а приказ, - сказал хозяин.

Макс про себя решил, что лучшей тактикой будет не спорить и со всем соглашаться. Потом он может возиться до тех пор, пока не придет Маргарита. Ее, по-видимому, не было дома.

Достав из портфеля инструмент, Гольф выложил все нехитрое имущество, состоящее из отвертки и двух гаечных ключей, на полотенце и с тоской взглянул на батарею. Секции были монолитные, почти без швов. Все сияло свежей нитрозмалью. Макс стал перед батареей на колени и прижался к ее холодным коленям горячим лбом. Он заглянул в себя. Внутри зияла бездна, и не было желания разбираться в ней.

В десять вечера хозяин дома вышел из своей комнаты и сочувственно посмотрел на слесаря. В его глазах читалось презрение напополам с научным интересом: как такие подвиды выживают в борьбе за существование? Макс наблюдал его реакцию краем глаза не без волнения.

В одиннадцать, прервав репортаж с футбольного чемпионата на полуслове, нервный и возбужденный проигрышем русского клуба, хозяин снова вышел и уставился на расплзающийся по гостинной хаос.

Макс Гольф, закатав рукава, развинчивал батарейные секции. Он сидел на полу и прижимал батарею к груди. В таком положении он был похож на аккордеониста.

В полночь они оба, хозяин и Макс, сидели перед истекающей черной желчью батареей, которая в глубине своей черной души оказалась на редкость вонючей. Разговор их носил более чем абстрактный характер, если учесть окружающую обстановку. Валентин Егорович был из "новых русских". Учитель заранее объяснил ему, что "эти" завели себе новую моду - покупать себе вторые хо-

ромы в богатых городках Новой Англии и жить “на две страны”. Макс Гольф с интересом смотрел на нового знакомого.

- Маркс прав, бытие определяет сознание, - говорил Валентин Егорович, помогая отвинчивать последний кусок трубы и заглядывая внутрь, как бы в поисках этого бытия. - Как это надо понимать? А вот смотри, понимать это надо буквально, Максик. - Он теперь его называл так, и Гольф на это не обижался. Просто габариты Валентина Егоровича требовали присоединения к другим человеческим особям уменьшительно-ласкательного суффикса. - Так вот. Раньше как? В праздник 7 ноября, будь ты за, будь ты трижды против, а что делал? Бухал. И партийный, и беспартийный - все бухали как один. Отражалось это на сознании? Отражалось. Еще как, верно? С утра башка что? Трещала. Верно? Крыша что? Ехала. Как говорилось: головка бо-бо, во рту кака, денежки тю-тю. Что и требовалось доказать.

В окно постукивал дождь.

В половине первого Валентин Егорович позвонил куда-то, и доставили ужин прямо из ресторана “Санкт-Петербург”. Отужинали. Выпили водочки, закусили маринованными маслятами и блинами с икрой. На десерт имелся в наличии кофе с ликером и трюфельный шоколад. Отдыхая на софе, посмотрели детектив: муж - детективный писатель, торгует красивой женой, чтобы задобрить мафиозных шефов, про которых он хочет написать бестселлер. Но она, спохватившись на сорок третьей минуте, что ее насилует незнакомый неинтеллигентный мужчина, убивает из пистолета и его и, в порыве мести, собственного мужа-писателя. Потом присваивает себе чужое имя и становится бэбиситтером.

- Видишь ли, я простой народ уважаю, а интеллигенцию не люблю, - заговорил снова Валентин Егорович после фильма, ставя чайник на плиту. - Я сам из простых работяг, краснодеревщик. Человеком меня сделало что? Русский лес. Он, родной. Видишь эту мебель - все моих рук дело. Вывезено по кусочкам, как средневековый замок. Здесь все снова сложил и соединил намертво. Кижичи. Ни одного гвоздя, ни одной скрепы металла - все дерево. Посмотри, какая резная работа. А лак? Разве это лак? Это, друг Макс, настоящий жидкий янтарь, это - не хухры-мухры, сердолик в натуре.

Макс Гольф из вежливости продолжал рассматривать витые виноградные листья в изголовье небольшой софы.

- Человек тогда человек, когда он мастер, правильно я говорю?

Тогда он что? Тогда он, почитай, встал на две ноги. А интеллигенция что? Она сама себя не уважает, и дела у нее в жизни не было и нет.

- Интеллигенция отвечает за нравственные критерии народа, - процитировал Гольф Николая Бердяева, но Валентин Егорович его перебил.

- Чего? Нравственные критерии? Вот ты послушай, дружище. У меня жена есть... - И Макс насторожился. - Она сейчас у сеструхи, придет завтра утром. Так вот, жена моя была до меня замужем за одним козлом, интеллигентом, как ты говоришь. Он заставлял ее читать ему Блока, когда занимался с ней любовью. Она умоляла: "Не надо, не надо!" А он без Блока, видишь ли, не мог. Не кончал, ха-ха.

- Ну это дело семейное, - сказал Макс Гольф. Втайне он всегда подозревал, что Рита сбежала не от хорошей жизни.

- Да, верно говоришь. Но я еще тоже не кончил. Ха-ха... Понимаешь, он стал ходить налево, лишь они приехали сюда. И с кем снюхался, козел эдакий? С женой своего же друга, с которым они вместе на английских курсах учились. За одной партой в синагоге сидели, ха-ха. Ели, пили вместе, из одного корыта. Он ему даст какое-нибудь поручение: мол, сходи, дружище, за лекарством, а сам, козел, бежит в чужой огород. Та женщина, жена его кореша, сначала сопротивлялась, говорила "нет, ни за что"... Но он ее этой поэзией и Блоком взял. Они же, интели, знают, как бить на чувства женщины. "Мы встречались с тобой на рассвете, ты веслом рассекла прилив..."! Понял, как оно! А ты говоришь нравственные - что? Критерии?! Ха-ха!

Макс до боли в руке сжимал красные резные листья и смотрел на хозяина расширенными адреналином зрачками. А в голове его вертелось одно: не на рассвете, а на закате. Не на рассвете, а на закате. Не на рассвете, а на закате. Он тоже с Лесей встречался на закате. И тоже любил ее белое платье, утонченность мечты разлюбив. Значит, все эти годы она ему была неверна.

- Жена же, как женщина простая, не стала выяснять отношений и выдавать подругу. Подруга повинилась перед ней и - ладно. Моя дурочка собралась в один день и свалила к сеструхе. Она об ту пору уже встретила меня у сеструхи... Хорошая женщина тоже. Вот - живем, воду льем...

Наступила пауза. Дождь хлестал с такой силой, что сучья с треском валялись с деревьев.

Свинтив батарею, слесарь поднялся. Он был бледен, на лбу синела полоска от смазочной жидкости. Медленно бросал инструменты в сумку, стараясь не думать. Когда наклонился, чтобы застегнуть портфель, из кармана вывалился треугольник. Макс яростно скомкал его и ткнул концом штиблета. "Новую жизнь начать не получалось, еще надо было разобраться со старой".

Валентин Егорович вновь уткнулся в телевизор. Когда Макс совсем собрался и стоял уже в дверях, хозяин обратил на него внимание.

- Ты чего такой чумной? Не дрейфь, я забашляю, хотя работник из тебя еще тот. - Он осмотрел батарею и оторвал от пачки чеков бумажку.

- За сколько Люда с тобой сговаривалась?

- Какая еще Люда? - рассеянно спросил Макс.

- Жена моя, известно какая Люда!

Наступила естественная пауза. И хозяин, и слесарь замолчали и смотрели друг на друга. Потом Макс присел на корточки и молча стал шарить рукой под батареей. Достав скомканную бумажку с адресом, он бережно расправил ее на колене, вытер руку о кофту. "Это знак, - сказал он вслух. - Не надо, не надо возвращаться в прошлое со следователем. Что было, то было. Верно?" Хозяин смотрел на чудака с опаской.

- Ты что, паря?

- Вспомнил я, Егорыч, вспомнил, - сказал слесарь Макс Гольф, бывший главный хирург Ленинградской городской больницы номер 168, - не было у Риты сеструхи. Одна она у родителей. Одна-одинешенька, понял? Зорик мне всегда говорил, что Рита не имела родни.

- Понял, - как эхо ответил хозяин, который по-честному впервые в жизни не понимал ничегошеньки.

Прокричав же Валентину Егоровичу в лицо непонятные фразы о какой-то Рите, Макс рванул дверь, сгреб пальто и портфель в охапку и пулей вылетел в завывающее ненастье этой ночи.

- Чек возьми, ненормальный! - закричал ему вдогонку Валентин Егорович. Чек остался у него в руке.

- Я нормальный. Я в сумасшедшем доме лечился, - донесся радостный вопль ночного слесаря, которого дикие порывы ветра уносили вместе с листвой в сторону высокого берега и штурмующего его осеннего океана.

Валентин Егорыч стоял с минуты на пороге, поеживаясь. В темноте он прошел двадцать метров в сторону набережной, чтобы убедиться, что слесарь действительно ушел. Впереди, от клумбы, открывался вид на залив. Дождь кончился; Млечный Путь блестел, разветвляясь на три стороны тьмы. Ни один фонарь толком не горел на набережной. Валентин Егорович услышал, как хлопают ставни соседнего трёхэтажного дома. Там тоже жили русские.

Несмотря на поздний час, у них всю горел свет и грохотала музыка. Видно, еще гуляли. Можно было б и забрести на огонек. Но нет, хотелось в тепло. Да и профессиональная краснодеревщичья гордость не позволяла, хотя еврейцы были и свои, без прикола. Когда он повернулся, чтобы идти назад, ему почудилось, что вдали под фонарями он увидел силуэт человека. Потом рядом с идущим остановилась легковая машина, и, когда она снова отъехала от левой обочины, более освещенной, чем правая, никого не осталось в поле зрения. Только белый парашют и черная вода снизу и черная вода сверху за его дробной чертой.

Нина Воронель

Ведьма и **П**арашютист

(роман)

Хотите ли вы опять, как в детстве, испытать захватывающее чувство вовлеченности в чужую жизнь? Израильский парашютист, роковая женщина, таинственный злодей, средневековый замок, европейская интеллектуальная элита .. и убийство

464 стр , цветная обложка.

„МОСКВА-ИЕРУСАЛИМ“,
P.O.B. 44050, Tel-Aviv 61440

Цена: 39 изр шек.

(19 DM для Европы, \$15.5 для США, включая пересылку)

ИТА

другая проза

В ночь на Шавуот, когда религиозные евреи спят не в своих постелях, а над святыми книгами, в дальнем углу хабадской синагоги Бней-Брака сидели двое. За окном стояла глухая середина ночи, часы на стене показывали половину третьего. Холодный свет неоновых ламп подчеркивал морщины, утяжелял мешки под глазами. Даже теплое дерево тяжелых скамеек казалось мертвым, напоминая кожу утонувшего гиппопотама.

Большой зал был наполнен гулом голосов, многие, чтоб не уснуть, произносили нараспев изучаемый текст, другие просто беседовали, отгоняя сон хрусткими ломтиками печенья. Двое в углу: худой сутулый старик в наглухо застегнутом кафтане и мужчина лет сорока с явно проступающим сквозь пиджак животом, молчали, покачиваясь в такт чтению.

- Реб Буним, - внезапно сказал толстяк, решительным жестом отодвигая книгу. - Не знаю почему, но сегодня так муторно, так неспокойно на душе. И праздник вроде, и дети здоровы, и дела, слава Б-гу, идут, чтоб не хуже, а не по себе, не по сердцу.

- Бывает, бывает, - отозвался его визави, поглаживая длинную, чистого серебра бороду. - Иногда приходит злое начало, испытывает, тербит человека. А ты не поддавайся. Оно свое, а ты свое. Давай лучше кофе выпьем.

Толстяк согласно кивнул и, с трудом разгибая заснувшее от долгого сидения тело, поднялся со скамейки. Через несколько минут на столе дымилась две кружки крепчайшего кофе, их разделяла тарелочка белого пластика, доверху засыпанная коричневыми "тейгелак", вперемежку с темно-розовыми косточками миндаля. Реб Буним осторожно разломил пополам сахарное тело печенья и при нялся за кофе. Он пил короткими медленными глотками, в

промежутках поклевывая печенье. Толстяк прикончил свою порцию в три глотка и, словно выполняя повинность, озабоченно захрустел миндалем. Несмотря на мощный кондиционер, по его лицу катились капельки пота. Покончив с миндалем, он потряс бородой, отряхивая крошки, тяжело откинулся на спинку скамьи и принялся говорить.

- Оглянитесь, любезный мой реб Буним, осмотрите столы, чем, по-вашему, заняты хасиды? Вы скажете: учатся, а я скажу: как бы не так. Разговоры они разговаривают, кто о политике, кто о семье. Хотя, и в этом я почти уверен, большинство рассказывает о чудесах Ребе.

- Почему бы и нет, - отозвался реб Буним. - Большой человек был, многим людям помог, есть, о чем говорить.

- Есть, есть, - сдержанно улыбаясь, подтвердил толстяк. - Вот и у меня была в жизни совершенно удивительная история. Я ее еще никому не рассказывал, если хотите, можете стать первым.

- Конечно, хочу, - немедленно подтвердил реб Буним, отодвигая Талмуд.

- Никогда я не был так счастлив, как в первый год после армии. Закончив ешиву, я сразу призвался, даже не пытаюсь, подобно многим из моих однокашников, искать отсрочку или освобождения под всякого рода благовидными предложениями. Служба оказалась легкой, меня определили в военный раббанут и посадили писать мезузы. Обучаться профессии писца я начал еще в ешиве, собственно, поэтому меня и взяли в раббанут. А уж там успехов я достиг, прямо скажем, необыкновенных. Рука у меня не скользила, а летала по пергаменту, причем, заметьте, без единой ошибки. Норму, определенную обыкновенному писцу на неделю, я с легкостью выполнял за два дня, а оставшееся время проводил над книгами. Читал я запоем и все подряд. При раббануте была весьма приличная библиотека, и я просиживал в ней целыми днями. Ах, скажу я вам, реб Буним, что за сладкие минуты пережил я в израильской армии! К примеру, хочется почитать Талмуд, открываешь наугад любой том и с середины листа вопрос, возражение, комментарий...

Он выпрямился и неожиданно высоким голосом запел, раскачиваясь, как на молитве:

- Яма-мама-мама-мама-ма, сказал рабби Акива, - сказал рабби Элизер. - Путь праведников вначале страдание, затем покой, ой-ой-ой-ой-ой, путь грешников вначале покой, затем страдание.

Словно пытаюсь вырваться на свободу, голос ударился об оконное стекло, отлетел к колонне, обвился вокруг нее и, незамеченный, растворился в общем шуме.

- А то Мишну раскроешь, - продолжил толстяк, уже нормальным голосом, с размаху валясь на спинку скамьи,- или "Зогар" листанешь, короче говоря, пир горой. Иногда, впрочем, случались помехи, то на стрельбище тащили, стрелять из автомата, то на базу какую-нибудь охранять. Хотя стрелять я любил и оказался в этом деле довольно удачлив, особенно из М-16. Так что ценили меня, уважали и даже предложили остаться на сверхсрочную. Я бы и подписал, но родители отговорили.

- Хорошую девочку из приличной семьи не отдадут за человека в форме.

- Что я тогда понимал. Как сказали, так и сделал. Вернулся из армии и занялся, чему научили - стал писцом. Скорость, набранная за годы в раббануте, очень пригодилась. Работал я вполсилы, но и это приносило вполне приличный доход. Время потекло спокойно и счастливо, почти как в армии. Разница состояла лишь в том, что теперь я прочно стоял на ногах, почерк у меня был красивый, и от покупателей не было отбою. Но я не жадничал, работал только до обеда, а потом отправлялся в ешиву и сидел в ней до конца третьей смены, всласть листая любимые книги. Домой возвращался за полночь и валялся в постель, едва успевая снять одежду. Ах, как я тогда спал, храп стоял от Бней-Брака до Иерусалима!

Через полгода счастливая жизнь кончилась, родители приняли меня женить. Девушки одна лучше другой, из хороших хасидских семей, красавицы, умницы. Любая из них могла составить счастье куда более привередливому человеку. Я ведь был женихом первого разряда, мне и предлагали самое лучшее.

Но не пошло у меня с красавицами-умницами, просто до обидного не пошло. Словно какой прибор в груди скрывался, стоило только посмотреть на девушку, как сразу понимал - не то. Чего именно мне хотелось, вряд ли бы смог объяснить. Знал только, это - не то.

Так просто от девушек из хороших семей отделяться не полагалось. Полагалось встретиться минимум три раза, и не сразу, а с перерывом, поболтать о пустяках, погоде, вкусах и планах и только потом, спустя несколько дней якобы раздумий, передать - не подходит. Мне хватало тридцати секунд, чтобы разобраться, но эту резину приходилось тянуть по несколько недель. Через шесть или

семь неудачных знакомств я стал просить фотографию, чтобы сэкономить для девушек напрасные надежды и бесцельное прихорашивание. Но про фотографию шадханам и слушать не хотели. Со своей стороны они, наверное, были правы. Но и я, со своей, стоял на своем.

Через полгода родители опустили руки.

- Не пришло, видать, его время, - решил отец. - Пусть еще поучится, пока ветер из головы выдует.

Толстяк закинул голову и запел, слегка раскачиваясь:

- Ая-я-я-я-ай, путь грешнико-о-ов!

- Все это время к нам в дом ходила подруга моей младшей сестры Ита, милое пятнадцатилетнее создание, с двумя длинными косами, которые сегодня увидишь только у девушек из очень ортодоксальных семей. Высокая, но не чересчур, румянец во всю щеку, глаза, даже не знаю какого цвета, голову она всегда чуть наклоняла, из скромности. Ходила легко, словно летала, и говорила чуть слышно, так, что приходилось переспрашивать. А впрочем, и разговоров особых мы не вели. Саралэ дома, дома, спасибо, можно пройти, пожалуйста, - и все в таком духе. Признаюсь, после ее прихода я ощущал смутное волнение, беспокойство какое-то, но значения тому не придавал. Так вот бывает, ходит человек вокруг своего счастья, почти носом тычется, а не видит, не понимает, как...

Он запнулся, подыскивая нужный образ.

- Как Агарь вокруг колодца, - подсказал реб Буним.

- Да, да, именно так. Ходит неприкаянный, пока не откроет ему глаза Вс-вышний. Если откроет...

- Итак, родители оставили меня в покое, я мог наслаждаться учебой и свободой. Увы, положение, в котором я оказался, начало тяготить меня самого. Почти все мои сверстники к этому времени были женаты, а многие успели обзавестись двумя, а то и тремя детьми. Моя холостая жизнь вызывала недоумение, смешанное с беспокойством. Каждый считал своим долгом предложить мне собственную сестру или, на худой конец, сестру жены. Выдержать такой напор - совсем непростое дело, даже при наличии объективных причин. У меня же, кроме смутного образа, ничего не было и поэтому, когда шадхан предложил очередной вариант, я согласился, почти не раздумывая.

Честно говоря, отказаться от такой девушки мог только сумасшедший. Как потом выяснилось, моя мама несколько месяцев подбиралась к ее родителям, осторожно, через друзей и родствен-

ников, подготавливая почву для знакомства. Семья, в которую мне предстояло войти, считалась в нашем хасидуте одной из наиболее уважаемых. Отец девушки учился в хедере вместе с предыдущим Ребе, дядя был секретарем нынешнего. Да и сама невеста, помимо родовитости и связей, слыла настоящей красавицей. Посмотрел я на нее, поговорил пятнадцать минут и решился.

“Что еще нужно для счастья? --повторял я себе, возвращаясь с помолвки. - Все при ней - ум, красота, скромность, знатное происхождение и прекрасное приданное - квартира в Бней-Браке”.

И все-таки, какое-то сомнение тлело в глубине души. Я послал телеграмму Ребе, в Нью-Йорк. Через день пришло благословение. Ровно спустя три месяца мы стояли под хупой.

Зажили мы, что называется, душа в душу. Тихо, спокойно, без лишних слов и скандалов. И только спустя полгода я вдруг сообразил, что именно этих-то лишних слов мне и не хватает. Жена моя почти все время молчала, мои попытки разговорить ее заканчивались доброй улыбкой и одобрительным покачиванием головы. Другой на моем месте был бы счастлив, другой, но не я!

“Пусть бы ругалась, пилила, требовала чего-нибудь, - повторял я после очередного вечера, наполненного звуками только моего голоса. - Я сойду с ума от ее доброй улыбки и всепонимающих глаз!”

Увы, увы... Вскоре я понял, что общего языка с женой отыскать не удастся. Положение могли спасти только дети, но они, как назло, не спешили появляться. Через год после свадьбы мама начала беспокоиться по-настоящему. Через два мы начали посещать врачей.

Наш случай оказался одним из наиболее сложных - анализы у жены и у меня были в полном порядке. Даже профессор Мацлиах, всеизраильское светило и главный специалист, сокрушенно развел руками.

- С медицинской точки зрения у вас все замечательно. Просите Б-га, вот единственное, что я могу посоветовать.

Следующие полгода мы катались по святым местам и могилам праведников. Нет кладбища в Израиле, которого мы бы не посетили. Надо сказать, что праведников хоронили в невозможно красивых местах, поэтому поездки, помимо прямой цели, приносили нам большое удовольствие.

Но и они не помогли. Тогда я купил билет и полетел к Ребе.

- А почему не сразу, - воскликнул реб Буним. - Сразу надо было лететь, через год после свадьбы.

Толстяк покосился на него.

- Через год, говорите. Я бы полетел, да жена не хотела. Незачем тревожить Ребе, --отвечала она на мои предложения. - Самим нужно молиться. У Ребе и без нас хватает забот.

Честно говоря, мне такая позиция казалось странной. Для чего существует Ребе, как не для такого рода проблем? Но поскольку дело касалось не только меня одного, то вы понимаете...

Полетел я на "Эр-Франс" с пересадкой в Париже. Между рейсами надо было провести в аэропорту около пяти часов, и я уже заранее сокрушался, не зная, куда себя деть. Но аэропорт оказался огромным, пестрым скопищем всякого народу, вкусно пахло кофе из буфета, кондиционированный воздух приятно охлаждал лицо. В ожидании пересадки пассажиры слонялись по залу, рассматривали витрины киосков, покупали ненужную дребедень, глазели друг на друга. Поддавшись общей атмосфере, я побродил полчаса, рассматривая окружающих. Зрелище, надо сказать, не из самых аппетитных... Женщины были одеты, а если точнее, раздеты под стать погоде, выставляя напоказ рыхлые, веснучатые, подгорелые на солнце телеса. Реальные, живые женщины, сильно отличаются от фотомоделей и для большинства гораздо выгоднее скрывать, а не предъявлять недостатки фигуры и кожи. Но, видимо, мир считает по-другому, поэтому толстушки щеголяли в узких, глубоко врезавшихся в тело шортах, а те, кто постройнее, выпячивали лошадиные ключицы. Ноги покрывала сеточка фиолетово-багровых прожилок, набухшие вены рук взывали о страдании.

"Мир сошел с ума, - думал я, прогуливаясь по залу. - Мир сошел с ума".

- Не мир, а ты, - неодобряюще покачал головой реб Буним. - На пути к Ребе рассматривать полуголых шикс. Хорош хасид, нечего сказать!

- Ая-яая-яаяй, путь грешнико-ов, - отозвался толстяк. - Судите меня, уважаемый, порицайте, стыдите, любое из ваших действий окажется верным. Да что ж делать, так оно было, и коль скоро взяли вы слушать эту историю, слушайте до конца. А обвинения, поверьте, я их себе давно предъявил, по списку, от алеф до тав.

Ну, так вот, бродил я, бродил и вдруг... и вдруг посреди этого безобразия мой взгляд наткнулся на нормальную женскую спину. Лица, как вы понимаете, я не видел, незнакомка неспешно прогуливалась, нет, плыла, парила в десяти шагах передо мной. На фоне

выпавших бретелек, изрядно поношенных маек, обнажавших плохо отмытые пупки, джинсов, протертых в самых неприличных местах, одета она была в нечто невообразимо прекрасное. Юбка изумрудного цвета одновременно и подчеркивала стройность стана и скрывала его очертания, салатная блузка с широкими рукавами свободно струилась вдоль нежнейшей талии. Густые, с матовым отливом волосы, были коротко подстрижены, обнажая перламутровую шейку. Ах, что я говорю!

Толстяк сорвал очки и, обхватив ладонями лоб, потер его с такой силой, словно хотел извлечь огонь. Закрыв лицо руками, он принялся раскачиваться, бормоча то ли слова молитвы, то ли просто всхлипывая. Через минуту, он решительным жестом водрузил очки на место, посмотрел на реб Бунима сужившимися глазами и продолжил.

- Как видно, было в моем взгляде нечто магнетическое, незнакомка вдруг резко повернулась и взглянула прямо на меня. От изумления я остолбенел. Это была она. Тот образ, который я так безуспешно искал, предстал передо мною во плоти, живой и еще более прекрасный, чем в моих мечтах. Но еще более удивительным, невозможным и обидным до потери чувств оказалось то, что мы давно знакомы. Да, да, да - это была Ита.

А дальше, дальше я повел себя как последний дурак. Поначалу мямлил какие-то глупости про сестру, погоду, здоровье, потом мы долго бродили по залу, не в силах произнести ни одного слова. Наконец я пригласил ее в кафе. Мы выбрали дальний столик и заказали минеральную воду.

- Воду, - реб-Буним презрительно фыркнул. - Какая уже разница! Женатый мужчина, с посторонней женщиной в кафе! Мир сошел с ума!

- Мы выпили воду, - продолжал толстяк, пропустив мимо ушей восклицание реб Бунима, - я спросил куда и зачем она летит, оказалось в Австралию, к тетушке, на встречу с целым списком женихов. И вот в этот самый момент я вдруг понял, что люблю Иту, люблю давно и навсегда, и что в жизни моей уже не будет ничего похожего и ничего лучшего, чем эта любовь.

Реб Буним крикнул и замотал головой, словно отмахиваясь от надоедливой мухи.

- Прошло еще несколько вопросов, ненужных и пустых, как и весь разговор, затеянный от невозможности сказать главное. Внезапно где-то высоко над нашими головами громовой голос объ-

явил посадку на австралийский рейс. Ита заторопилась, привстала и вдруг снова присела на стол.

- А знаете ли вы, - сказала она, глядя мне прямо в глаза, - что я люблю вас уже пять лет, и, наверное, буду любить вечно. Только ни слова, - она легко поднялась и неуловимым движением выскользнула из-за столика, - мы никогда больше не встретимся, очень скоро я выйду замуж и похороню это глубоко-глубоко, вот здесь.

Она положила руку на грудь и сдавила, словно хотела прямо у меня на глазах спрятать боль и отчаяние в глубине своего сердца.

- Не думай обо мне и никогда не вспоминай, а я, я буду молиться о твоём счастье.

Несколько минут я просидел, не в силах сдвинуться с места, а когда ноги вновь согласились повиноваться, Ита исчезла. Я бежал терминалы, где шла регистрация на австралийский рейс, но тщетно. Тут объявили Нью-Йорк, и я, вместо того, чтобы перевернуть вверх дном этот проклятый аэропорт, побрел на посадку.

Весь десятичасовой перелет я просидел у окна, разглядывая облака. Их очертания вовсе не напоминали спящих гигантов или волшебные замки, но это был единственный способ не видеть, не слышать и не вступать в разговоры. Сцена за столиком крутилась у меня перед глазами, как пуримская трещотка. Честно признаюсь, решения так и не пришло мне в голову.

Попасть на личную аудиенцию к Ребе я не смог, да, честно говоря, и не пытался. Стоять перед ним, смотреть в глаза и рассказывать такое... Нет, невозможно, немислимо! Я передал ему два письма, первое о жене, второе об Ите. На следующий день секретарь вручил мне два конверта, каждый из которых содержал листочек тонюсенькой, почти папиросной бумаги. Я проносил их в кармане сюртука до глубокой ночи, не решаясь раскрыть и только после вечерней молитвы, оставшись один в громадном зале синагоги, собрался с духом.

На одном листике стремительным почерком Ребе было написано: "Оставь и забудь", второй содержал благословение на счастливую семейную жизнь.

Решать, как видите, было нечего. Я собрался и через двадцать часов показывал жене письмо Ребе. О втором конверте, как вы понимаете, разговор не шел.

Так все и сбилось. У меня шестеро детей, хорошая работа, счастливая жена. Дети растут, слава Б-гу, уже есть с кем перекинуться словом... Иногда, раз в несколько лет, я, как бы случайно,

спрашиваю сестру об Ите. Она, действительно, тем же летом вышла замуж, живет в Мельбурне, детей, правда, нет. И все вроде хорошо и спокойно, и уютно, но иногда мне кажется, что я перепутал.

- Что перепутал? - переспросил реб Буним.

- Перепутал, кого Ребе имел в виду. Это я решил, сам.

Толстяк сгорбился, лицо пошло красными пятнами, лоснившийся нос заблестел еще больше. Вдруг загрохотали разом отодвигаемые скамейки, ночь подходила к концу и хасиды заторопились в микву.

- Так в чем же чудо, - пытаюсь перекрыть шум, высоким голосом прокричал реб Буним, - где чудо Ребе?

- Чудо, - толстяк вдруг сменил тон и заговорил с какой-то ухарской веселостью. - Чудо состоит в том, что я остался его хасидом.

Резко поднявшись, он с легкостью, необычной для такого грузного тела, выскользнул из-за стола и, взбежав по ступенькам, прильнул к занавеске, скрывающей шкаф со свитками Торы. Реб Буним тоже поднялся, тяжело ступая, подошел к окну и широко распахнул обе створки.

- Яма-ямама-я-я-а, - запел толстяк, - Г-сподь мило-сердный, простит зло и не погубит, как не раз отвращал гнев Свой...

Он раскачивался, окруженный желтым электрическим сиянием. Его дыхание, рассекаемое на доли словами молитвы, исчезало в тяжелых складках вишневого бархата. За окнами холодно и голо начинался новый день. Рассвет подступил к синагоге, опустившись внезапно, как удар. Голос, произносящий молитву, выливался из ее освещенных окон, и, поднимаясь вверх, таял в глубине розовящего неба.

У НАС В ГАЛИЛЕЕ

Сегодня он опоздал. Солнечный луч уже пробежал больше трети своего пути по зеленой стене пещеры, когда на площадке перед входом раздались шарканье его шагов. Он продвигался медленно, словно прощупывая ногами каждую плитку. Двадцать лет назад, укладывая их собственными руками, он был куда как проворнее. Мой дядя Габриэль. Рыжая земля так и летала под его лопатой, а плиты, словно игрушечные, сами собой складывались в правильный геометрический узор.

– Симметрично, значит красиво, – нашептывал он, любовно оглаживая мастерком их шершавые бока.

Когда-то ровный, как пальма, дядя сгорбился, нос украсили очки, волосы побелели. Плиты тоже побелели, беспощадное солнце Галилеи и холодные зимние ветры сломили даже хевронский камень. Только упорство моего дяди им не удалось сломить. Тридцать три года подряд, со дня бар-мицвы, он приходит сюда каждый день, заводя неспешную карусель малых и больших дел. Первые несколько лет дядя приводил в порядок пещеру: белил, красил, выкладывал мрамором могилы праведников. Несколько лет ушли на вырубку лестницы: узкую тропинку, бегущую по самому краю скалы, он превратил в удобную лестницу с перилами. Ступеньки пришлось высекать в белом камне, испещренном похожими на глазницы порами, забитыми рыжей землей. Перила, сваренные из металлических труб, дядя красит каждую весну. Их голубая линия почти незаметна на фоне голубого галилейского неба.

Царапая замок, он долго не может попасть ключом в скважину. Еще бы, жить ему осталось ровно восемнадцать часов. Виду дядя не подает, держится, будто ничего не изменилось. Но душа, душа знает.

Наконец ему удается совладать с замком. Тяжелая решетка, загораживающая вход в пещеру, плавно отъезжает в сторону, обильно промасленные шарниры проворачиваются без единого скрипа. Дядя прячет ключ в карман и устремляется к нише, прикрытой занавеской. Там, в чехле из малинового бархата, покоятся мои тфиллин. Отодвинув занавеску, он нетерпеливо хватается за мешочек. Все как обычно: тщательно закрытая перед уходом молния сдвинута почти до конца, а ремни, туго закрученные вокруг коробочек, ослаблены и вытащены наружу. Бормоча слова молитвы, дядя восстанавливает порядок и, застегнув молнию, прикрывает занавеску. Дальнейший ритуал освящен десятилетиями скрупулезного исполнения и остается неизменным уже тридцать три года. Достав из подсобики ведро и швабру, он наливает воду из канистры и, кряхтя, моет каменный пол пещеры. Двигается дядя с трудом, и в такт движениям тихонько напевает:

– Смерть появилась в моем окне, смерть появилась в моем окне...

Он прав, Габриэль Маркус. Его дело действительно передано в последнюю инстанцию. Заседание состоится от полуночи до рассвета, состав судей мне знаком, и какое решение они вынесут, догадаться нетрудно.

Собрав выгоревшие свечи, дядя зажигает новые и аккуратно расставляет перед надгробиями. По правде говоря, настоящие могилы расположены метров за двадцать отсюда, в боковом отроге пещеры. Семьсот лет назад, после смерти последнего праведника цфатской династии, ответвление замуровали, а новую кладку состарили: штукатурку закоптили и обклеили мхом. У входа положили на пол несколько огромных каменных брусков и лишь после этого рассекретили место захоронения. Хитрость удалась, грабители могил несколько раз, проклиная все на свете, переворачивали каменные глыбы и принимались рубить пол. Но галилейская скала легко тупит самые острые топоры, и, промучившись несколько часов, грабители уходили, оставляя за собой несколько бороздок в каменном полу.

Но Габриэлю все это невдомек. Он благоговейно протирает холодный мрамор надгробий, отойдя на два шага осматривает свечи, и, вернувшись, чуть передвигает их, добываясь строгой симметрии. Наведя порядок, дядя немного отдыхает на маленькой скамеечке у входа, а затем приступает к главному – моей могиле. Для этого у него заготовлены самые лучшие полирующие средства, припасены разнообразные щетки и губки. Прошло уже тридцать три года, а надгробная плита выглядит так, будто ее водрузили на место пятнадцать минут назад.

Сегодня день моего рождения, и поэтому он будет особенно стараться. Ровно тридцать три года назад дядя повез меня в Цфат, помолиться на могиле праведников и в первый раз наложить тфиллин. Я был, как говорится, чудо-ребенком, в 12 лет знал наизусть несколько трактатов Талмуда и, по общему мнению, меня ожидало большое будущее. Оно кончилось в одну секунду, на повороте горной дороги. Идущий сверху грузовик чуть занесло, а стальной каркас “Вольво” моего дяди оказался недостаточно прочным...

Сегодня он отступил от заведенного распорядка. Тяжело дыша, дядя притаскивает кирпичи, ведро с водой, сыплет в него цемент из бумажного пакета, долго месит раствор мастерком. Только когда он снимает занавеску с ниши и начинает закладывать проем кирпичами, я, наконец, понимаю. Он хочет, чтобы мои тфиллин оставили в покое!

Бедный дядя! То, что случилось на повороте дороги, не могло не произойти. Если бы мне удалось наложить тфиллин, мир бы сегодня выглядел совсем по-другому. Вот уже тридцать три года подряд,

каждую ночь я пытаюсь достать их из малинового чехла, но силы мои невелики...

Он заканчивает кладку, тщательно подбирает крошки раствора и выходит из пещеры. Ему плохо, мутит, давит в груди. Он запирает решетку и, шурша подошвами, в последний раз проходит по площадке, медленно, словно перещупывая каждую плитку. Сосны у входа прощаются с ним, но дядя не понимает их шороха.

В пещере снова становится темно и тихо. Чуть покачиваются огоньки свечей, жужжит залетевшая с воли муха. Тфиллин за каменной кладкой начинают потихоньку отсыревать. Они сделаны из лучшей кожи, лучшим мастером Цфата и продержатся много лет даже в таких условиях. Но все равно, придет день, когда они рассыплются в прах и станут моими. Случится это не скоро, лет через пятьдесят, восемьдесят. Но я не тороплюсь, время у меня есть.

НАЧИНАЕМ ГРОМКО СПАТЬ

Не плачь, не плачь, зайчика. Ой, какие горькие слезы. Папа скоро придет, совсем, совсем скоро.

Ну, зачем ты проснулась, ложись на бочок, лапку под щечку, баюшки-баю, баюшки-баю...

Какой страшный плач! Ну, ладно, иди ко мне маленькая, головку на плечо, давай походим, потопаем. Папа в магазине, покупает сласти для своей девочки. Бамбу покупает папа, бисли покупает, мороженое с клубникой. Ты ведь любишь мороженое, да, любишь? Тогда скорей баиньки, проснешься, а мороженое уже здесь.

Не кричи так громко, папа далеко, не слышит. Он, наверное, уже вышел из супера, складывает мороженое в багажник, везти своей девочке. Папа целый день работал, устал, есть хочет. Видишь, мама ужин начала готовить, а ты плачешь, мешаешь маме. Придет папа голодный, спросит: – где ужин, где яишенка? – что мы ему ответим? Ложись зайка, закрывай глазки, мама возьмет сковородку, большую-большую, толстую-претолстую, растопит масло, поджарит яишенку высокую, вкусную. Папа увидит, обрадуется: кто, – спросит, – яишенку готовил? – а мама скажет: – мама и девочка. Ждали папу, песенки пели, баюшки-баю, баюшки-баю...

Да что за наказание такое! Успокойся, успокойся, я тебе говорю! Папа уже к дому подъезжает, где-нибудь на соседней улице. Хочешь, мы ему позвоним, хочешь? Ну, давай, мама берет трубку,

набирает папин номер. Ту-ту-ту. Молчит папа, наверное, радио слушает, музыку, новости. А может, он приехал уже, собирает вещи из багажника, бамбу, бисли, мороженое для девочки. Мы подождем, он освободится, поднимет трубку, – здравствуй, – скажет девочка, – это я, папа. Потерпи, потерпи, совсем немного осталось.

На соседней улице, в недрах раскоряченной, выломанной машины зазвонил телефон. Врач скорой помощи повел головой, поднялся с колен и кивнул санитарам на распростертое тело:

– Закрывайте.

Медсестра вопросительно посмотрела на врача:

– Ответить?

– Нет. Что я им скажу? Пусть полиция сообщает.

Телефон продолжал звонить. Из пачки раздавленного мороженого по асфальту медленно растекались красно-белые струйки.

НИНА ВОРОНЕЛЬ

Полет бабочки

(роман)

„Таинственная атмосфера туманного Уэльса и старинной библиотеки в антураже многолетних бытовых традиций, исполняемых по-британски неукоснительно... Арабский властитель, стремящийся установить тайные связи с Израилем... Борьба разведок... многокрасочный kaleidoscope экстравагантных персонажей, среди которых необходимо вычислить „своих” и „чужих”... И любовь, разворачивающаяся на столь завлекательном фоне”.

„Новости недели”

378 стр Цветная обложка

„Москва – Иерусалим”

P.O.B. 44050 Тель-Авив 61440

(32 шек. в Израиле; 22 ДМ для Европы; \$16 для США,
включая пересылку)

ШАХМАТЫ

Тридвятого блажь короля,
Тридсятых галдеж пятилеток...
До чего ж многоцветна земля:
Сколько черных и белых клеток...

Сохнет кровь на траве и песке,
Бьют наотмашь ферзи точеные.
Я на проклятой этой доске -
Пешка - может быть, самая черная.

О какой мне молиться заре?
Что мне цель, кроме цели - выжить?
Если я в этой древней игре
Одинаково ненавижу

Идиотских стабильность ролей,
Исторических мудрость примеров,
И своих, и чужих королей,
И своих, и чужих офицеров,

И в казармах, в окопной грязи
Толпы пешек великих, которые
Рвутся в жертвы и прут в ферзи,
Переделывая историю.

Пешка - пешкой. Стою в защите.
Пост не брошу - грози не грози -
Только в жертвы меня не тащите,
Не толкайте меня в ферзи!

Не маните мундиром павлиным!
Не гоните приказом трескучим!
Я стою на седьмой линии
И давно не ищу, где лучше...

Плещут реки. Шумят тополя.
Небо синее каплет с веток...
...До чего ж многоцветна земля:
Сколько черных и белых клеток...

СМЕХ

Сверху - скука, снизу - грех,
Там журавль, иль здесь синица,
Вся-то жизнь - сквозь слезы смех.
Остальное - просто снится.

Смейся, смейся,
Сколько веревочка ни вейся,
А последним или нет,
Так семь бед - один ответ.

Что искать в чужой душе?
Лишь свою в потемках студишь:
С милым рай и в шалаше,
Но насильно мил не будешь.

Средь волков по-волчьи выть -
Мудро, но не интересно,
Даже саночки возить -
Скучно врозь, а вместе - тесно.

Ведь игра не стоит слез,
Что в лесу волков бояться?
Только смех один - всерьез.
Хочешь жить - умей смеяться!

Что ни корм, то не в коня.
Что ни козырь, то не к масти.
Зря - на зеркало пенять,
Зря - скулить: не в деньгах счастье.

Разве все мы на земле,
Те что правы и не правы,
Не в чужом монастыре
Со своим живем уставом?

Смейся, смейся,
На Бога не надейся,
Помни: курица - не птица,
Не плюй в колодец - пригодится,
С глаз долой - так вон из сердца,
Хочешь жить - умей вертеться,
Велики глаза у страха,
У попа была собака...

Смейся, смейся,
Сколько веревочка ни вейся,
А последним или нет,
Так семь бед - один ответ.

СЛЕДЫ

Нет ни радости, ни боли -
Лишь следы на белом поле.
Ниоткуда. Никуда.
Лишь следов ерунда.
Нет ни смысла, ни порядка.
Чисто-чисто, гладко-гладко.
Ни любви, ни слов, ни снов -
Геометрия следов.

Ни кровинки, ни страданий -
Все изрезано следами:
След на след - кресты разлук,
Двух клинков негромкий стук.

И опять - своей дорогой.
Будет много, будет много,
Много-много белых лет
Одиноким
 каждый
 след.

ЗАПАХ

Спрячь дорогу, неверие ночи,
Упади опрокинутым дном
На надежные пути обочин,
Беспробудным приснившихся днем.

Выдай тьме миражи на расправу!
Дай уйти, заблудиться, свернуть!
Возврати позабытое право -
Выбирать не дорогу, но Путь!

...Запекается кровь на лапах.
Не обманет лишь вера в обман!
Все иллюзия, только не запах,
За который -
 готов! -
 в капкан!

ПУРГА

На асфальте бушует пурга,
Все не-серое в нас уничтожив.
Мы - лишь тени. И стук сапога
Не расслышишь и за два шага.
Мы - прохожие. Только прохожие. -
Нет ни друга в пурге, ни врага.

Не растает в огне серый цвет,
Сколько глаз утомленных ни пьаль ты.
Хоть бы точки от двух сигарет!
И идти до рассвета след в след!..
Но какие следы - на асфальте?
И какой в этой мути рассвет?

Не пугайся - дойдем до огней!
Не пугайся - пускай завывает...

На асфальте пурга все сильней.
Столько зим... Столько лет... Столько дней...
Что давно никого не пугает.
Вот что самое страшное в ней!

КЛОЧКИ

Уходили к подлостям от бед,
Имена меняли и святыни...
Нам еще в отказе сорок лет
С манной пайкой маяться в пустыне.

★★★

Нет смерти. В вихре бытия
Из тела в тело вечно рея -
Всесильна карма - скоро я
В другого превращусь... еврея!

ПЕЙЗАЖ В ОКНЕ НАПРОТИВ

Поехав вечером в чайный магазин, в котором давно уже не бывал, Петр поразился виду знакомой улицы - неубранной, с темными витринами и с черным бугристым льдом на тротуарах; была оттепель, и дикие автомобили окатывали зазевавшихся прохожих соленой жижей. Можно было подумать, что вместо центра столицы Петра занесло в глубокое захолустье. Собственно, нового в этом не было, он привык жить в опустившемся городе и уже словно бы не замечал ничего вокруг, но сейчас понял, что, уехав наконец навсегда, не станет тосковать об оставленном - напротив, будет гнать от себя воспоминания о здешней тоске, символом которой вполне может послужить эта бесснежная, черная Мясницкая; вообще, ему казалось, что в памяти останется только единственный образ - чернота. В перемены к лучшему больше не верилось, и от повседневной фантазмагии Петр отдыхал лишь вечерами, в одиночестве, тем более, что из окон своей квартиры видел не городскую застройку, а парк, за старые деревья которого спускалось солнце; колдобины на дороге были неразличимы с его этажа. На подоконнике всегда лежал полевой бинокль, через который он часто смотрел на гуляющих детишек, а то и на девушек, не подозревающих, что за ними наблюдают издали. Пейзаж, однако, менялся, и со временем Петр незаслуженно лишился своего невинного развлечения: внизу устроили какую-то возню, езду грузовиков и тракторов, размесили грязь, и мало-помалу, загородив собою и парк, и закаты, вообще - три четверти неба, перед окном поднялась стена бездарного здания.

Дом построили с досадной быстротой, и, скрываясь от нечаянных соглядатаев, Петр жил теперь за спущенными шторами - не только когда ложился спать или когда приходили женщины, но и, особенно даже, когда работал за письменным столом - при этом он никогда не терпел ничьих взглядов. Прежде он, вставая поразмяться, всегда подходил к окну - отвлечься, пометчать, - но эту привычку пришлось

оставить, оттого что новая стена, школярски расчерченная на квадраты с квадратными же дырами посередине, вызывала у него стойкое уныние, особенно в темное время, когда там дружно сдвигались занавески, за которыми не угадывалось больше никакого движения, так что впору было усомниться, живут ли там люди.

Они там жили, и однажды вечером Петр, распахнув, при погашенной лампе, раму, увидел перед собою девушку. Свет у нее горел слабый, а расстояние было все-таки приличным для невооруженного глаза, так что многие мелочи Петру пришлось домыслить, а другие остались неразгаданными, например, странно подвижный зеленый фон за девичьей спиной. Чтобы остаться незамеченным, он отступил в глубину комнаты, тогда как девушка принялась неторопливо снимать с себя одежду, всего-то состоявшую из трех вещей - майки, джинсов и трусиков; сбросив последнее, она с удовольствием потянулась. Петр отчаянно жалел, что за ненужностью давно спрятал куда-то свой бинокль. Он стыдился того, что подглядывает, как мальчишка, но и отворачиваться от ослепительного портрета в интерьере казалось глупостью; впрочем, об интерьере он подумал с некоторой заминкой, заподозрив в общей картине какую-то несурязицу. Ему немедленно требовалась оптика, и Петр лихорадочно называл в уме самые невозможные для хранения места, пока вдруг не вскрикнул, вспомнив: галошница! Он стремглав помчался в переднюю - бинокль и в самом деле лежал среди старой обуви.

Мнение Петра о прелестях девушки останется при нем, заметим лишь в скобках, что и он - не камень; в то же время его пристрастное отношение к предмету вряд ли повлияло на ход событий. Началось с того, что девушка боязливо попробовала ногой воду и нашла ее достаточно теплой, хотя мало еще кто купался в эту пору. Осторожно, не зная, видимо, дна, она пошла вперед и вдруг, решившись и набрав воздуха, окунулась с головой, подняв брызги - возможно, и поплыла, только теперь Петр не видел ее из-за подоконника. Ему ничего не оставалось как изучить обезлюдивший пейзаж, зачатки которого встревожили его поначалу. Перед ним был крутой заросший берег; против заходящего солнца плохо было смотреть. Но Петр все же разглядел сквозь редкую майскую листву добротный рубленый дом на лужайке. Изображение застыло, как на фотографии, и нужно было дожидаться возвращения купальщицы, но солнце село прежде того, и Петр перестал различать что-либо.

Глядя на темные стекла напротив, Петр потряс головой; как-то непохоже было, чтобы он спал.

- Я-то сетовал, что мне закрыли вид! А тут закат проходит насквозь, - воскликнул он наконец, но эти слова не отразили его смятения, и вообще не слишком соответствовали его мыслям.

Подождав еще немного в надежде на какие-то изменения, Петр смирился с тем, что сегодня больше ничего не покажут, и принялся за свои привычные занятия.

Назавтра он проснулся в прекрасном настроении, но и с легкой грустью, как и всегда после приятного сновидения, подробности которого начинают ускользать; только увидев брошенный в кресло бинокль, Петр понял вдруг, что все, вспоминаемое им сейчас, случилось наяву. Бросив взгляд на противоположный дом, он нашел нужные окна занавешенными и, усмехнувшись, сказал себе, что вовсе не ждал увидеть никаких знаков на освещенной солнцем стене, что накануне, видимо, перетрудился и чересчур распалил воображение, что такое, как с ним, и со всяким приключается хотя бы раз в жизни, и что раз в жизни любая девушка может, раздеваясь, оставить окно открытым.

В конце дня у Петра были гости, и ему пришлось отложить обычную работу и расслабиться. Произошло это без подготовки, просто позвонили два старых друга и почти тотчас заявили с бутылками и снедью, и он, подосадовав поначалу на помеху своему распорядку, скоро сказал себе, что и в самом деле устал и только ждал подобной оказии. Накрыв стол не по-холостяцки, а сервировав его, несмотря на возражения друзей, по всем правилам, Петр сознательно допустил единственное нарушение, поставив под водку не рюмки, а стаканы, в каких подают виски со льдом; наполнив их изрядно, почти до половины, он провозгласил:

- Уравнием интеллекты.

Уравнивая, они неторопливо закусили дешевой колбасой, и один из гостей не удержался от замечания:

- У них там так не пьют.

- Но у них и едят не так, - возразил второй.

- Не хлебом единым...

- Но и одним только хлебом. потому что нам не достать другой пищи. Слава Богу, что хоть как-то полегчало - с духовной.

- Тоска, - сказал первый.

- А там - ностальгия.

- Но что такое ностальгия? - задумался Петр. - В сущности, это тоска по местам своей молодости, но они недостижимы и здесь, потому что изменяются вместе с тобой.

- Если бы мы были нужны здесь! - с горечью воскликнул первый гость. - А мы тратим жизнь на стояние в очередях. Представь Моцарта, который вместо того, чтобы писать музыку, уже зазвучавшую где-то там, внутри, стоит в хвосте за перловкой! Это не то, что слушать скрипача слепого! А у нас почти всякий талант нищенствует. Это становится почти профессией.

- Значит, из-за куска сыра? - печально спросил второй. - Спой, светик, не стыдись.

- Налей-ка еще.

- Слишком высокий темп, - покачал головой Петр, все же наливая. - У них там так не пьют.

- А мы - будем? - спросил один из друзей, а другой одновременно с ним сказал другое: - Вот и давай пить, пока можно. Никто и нигде нас не ждет. Дружба, знакомства, связи - возможны лишь здесь, и наши честолюбивые мечты и наши блестящие идеи останутся витать никому не заметными флюидами в воздухе, Бог даст, какого-нибудь деревенского погоста под славным осенним дождичком.

- Но и такой погост возможен - не там.

Начавшись в такой минорной тональности, случайная пирушка грозила превратиться в горькую попойку, когда бы сотрапезники исподволь не подвели друг друга к тосту, который с первых минут держали в уме - за отсутствующих дам, - немного просветлившему души. Их потянуло к приятным воспоминаниям и легкому хвастовству. Хозяин дома тоже поддался общему настроению, хотя, единственный из трех, был в последнее время по-настоящему одинок, расставшись с женщиной и не имея пока желания и видимой возможности приблизиться к какой-нибудь другой; он еще находил в своем новом положении больше преимуществ, чем неудобств.

Проводив потом гостей до метро, Петр с удовольствием вернулся в пустую квартиру, зная, что теперь никто не помешает ему провести остаток вечера по своему усмотрению - на диване, за письменным столом, перед проигрывателем или в ванне. Но, заперев за собою дверь, он вспомнил о вчерашнем, испугался, что опоздал, и, подбежав к окну, рывком откинул штору: перед ним снова был женский портрет на фоне пейзажа.

Петр, естественно, ожидал, что сюжет если и будет развиваться, то в том же времени, в каком пребывал он сам, и пусть бы оптические эффекты наблюдались сами по себе, но ничего не могло быть проще, чем познакомиться с девушкой, живущей почти окно в окно с ним. То, что он увидел теперь, озадачило его: листва в чужой ком-

нате поредела, обозначая смену весны, через сезон, на осень; деревянный дом, к тому же освещенный внутри, стал виден совсем хорошо. Строго и старомодно одетая девушка прохаживалась по берегу невидимой реки, словно барышня в кинофильме из старинной жизни. Окончание купального сезона не огорчило Петра, и без того навидавшегося обнаженной натуры; в мыслях у него было другое: ему хотелось выяснить природу странных живых картин - девушка наверняка помогла бы ему в этом, но он не знал, как сию секунду связаться с ней, ни разу не взглянувшей в его сторону. Спустя минуту ее, очевидно, окликнули из дома, и она, глянув туда, а потом все-таки на Петра и кивнув головой так, словно позвала его, поспешила скрыться внутри. В доме ее ждала пожилая пара, занятая укладыванием одежды в кофры и коробки. Приглядевшись получше, Петр увидел, как богато обставлена комната, где происходили сборы: он отметил и старинную люстру, и камин с фарфоровыми часами, и китайскую вазу; прочие детали мешала разглядеть оставшаяся листва. Девушка остановилась на пороге. Судя по жестикуляции действующих лиц, старшие недоумевали, отчего она не участвует в общих хлопотах; девушка слушала молча и вдруг, увидев что-то лишнее в кофре, выхватила это оттуда и, разворачивая на ходу, унесла в глубины дома. Вернулась она с виноватым видом, но ей не попеняли на поступок и она сама стала доказывать что-то, довольно горячо, то и дело указывая на окно (получалось, что - на Петра), словно не была согласна с общим отъездом. "Не хватало только, - улыбнулся Петр, - чтобы тут заколотили какого-нибудь Фирса".

Затем действие перенеслось в дальние, недоступные биноклю помещения, а в этом погас свет.

Судя по всему, на следующий день Петр мог увидеть в загадочном окне снежные сугробы у покинутого дома, и, значит, если он хотел познакомиться с девушкой и раскрыть ее тайну, это нужно было сделать немедленно. Вычислить номер ее квартиры не составляло труда, но он решил не наносить визит, а написать письмо. Тут сразу возникли трудности с обращением: никакие "уважаемые господа" или "леди и джентльмены" не казались ему подходящими для дружеской записки; впрочем, другие строки дались не легче, и рожденное в муках дитя не выглядело красавцем:

"Дорогие соседи!

Прожив долго бок о бок, я не имел чести быть представленным Вам, более того - не ведал о нашем соседстве. Нечаянно мне стало известно о Вашем намерении оставить Ваш чудесный уголок. Я понимаю, что

с этим связаны как естественные переживания, так и обычные бытовые трудности. Не сочтите за дерзость предложение участия с моей стороны в обоих случаях, то есть утешения и физической помощи.

Искренне расположенный к Вам Петр Евланов“.

Столь важное и срочное послание он не мог доверить черепашьей неряшливой почте, а чуть свет сам опустил его в почтовый ящик соседей. Ответ не заставил себя ждать: уже в полдень Петр держал в руках диковинный конверт с прозрачной вставкой и даже с почтовым штемпелем, на котором ничего нельзя было разобрать, кроме даты. Загадав, что если текст будет написан женской рукой, то из страны они уедут вместе, он дрожащей рукой достал сложенный втрое листок. Машинописный текст гласил:

“Дорогой Петр Евланов,

весьма признателен за Вашу горячую готовность помочь в хлопотных и спешных сборах. Тронутый Вашим вниманием, я, вероятно, огорчу Вас сообщением о том, что не только малейшие приготовления в дорогу закончились накануне, но и машина подана, и в момент чтения Вами этой записка мы будем далеко от Ваших краев. Искренне сожалею, что нам не довелось встретиться.

Искренне Ваш М. Кронин, эсквайр“.

Петр невольно поднял глаза на окно: не верилось, что за аккуратными шторами скрывается брошенная квартира - никто не уезжает навсегда, оставив дорогие занавеси. Подумав, что они, возможно, поручили кому-то охранять дом, он быстро спустился на улицу, вошел в уже знакомый подъезд и поднялся в лифте. Перед дверью лежал плетеный коврик - такой тоже никто не стал бы бросать. Петр нажал кнопку - звонок прозвучал довольно резко, но никто не спешил отзываться на него. Позвонив еще несколько раз, он уже собирался уйти восвояси, когда из соседней квартиры вышла немолодая расплывшаяся женщина. Петр мгновенно обернулся к ней, спрашивая, не здесь ли живут Кронины. Почувствовав, как в ожидании ответа забило сердце, он удивился себе: что ему до судьбы этой чужой семьи, если квартиру скоро займут новые жильцы, а пейзаж в окне останется прежним? В последнем он, впрочем, не был уверен.

- Давно их не встречала, - ответила женщина.

- Говорили, будто они съехали вчера вечером, - подсказал Петр.
- Это правда?

Она покачала головой:

- Я бы заметила. Сами подумайте: эти грузчики, брань, топот. Нет, только не вчера.

Пришлось послать Крониным еще одно письмо. Теперь Петр нетерпеливо ждал сумерек. Работа, естественно, не шла на ум; он говорил себе, что дважды виденная издали девушка не интересует его, но понять феномен пейзажа считал своим долгом. Он сейчас дорого бы дал за возможность увидеть странную комнату при дневном свете, но шторы были непроницаемы; вряд ли и вечером найдется кому раздвинуть их. "Вот и останется, над чем ломать голову до гробовой доски, - грустно заключил он и, как и ежедневно, проговорил про себя американскую поговорку: - А ведь сегодня первый день твоей оставшейся жизни". Ему неизвестно было, где он проведет ее, оставшуюся: отъезд был решен и нужные документы лежали в кармане, а Петр все откладывал последний шаг - не из-за тяжести разрыва, а из-за нынешнего труда, который намного быстрее мог бы закончить там, в зазеркалье, но который мог бы пригодиться людям только здесь. Не он один испытывал такие затруднения - вот и те друзья, что провели у него прошлый вечер, и они балансировали на пороге, понимая не только то, что дома не ценят их талант, но и то, что в чужой земле придется распорядиться последним по-новому - или не распорядиться вовсе.

Вчерашнюю пирушку Петр вспомнил совсем не случайно: он внезапно так упал духом, что теперь ему казалось, будто лишь ее повторение может поправить дело. Колебался он недолго.

- Однова живем, - сказал он по телефону одному из тех двух.

Тот не стал спорить против очевидного.

- Нас уже двое, - сказал вскоре Петр второму.

За столом Петра подмывало рассказать им о своем несостоявшемся приключении, но он думал, что ему не поверят или, посмеются над взрослым мужчиной, исподтишка подглядывающим за девочками; он ничем не мог бы подтвердить свой рассказ, оттого что сюжет с отъездом был исчерпан.

- Я сегодня не пью, - предупредил первый.

- Все ясно: ты - за рулем, - съязвил Петр. - Управляешь страной.

- Да и я, пожалуй, ограничусь рюмочкой, - поддержал товарища второй гость.

- У нас так не пьют, - не сдавался Петр.

- Пора переучиваться.

- В чем загвоздка, господа? - спросил Петр, имея в виду совсем другое.

- Кто нас гонит?

- Кто нас держит?

- Мы там будем чужими.

- Мы и здесь не свои - мыслящие муравьи под стеклянным колпаком у плебея.

- Выпьем за муравейник на свежем воздухе.

- За это выпью и я.

Петр нарочно не задергивал свои шторы, но другие, на той стороне проезда, были темны и глухи.

- Как ты поступишь со своим трудом? - спросил первого гостя Петр.

- Уже поступил, - недобро засмеялся тот. - Закончил ночью - и сжег утром.

- Боже мой!.. А ты? - почти умоляюще спросил он второго.

- Это будет видно недели через две, когда поставлю точку. Но боюсь, что я окажусь слабее (или разумнее?) - оставлю его в надежном месте до лучших времен.

- Как и я, быть может, - словно оправдываясь, сказал Петр. - Все-таки, на это ушло два года жизни.

“Нет, не стоит им рассказывать, - решил теперь Петр. - Я, видимо, болен: эти ожидания, эти унижительные хлопоты, это одиночество, эти мальчишники... Надо проверить неоднократно, и я знаю, как... Если только не поздно: поди, сыщи, куда укатил этот эсквайр.”

- Быть может, я сумею вывезти рукописи с собой, - задумчиво проговорил он.

- Простой ты, Петя, - засмеялся первый из друзей. - Простой, как песня.

- Вывези хотя бы голову, - посоветовал второй.

Их мужские посиделки давно уже сводились к проведению времени, оттого что все важное было уже решено, мелочи обговорены и мосты сожжены. С другими, с теми, кто оставался в несчастливой стране, им постепенно стало неинтересно встречаться, они жили теперь если пока и не в разных мирах, то с разными точками зрения на единственный знакомый мир - вплоть до полного непонимания друг друга. У Петра почти не осталось совсем вещей, которые для него что-нибудь значили бы здесь; к числу их, немногих, теперь прибавилось окно напротив.

Окно засветилось и в этот вечер, словно ничего не произошло накануне. Простой глаз по-прежнему различил только крупные цветовые пятна и ясно было то лишь, что взгляду открылась не обстановка жилой комнаты, а нечто иное; это могли быть и фотообои на голой стене, и даже изображение с наружной стороны штор. Биннокль же показал безотрадную подробную картину: Петр разгля-

дел знакомую лужайку, искореженную гусеницами, и груды мусора на месте дома.

Теперь Петр сделал то, что должен был бы сделать в первый же вечер: несколько раз сфотографировал пейзаж аппаратом с телеобъективом. Когда стемнело и наблюдение стало невозможным, он приступил к проявлению; удивительные результаты этого не были для него неожиданными: на снимках он увидел комнату с низким потолком и дешевыми обоями, всю мебель которой составлял пустой книжный шкаф в углу; освещалась она сиротливой лампочкой на коротком шнуре. И все же, разглядывая свои заурядные фотографии, Петр ощущал чье-то присутствие в изображенной комнате; казалось, что, подержи он снимки в ванночках подольше, на них непременно проступило бы чье-нибудь лицо, и он даже знал наверно, чье - не знакомой уже девушки, а будущего хозяина жилья, обритого наголо юноши с безумными глазами.

“Пить надо меньше“, - сказал себе Петр.

Наутро ему вернулось его собственное письмо с пометкой о выбытии адресата, но вовсе без штемпеля. Теперь в истории если и оставалось что-либо существенное, не понятное Петром, так это необходимость сноса крепкого дома; прочие неизвестные - имена и географические названия - больше не имели значения. Тем не менее, ему хотелось оставить себе о ней какую-то память - конечно же, не снимок бесхозной московской комнаты (скоро и его квартире предстояло стать таким же пустым скворечником).

В этот день окно напротив открылось позднее обычного, когда Петр уже решил было, что его наблюдениям пришел конец. Бинобль предъявил ему все ту же картину разорения, но теперь и здесь чувствовалось чье-то присутствие, неведомое предвестие движения. Подождав немного, Петр увидел приближающегося мужчину. Вскоре стало возможным и различить черты: это Петр подходил к развалинам.

Носком сапога он пошевелил обломки - под кусками дерева и штукатурки попадались пустячные уцелевшие предметы: парфюмерные флаконы, пустая рамочка от фотографии, чайное блюдце. Петр поднял было нателный латунный крестик на гайтане и хотел оставить себе, но вспомнил, что носить чужой крест - не к добру: кто знает, какое бремя ты взваливаешь на душу. И тут он увидел то, что искал - перочинный нож. Петр осмотрел его - нож легко открывался и был хорошо заточен.

Он долго стоял, рассматривая вещичку со всех сторон. Солнце, между тем, стремительно западало.

ИЕРУСАЛИМСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ

Владимир Ханан

НА ЧУЖОМ ЯЗЫКЕ

Мой телевизор в Иерусалиме принимает программы пятидесяти каналов - количество, насколько я знаю, не предельное. Израильские "Хадашот", "Итоги", "Вести", Си-эн-эн, Би-би-си и т. д., и т. п. - событие, случившееся в самом глухом уголке планеты, в тот же день становится известным всему миру. А еще есть пресса и радио. Современный мир в достаточной степени открыт, в достаточной степени понятен и в достаточной степени предсказуем (хотя бы в общих чертах).

На фоне этой понятности кажется странным, даже загадочным отношение мира западноевропейской, христианской цивилизации к Израилю.

Общепризнанный культурный форпост Запада на Ближнем Востоке ("единственная демократия в регионе" и т.п.), он тем не менее рассматривается западным миром как неправая сторона в арабо-израильском конфликте. Даже в общем благосклонная к нам Америка, считающаяся посредником между сторонами, тоже постоянно оказывает давление главным образом на Израиль. В чем причина такой пристрастности?

Почему цивилизованное руководство и общественное мнение Западной Европы и США с явной необъективностью относятся к сторонам еврейско-арабского спора? Почему они голосуют за резолюции, осуждающие вынужденный постоянно защищаться Израиль, покровительствуя при этом Арафату, чья деятельность как террориста в прошлом и казнокрада в настоящем хорошо им известна? Почему территориальные претензии, чье историческое обоснование сомнительно, из всех стран мира предъявляются только Израилю, который и без того обделен территорией?

Кажется, что это происходит по трем причинам.

Первая - по-моему, не самая главная - нефть. Точнее сказать,

дешевая нефть (дорогой нефти очень много и в США). Эта причина, несомненно, существует, однако я не склонен преувеличивать ее значение.

Значительно большую роль играет психологический фактор не-меркантильного порядка. Европейская, христианская гуманность (а сегодняшнее христианство, в отличие от средневекового, по-настоящему гуманно) требует от человека Запада становиться на сторону слабого. С христианской точки зрения - в силу причин исторических, религиозных и ментальных - мы, евреи, даже будучи унижены, даже по временам убиваемые, - могучая сила. Не в одной только тотально неграмотной России считают, что мы правим миром. Это - во-вторых.

В-третьих. Почему президента Милошевича предадут суду международного трибунала, а правителей племени хуту или Иди Амина, проливших моря крови, в том числе и детской, не предадут? Почему, скажем, Бэби Доку или людоеду Бокассе даже предоставляют убежище на своей территории? Происходит это потому, что образованные европейцы сегодня, в конце XX века, хорошо понимают, что их европейская, христианская цивилизация - не единственная в мире, что есть иные цивилизации, говорящие на ином, требующем понимания и уважения языке.

Поэтому они не судят Амина или Бокассу, для которых поедание политических противников естественно, но судят европейца Милошевича, говорящего со своими судьями на одном, как им кажется, языке. Поэтому они не требуют и от России отдать Финляндии захваченный в результате агрессии Карельский перешеек с Выборгом - она их просто не поймет. Но, к тому же, может взять ядерную дубинку и... последствия предсказуемы. Они не требуют от Арафата (по крайней мере, жестко), чтобы он отчитался, как он использует полученные от них деньги. Потому что, с их точки зрения, восточный лидер не может не путать казну с собственным карманом. А с Израиля как сильной, здоровой демократии они требуют всего: и возврата территорий, и прав человека, и солидарности с западным миром, и гуманного отношения к действительным и потенциальным врагам, и еще многого другого, как бы забывая, что Израиль - всего лишь маленькая страна, в которой демократия далеко еще не установилась, да к тому же постоянно подвергающаяся агрессии.

Я утверждаю, что винить в этом нам следует самих себя: мы говорим с западным миром на их языке и играем свою смертельно

опасную игру по не нами установленным правилам. Главная трудность - в нас самих, потому что мы делаем это по собственной инициативе. Европейская часть нашего общества, присвоившая себе право говорить от имени Израиля, позволила международному сообществу говорить с нами на их языке.

Действительно, нет сомнения, что идеологический багаж израильской элиты уже на протяжении нескольких поколений состоит из представлений, основанных на христианской, европейской традиции: здесь можно углядеть отголоски “Хабеас корпус...”, французских энциклопедистов, “Декларации прав...”, толстовства и т. п. Даже Библия входит в этот набор не в собственно еврейском толковании, а в том варианте, который делает ее неотличимой от христианской. Культура израильской интеллигенции роднит ее с интеллигенцией европейской. Но если для француза, немца или итальянца - это и есть его национальная культура без уточнений, то для еврейского интеллигента (в том числе и израильянина) это ценность, которая в огромной своей части не имеет ничего общего с культурой его народа и в еще меньшей мере - с культурой его национального государства. Таким образом, израильская интеллигенция европейского образца не является национальной интеллигенцией в собственном смысле слова. Ее национальная беспочвенность очень сближает ее с русской интеллигенцией, также выросшей на высокой заимной культуре. (В этом смысле обе они и не являются защитницами национальных интересов, что так легко понимается нами в отношении России.) Типичный израильский интеллигент легко мог бы преподавать свой предмет, физику, скажем, или французскую литературу (да, впрочем, и еврейскую мистику, почему нет?), в Оксфорде или Гейдельберге. Ему только трудно самому вжиться в ту действительно своеобразную систему мышления, которая характеризовала (и формировала) ментальность его народа на протяжении стольких веков и делала его отличным от других.

Необъективное отношение к нам со стороны внешнего мира (стоит вспомнить резолюцию ООН, приравнивающую сионизм к расизму!) проистекает не из-за каких-то наших грехов, а потому лишь, что евреи непохожи ни на один другой народ. У нас своя, не похожая на другие, религия. У нас необычная судьба. И в истории нет прецедента, который дал бы шаблон, по которому мир мог бы проверить свое отношение к нам.

В разных странах евреи говорили на разных языках, и часто ка-

залось, как, например, в Испании или в Германии, что они говорят не хуже (а в России мы даже уверены, что лучше) коренного населения. Испанский и германский опыт ныне известен всем, российский еще не очевиден только тем, кто ничего не хочет видеть. Пора бы нам понять, что с окружающим миром следует говорить на своем языке, языке своей цивилизации. Потому что непонимание возникает не из-за нашего национального эгоизма или субъективности, а именно из-за нашей внесубъектной позиции, которую невозможно защитить.

Европейский интеллигент - француз, итальянец, немец - дитя христианской цивилизации, логично говорит нам: отдайте захваченную вами Иудею (хотя сам не отдает свою, таким же образом захваченную землю - он к ней уже привык). Как давно надо захватить землю, чтобы она стала "своей"? Кто-то способен определить? Неужто полковник Лоуренс и английское министерство колоний, посадившие в Иордании хашимитского короля? Или товарищ Сталин с Труменом, выработавшие назло Британской империи резолюцию ООН в 1947 году? На тот раз они договорились, и это стало якобы международным консенсусом. Кто признал этот консенсус? Для европейца, которому все равно, этого и вправду достаточно: "умер-шмумер - лишь бы был здоров". Говорящий на его языке европейский интеллигент-израильтянин вынужден был согласиться: "Правильно, чужое надо отдать". Но ни одна арабская страна до Анвара Садата не приняла этого консенсуса.

Люди, глубоко погруженные в еврейскую традицию (в глазах европейца, что в Израиле, что за границей, - "средневековые мракобесы"), не принимают этой аргументации: для них это не чужое, а захваченное у них чужими: по еврейским законам отдать другим народам территорию Эрец Исраэль - преступление. Для них историческая давность не имеет значения: земля как была, так и осталась наша, а захватчики - мусульмане или крестоносцы - приходят и уходят... Кстати, историческая давность не имеет значения и для мусульман. И фундаментальные мусульманские требования сформулированы на присущем им категорическом языке, который просто в грош не ставит современные политические условия.

Но умелые арабские правители научились правильно жонглировать западными стереотипами, которые, впрочем, обязывают их лишь до тех пор, пока не сталкиваются с их жизненными интересами.

Как решается эта межцивилизационная проблема? Представьте себе, как решится межнациональная склока в доме, где живут де-

сять христианских семей и одна еврейская, если судьями будут христиане, а в еврейской семье, кроме деда-талмудиста, есть еще внук, окончивший Сорбонну и написавший докторат по Киркегору. Добро бы еще талмудист спорил с соседом - доктором философии, а то ведь его передовой оппонент и в нечистую силу верит, и убежден, что дед ненароком кровь христианских младенцев употребляет.

Вопрос совсем не в том, отдавать или не отдавать что бы то ни было - это все равно решается практической политикой, давлением великих держав, экономическими интересами и мало зависит от нашей воли и представлений о справедливости. Вопрос для нас гораздо более принципиальный: готовы ли мы признать справедливой логику, которая, в сущности, пренебрегает нашим правом на существование. Отдать под дулом пистолета, может быть, и можно все, что угодно. Но признать это справедливым означает признать право сильного и принять как должное следующую за таким признанием коррупцию сознания. Ведь разговор о захваченной земле не может кончиться на Иудее и Самарии. Потому что и вся остальная территория Израиля (как и всех остальных стран) с определенной точки зрения захвачена. Во всяком случае, она досталась нам в результате войны. Никто теперь не хочет вспоминать, кто эту войну начал и почему. Смотря как мы и окружающие народы к этому вопросу относимся.

Для мусульман исторического времени тоже не существует. И раз пророк взлетел однажды на небо в Иерусалиме, значит, может быть, Иерусалим навеки принадлежит им. Или наоборот?

Можно, конечно, считать, что эта земля нами захвачена, а можно считать, что эта земля наконец-то впервые освоена. Известно ведь, что Палестина много веков была самой захудалой и заброшенной провинцией Османской империи. И никто на нее не претендовал. Потому, собственно, евреев и впустили в Палестину. А еще раньше сюда переселили черкесов, как и мы, бежавших от России. Может быть, Палестина - черкесская земля! В современном плюралистическом мире можно провозгласить что угодно. Но не всякая точка зрения легко ложится на общепринятые стереотипы. Сионизм легко укладывался в стереотипы XIX века. Западный мир вступает в XXI век. А арабский мир стоит еще обеими ногами в XVIII-м. И совсем не гарантировано его поступательное движение в желательном нам направлении.

Здесь и обнаруживается, что наша проблема в ее глубине есть

проблема политического языка. Политический язык - это совсем не то, что язык слов.

Читая книгу об истории европейского рыцарства, я увидел, как долго - в течение веков - и с каким трудом христианская церковь пыталась примирить идею войны (в те времена непрекращающегося, естественного, так сказать, состояния христианского государства) с христианской - в данном контексте - заповедью "не убий". Это было не просто, можно сказать, что до конца это и не было сделано, но последствия и силу этой работы мы наблюдаем сегодня воочию, видя "точечные" бомбардировки исключительно военных объектов противостоящего Западу противника и слыша тот хай, который поднимается в западных СМИ, когда натовская бомба случайно попадает в иракцев, мирно ликующих по поводу взрыва в американском посольстве и гибели гражданских людей. Так христианская цивилизация вырабатывала свой политический язык.

Политический язык западно-христианского мира есть язык, основанный на специфических религиозных представлениях, традициях, этике христианства, прошедший огранку многовековым опытом межнациональных, межгосударственных, межконфессиональных отношений.

Исламский мир в международном общении также использует свой собственный язык - язык исламской цивилизации - независимо от того, нравится он кому-нибудь или нет. Независимо от того, каким образом этот язык воспринимается и интерпретируется Западом. В свою очередь, Запад воспринимает этот язык как нормальный, естественный для мусульманского мира, для этой цивилизации.

Еврейское государство, отличающееся от Запады - если учитывать все многообразие его реалий - не меньше, чем страны ислама, разговаривает и с Западом, и с Востоком не на своем, а на чужом (именно, западном) языке, не подходящем для этих целей. То есть не отражающем адекватно специфику еврейского государства и народа. Этот язык мало подходит для общения с Западом, ибо Израиль находится в совершенно иных, отличных от западных стран, условиях, и уже совершенно не подходит для диалога с Востоком, ибо этим политическим языком Израиль не в состоянии защитить свои, отличные от западных, интересы и решить свои, также отличные от западных, проблемы.

То обстоятельство, что этот язык принят Израилем добровольно, делает нашу позицию еще более ущербной. В частности, это ис-

ключает сочувствие к нам со стороны того же Запада. Если еще учесть галутную по происхождению и не исчезнувшую в собственном государстве тягу евреев быть католичнее самого римского папы, становится понятным, почему довольно гуманный Запад воспринимает неестественное, ненормальное положение Израиля как нормальное и естественное. Живущий в условиях безопасности (относительной, но все же неизмеримо большей, чем у Израиля), западный мир может позволить себе непонимание наших очень специфических проблем. Мы же позволить себе этого не можем.

Характерно, что политический язык Западной Европы и Америки достаточно гибок: он вовсе не исключает жестких реакций на вызовы собственным интересам. Фолклендская война, бомбардировки Триполи и Багдада - более чем яркие тому примеры. Израилю же в его переговорах с Асадом, аргументы которого артикулируют "катюши" "Хизбаллы", или с Арафатом, взрывающим пассажирские автобусы, предписывается безграничная терпимость, переходящая в смирение. Забавно, хотя и объяснимо, что Запад именно от иудейского государства требует христианского по духу поведения. Почему-то не они, а мы должны подставлять вторую щеку.

Создается впечатление, что христианский мир или по-прежнему ненавидит евреев (сейчас, может быть, скорее на подсознательном уровне), или - возможен и такой вариант - просто не в силах понять, почему мы держимся за какие-то жалкие клочки земли, якобы имея реальную (то есть финансовую) власть на биржах Нью-Йорка, Лондона и Цюриха... Что для них, в самом деле, какой-то жалкий Хеврон с пещерой Махпела? Чай, не Вестминстер, не Лувр...

Израильская политическая элита изо всех сил пыжится представить Израиль в глазах европейского мира европейским, цивилизованным государством. Этот самообман следует признать естественным: можно сказать, что израильская политическая элита действительно живет как бы в Европе или Соединенных Штатах.

Правый премьер-министр Нетаниягу обязался выполнять губительные с его точки зрения соглашения Осло с не признающим никаких норм Арафатом, потому что Израиль - якобы цивилизованная страна. Ливан же, заключивший с Израилем мирный договор, разорвал его, как только в Бейруте сменилось правительство. Даже ребенку понятно, что договор с Арафатом может оказаться

столь же пустой бумажкой в случае, если его наследник передумает. В чем состоит цивилизованность - в том, чтобы не замечать этой возможности? Со всех точек зрения подобное поведение считается безответственным и, боюсь, бесперспективным.

США, Англия и Франция тоже, конечно, как и Израиль, заключают договоры с тоталитарными режимами. Но обратите внимание: все эти договоры заключаются фактически с позиции силы. То есть в случае невыполнения договора демократические страны (это не декларируется, но подразумевается и понимается обеими сторонами) в состоянии силой заставить партнеров выполнять принятые обязательства. Невыполнение этих договоренностей никогда не ставит под угрозу само существование этих (западных) государств. В отличие от них, Израиль не в состоянии поступать таким же образом без огромного риска. Рискую помимо самого своего существования и осуждением со стороны гуманного и цивилизованного западного мира.

Еврейской религии - иудаизму - в течение почти двух тысячелетий не приходилось решать вопросы межгосударственных отношений. Но из этого следует, что необходимый для решения этих вопросов язык должен быть создан (или, в случае, если он существует в недрах еврейской традиции, обновлен и приспособлен для сегодняшних нужд).

Как всякое современное государство, Израиль имеет свою военную доктрину, свою концепцию обороны. Военная доктрина государства есть, в другой системе образов, язык, на котором государство собирается говорить во время войны. Свою военную доктрину Израиль не копирует с европейских или американского образцов, ибо всякому видно различие в их и нашем военном положении. И адекватность этого языка проверена в течение пятидесяти лет. Почему же мы копируем их язык в ситуации почти военной? В ситуации не мира, а, в лучшем случае, перемирия? Так же, как и наша военная доктрина, наш политический язык должен быть основан на специфических - Израилью, а не Европе или США - присущих особенностях.

Израиль не обделен ни светскими интеллектуалами, ни религиозными мудрецами. Им, этим людям, если они, конечно, хотят, чтобы наш народ продолжал жить на этой земле, необходимо создать и научить нас социально-политическому языку, основанному на ценностях иудаизма и учитывающему все многообразие реалий современного мира. Кому должна принадлежать инициатива - Из-

раило религиозному или Израилю светскому? Я думаю, она должна принадлежать Израилю патриотическому.

Один из крупнейших иудейских авторитетов современности - рав Кук - считал, что иудаизм, будучи творческой религией, не должен превратиться в собрание окаменевших догматов, но должен постоянно отвечать на вызов времени. Если интеллектуальная элита Израиля возьмет на себя этот нелегкий труд, то в Израиле будет построено современное, основанное на ценностях иудаизма, по-настоящему цивилизованное государство с учитывающими еврейскую культуру конституцией и демократией. А собственно, почему у нас не должно получиться то, что получилось у японцев, прекрасно увязавших принципы западной демократии с традиционными ценностями буддизма и синтоизма?

Государству Израиль пятьдесят лет - миг по историческим меркам. Руководство Израиля может быть более или менее умным, но у него отсутствует то, что можно назвать "культурой власти". И у нас, молодых и немолодых граждан молодого государства, нет "культуры гражданства", ибо создать собственную мы еще не успели, а вывезти ее из стран исхода - будь то Румыния, Польша или Болгария; Марокко, Тунис или Алжир; Мексика, Эфиопия или Россия - мы не могли по причине отсутствия оной по указанным адресам.

Как сказал философ, за короткое время не создается национальный разум. По-видимому, и "культура государства" не создается за полвека. Вопрос заключается в том, успеем ли мы приобрести эту культуру.

Сыграет в этом процессе положительную роль моя статья или нет, я не знаю. Боюсь же только одного: ее непреходящей актуальности.

„ИЗРАИЛЬ-50“

Впервые вся история Еврейского Государства за 50 лет. Главные и второстепенные события: войны; борьба с террором; экономика и культура; люди, чьи имена вписаны золотыми буквами в историю государства: скандалы, всколыхнувшие общественность.

Праздничный альбом, 160 цветных страниц.

В Израиле – 87 шек. В Америке – 37 долл., включая пересылку.

В Европе – 30 долл., включая пересылку.

Издательство „Меркур“, ул. Дов-Хоз, 11/7, Тель-Авив.

Эдуард Бормашенко

ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ПРИСТРАСТИЯ ЕВРЕЙСКОЙ МЫСЛИ

Эстетическое явление - это нечто столь же
очевидное, столь же непосредственное,
столь же неопределимое, как
любовь, вкус плодов, вода.

Х-Л. Борхес

Стиль мышления - ускользающий от зубодробительных философских определений и за версту различимый. В самом деле, что такое хороший интеллектуальный вкус? Может быть, мы узнаем о его существовании, лишь только наткнувшись на оскорбляющую органы восприятия безвкусицу? А. Ф. Лосев писал, что о существовании таких свойств, как безрукость и безухость, мы знаем потому, что у кого-то, все же, есть руки и уши. Верно ли, что о стиле мы узнаем лишь только по его отсутствию? Открыв, скажем, солидный журнал или толстую свежеизданную книгу (мне доступны русско-, англо- и ивритоязычные издания, на более широкие обобщения не претендую), мы немедля изумимся нагромождению опечаток, помарок и сразу же оценим прежний неторопливый издательский стиль, почти совершенно исключавший подобную неряшливость. Мы стали часто мыться, приятно пахнуть и употреблять тонны зубной пасты, но вот интеллектуальная нечистоплотность стала явной приметой времени. Кое-как слепленные тексты, на живую нитку подобранные научные данные, липовые патенты - никак не свидетельствуют о большом интеллектуальном стиле конца тысячелетия, скорее о всепроникающем белом шуме, заглушающем ростки неспорченного вкуса. Тексты Платона, Раши или Рамбама и через столетия опознать не составит труда, стиль - не выдумка шарлатана.

Бюффон явно не шутил, сказав: стиль - это человек. Витген-

штейн тоже не только эпатировал философское общество фразой: “этика и эстетика - одно и то же”. Вкусовые, эстетические, стилистические предпочтения столь плотно вплетены в ткань нашего мышления, что выдирать их по нитке весьма затруднительно, тем более, если речь идет о такой материи, как мышление еврейское, не однородное во времени и пространстве. Даже талмудический стиль мышления вовсе не однороден, ибо составление Мишны и Талмуда заняло не одну сотню лет и впитало влияния самых разных школ. В последние годы усилиями Адина Штейнзальца и философов Бар-Иланского университета удалось оформить в привычной для европейского слуха манере представление о еврейской интеллектуальной стилистике. Настоящая работа - не более чем комментированное изложение некоторых их идей. Для вящей научной убедительности следовало бы сосредоточиться, скажем, на “интеллектуальной эстетике” периода Мишны, в ущерб наукообразию я не стану себя ограничивать той или иной эпохой. Выигрыш в общности всегда идет рука об руку с опасностями утери предмета разыскания. Взяв в расчет угрозу свалиться в безответственный треп, начнем с предметов как нельзя более конкретных: с принципов комментирования классических еврейских текстов.



Имеющиеся в нашем распоряжении рукописи Талмуда и Мишны содержат подчас серьезные текстуальные противоречия. Мое воображение поразил применяемый в этих случаях принцип выбора наилучшего из вариантов, иными словами - правило отбора текста, в максимальной степени близкого оригиналу. Истинной признается версия наиболее запутанная и непонятная. Английская поговорка “too good to be true” всего лучше объясняет суть дела: уж больно гладкий вариант выглядит подозрительно. Этот принцип, на первый взгляд, противоречит всему строю мышления, принятому сегодня в науках точных. Я физик, занимался и инженерным ремеслом, и меня с молодых ногтей приучали к тому, что наиболее короткое и прозрачное решение задачи и есть решение “красивое”, изящное. Обостряя эту мысль, знаменитый танковый конструктор, автор “тридцатьчетверки” Кошкин говаривал: лучшая из возможных деталей - эта та, которой нет. Из двух в равной степени верных решений господствующая интеллектуальная эстети-

ка велит считать красивым наиболее простое. Так меня учили, так я учу студентов. Эта эстетическая оценка находится в полном согласии с принятым по умолчанию современным естествознанием принципом, именуемым бритвой Оккама, рекомендующим “не делать большим того, что можно сделать меньшим”, и предписывающим всемерную экономию умственных усилий. Теория Птолемея весьма запутанным образом все-таки объясняла движение планет, коперниковская концепция выглядит предпочтительной именно потому, что она проще, а стало быть красивее. Теория относительности тоже изящней теории эфира, ибо обходится без избыточных предположений и связанных с ними мыслительных напряжений.

Математикам очень хотелось бы превратить принцип простоты во всеобщий эстетический закон, распространив его и на мир искусств. Анри Пуанкаре озвучивает этот подход отточенным и недвусмысленным пассажем такого содержания: “чувство изящного в математике есть чувство удовлетворения”. Такое эстетическое удовлетворение находится в связи с экономией мышления. Подобно этому, например, кариатиды Эрехейона кажутся нам изящными по той причине, что они ловко, и так сказать, весело, поддерживают громадную тяжесть и вызывают в нас чувство экономии силы.

Талмудическая интеллектуальная эстетика не терпит подобного подхода, ибо не результат а процесс учения самоценен, сами напряжения и усилия - высшая цель постижения. Парадоксальным представляется то, что при всем вышесказанном среди народов мира за евреями закрепились в общем-то справедливая репутация людей дела. Где-то я прочитал емкое определение “еврейский практический идеализм”. А дело в том, что эстетика учения и эстетика действия в традиционном мышлении сильно рознятся. Так, если несколько человек вовлечены в реализацию некой мицвы, наибольшей похвалы удостоивается завершающий ее претворение в жизнь.

Вызывает изумление тот факт, что мицвы привести народ в землю, текущую молоком и медом, согласно традиции удостоен Иегошуа Бин-Нун, а не Моше. Фигуры Моше и Иегошуа представляются несоизмеримыми по значимости, но завершить дело дано Иегошуа (Раши в своем комментарии делает в этом месте логическое ударение), а значит именно ему предназначена Вс-вышним мицва ввести евреев в Израиль.

Вернемся к эстетике минимизации интеллектуальных усилий: гуманитариям принятый талмудистами принцип отбора истинной текстовой версии кажется абсолютно естественным. Вполне вероятно, что здесь и пролегает одна из границ между “точным” и “гуманитарным” мышлениями, принцип сбережения сил вовсе не кажется историку или филологу ни самоценным, ни эстетически оправданным. У Пастернака не случайно: “впасть, как в ересь, в неслыханную простоту”.

Эдак в два-три хода разделаться с принципом простоты нам, разумеется, не удастся. Представление о гармонии, развитое еврейскими мудрецами, содержит и представление о том, что совершенное не может в себя включать избыточного, так, комментируя Тору, они исходят из того, что текст Писания не содержит ничего лишнего. Но обратите внимание: речь идет о самом тексте, а не о усилиях по его постижению; комментарий вовсе не обязан быть прост и доступен неискушенному уму, “невежде не постичь, глупцу не понять” (Тегилим, 92). Эйнштейновское: “Вс-вышний изощрен, но не злонамерен” ведь тоже относится к замыслу Тв-рца о мире, а не к затратам сил, необходимых для проникновения в этот замысел.

Становится понятным, отчего Талмуд сохраняет все версии рассуждений, в том числе и отвергнутые. Стилистический разрыв между современным интеллектуальным почерком и талмудическим рассуждением неустрашим. Представляя выстраданный научный результат, кто не заботился о том, чтобы “следов пота не было видно”. Я уж не говорю о школьной науке, тщательно скрывающей от ученика борьбу идей и загоняющей в детскую голову вылизанные и причесанные ученые достижения.

Ранее уже отмечено: выражение “еврейский стиль мышления” почти невозможно нагрузить смыслами в силу пространственной и временной неоднородности интеллектуальной стилистики иудаизма. Однако талмудическое уважение к самому разысканию истины, а не к конечному ее словесному оформлению, очень долго удерживало свои позиции во всем еврейском мире. Мы написали море книг, но обратите внимание: до конца XIX века никому не приходило в голову составить упрощенный Талмуд или сокращенный “Шулхан Арух”, энциклопедию или краткий словарь иудаизма. “Кицур Шулхан Арух”, по которому даже не слишком сведущий еврей мог быстро добраться до интересующего его галахического решения, оказался, по-видимому, более революционной

книгой, чем замышлял его автор - рав Шломо Ганцфрид. Наконец-то появился Талмуд для домашних хозяек. Чего греха таить, ежели мне лень разбираться в подробностях дискуссии, пылавшей в Академиях Суры и Пумбедиты в шестом веке, и разбираться в том, что думали об этом споре Раши, Рамбам и Виленский Гаон, рука привычно тянется к "Кицур Шулхан Арух", там-то я быстро найду искомое. С моей точки зрения подобная смена стиля мышления (по сути сближающая традиционный подход с современным европейским) суть явление вовсе не безобидное и кризисное, заслуживающее отдельного разбора, выходящего за рамки этой статьи.

Каждое искусство стремится быть музыкой,
которая не что иное, как форма.
Х-Л. Борхес

Различие почерков традиционного еврейского интеллектуализма и современного естествознания носит и более глубокий характер. Порядок принятых современной наукой интеллектуальных приоритетов, помимо наиболее простого решения, велит считать наиболее красивым самое общее из предложенных решений. Конечно, при выборе общего решения есть и прагматический момент, оно может оказаться полезным и в еще не рассмотренном частном случае, но невозможно отрицать и чисто эстетический аспект дела, более всего выраженный в математических исследованиях. Математик вкусово, не заботясь об утилитарной стороне дела, предпочтет наиболее формализованное решение.

Довольно неожиданным образом этот пункт нашего рассуждения связан с предыдущим. Послушаем Германа Вейля: "На протяжении десятилетий математика прямо-таки упивалась всякого рода обобщениями и формализациями. Однако считать, будто она стремится к общему ради общего, значит неверно понимать заключенную здесь здоровую тенденцию. Дело обстоит иначе: любое естественное обобщение *упрощает* (курсив Г. Вейля), сокращая допущения, и тем самым позволяет понять определенные стороны некоторого необозримого целого". По Вейлю, обобщение и упрощение неотделимы друг от друга. Подметим, что в иврите

прилагательные “абстрактный” и “простой” передаются одним словом - муфшат.

Стилистика же талмудического мышления всегда предпочтет частное решение общему. Стоит вспомнить принцип: “из общего не учат”, иудаизм настаивает на различении сущностей и предписывает мыслительные процедуры, ведущие к максимально тонкому их расщеплению. Но традиционный интеллектуальный канон еще и потому всегда выскажется в пользу частного перед общим, что он по сути своей моделирован. Изучавший Талмуд сталкивается с виртуозным манипулированием моделями, развитым мудрецами разных поколений. Как отметил профессор Дов Беркович, “модель всегда в достаточной степени ограничена, и область ее применимости не может простираться до бесконечности”, модель представляет собою обобщение более ограниченное, нежели привычное абстрагирование.

В этом смысле мне кажется, что талмудический подход много ближе методу, принятому в физике, нежели в математике. Один хороший эксперимент на удачно выбранной модели с легкостью необычайной опрокидывает самые шикарные и изысканно формализованные математические построения. К сожалению, культура специфически-натурфилософского подхода к проблемам в последнее время оказалась подмята громадой действительно впечатляющих математических достижений. Наберусь окаянства высказать предположение, что явный застой в физике последнего времени связан именно с непостижимой эффективностью математики в естествознании. Чары математики могут быть и губительны. Мы как-то подзабыли то, что мир вовсе не обязан описываться наиболее формализованной из возможных концепций.

Вейль и Борхес, разумеется, правы: максимальное абстрагирование и есть предельное упрощение, и это цена, которую мы вынуждены платить за возможность познания, но не случайно Толстой протестовал в “Крейцеровой сонате” именно против музыки, граничном, по Борхесу, способе существования искусств. Великий “опрошенец” интуитивно чувствовал опасность предельной формализации послания, внедряемого в душу искусствами. Создается ощущение, что “зеркало русской революции” бросало пророческий луч на Владимира Ильича, внимающего “Апассионате”, и на освенцимские оркестры. В уже затопленном музыкой XX века нотное бесчинство развернется в “Заводном апельсине” Берджеса. До последнего предела этот подход за-

острили любавичские хасиды, охотно поющие свои песни на мотив “Марсельезы” и прочих революционных гимнов. Известно, с каким подозрением традиция относится ко всякому внешнему культурному влиянию. Музыка же, по-видимому, представляется хабадникам столь абстрактной, настолько рафинированной, чистой, вырожденной формой, что и опасности от нее никакой исходить не может.

В хасидизме неприятие абстрагирующих процедур приобретает эмоциональную окраску и коренится в том, что хасид любит Б-га, любя других людей, в том числе и самого себя. Живущий же - несравним, и идущий к другому человеку с усредняющим топором заодно губит и свою возможность понимания Вс-вышнего. Человек должен сохранять верность самому себе, своему неразложимому, сокровенному Я. “Берегись, твой кучер - опасный, испорченный человек, - сказал Баал Шем-Тов ученику. - Я видел, как он прошел мимо церкви и не перекрестился. Если он не любит своего Бога, с чего он полюбит тебя?” (цит. по книге: Эли Визель, “Рассыпанные искры”).

Хасидская интеллектуальная эстетика, доверяя человеку, полагается на его религиозные интуиции, формируя интуитивно-конкретное мышление, и вполне в духе классического иудаизма с подозрением относится к осреднению и абстрагированию. Ни литовский иудаизм, ни сефардская ортодоксия, ни хасидизм не создали изощренных, формализованных теологических схем, подобных христианскому богословию. Один из ключевых хасидских текстов “Тания” - бесспорно, теологический труд, но в нем нет и намека на злоупотребление богословской терминологией. Парадокс состоит в том, что в еврейском мышлении предельно абстрагированная концепция Б-га мирно уживается с заостренно предметным мышлением, творческая, продуктивная сила подобного сочетания - огромна.



Профессор Элиягу Зини в одной из работ, посвященной логике Талмуда, обратил внимание на то, что в Талмуде вы не встретите ни одного определения. В самом деле, привычные и милые нашему сердцу пассажи, вроде : “окружностью называется множество точек, равноудаленных от данной”, вовсе не встречаются в Гмаре. Отсутствие определений в принятом смысле этого слова не позво-

ляет проводить совершенных, безупречных с логической точки зрения доказательств. В современной науке есть тонкая, но бесспорная граница, отделяющая понятия “доказать” и “показать”, так вот мудрецы, по-видимому, не верили во всемогущество точных дефиниций и доказательств, и всякий раз предпочитали не определять термины, а показывать, демонстрировать на моделях истинность своих рассуждений.

Станным образом эстетика Талмуда в этом случае становится весьма близкой эстетике современного рационализма. Самые блестящие умы, представлявшие в XX веке рациональное мышление, Бертран Рассел и Карл Поппер, не жалели ни сил, ни бумаги, обличая веру в эффективность наилучших определений, справедливо возводя истоки этой научной религии к Аристотелю и фиксируя кульминацию у Гегеля. Жонглирование дефинициями и есть схоластика в скверном смысле слова, позволяющая к тому же вытаскивать из философской шляпы наперед заданного кролика.

С эстетикой новейшего рационализма мышление мудрецов сближает и его отмеченная выше модельность, ибо модельные рассуждения удовлетворяют выдвинутому Поппером принципу фальсифицируемости. Согласно Попперу, критерием продуктивности, творческого потенциала концепции является принципиальная возможность ее опровержения. Во всех талмудических студиях основополагающий принцип состоит в том, что мнение мудреца старшего поколения (как более близкого к истине) не может быть оспорено хахамим последующих поколений. Так, мнение Таная (20-200 гг. н.э.) не может быть опровергнуто Аморой (220-500 гг. н.э.). Этот подход, казалось бы, вовсе не оставляет простора для фальсифицирующих процедур. Однако всякий, изучавший Гмару, знает, что филигранное расщепление модельных ситуаций позволяло Амораям настолько развивать подходы мудрецов более ранних поколений, что впору припомнить попперовскую фальсификацию. Порой после дискуссии от первоначальной концепции почти ничего не остается.

Но здесь стоит поговорить о загадочном “почти”. М. Блюменкранц рассказал мне о том, что слово “развитие” в современном значении в русском языке впервые применил Карамзин, ранее же оно означало развитие множества веревочек из цельного каната. Именно в этом первоначальном смысле можно говорить о развитии в Гмаре: базис, основа, Тора остаются неизменными, неотменимыми и нефальсифицируемыми.

Это “почти” в самом деле иногда едва уловимо. Приведу пример, недурно, по-моему, иллюстрирующий суть дела. С философской точки зрения, хасидут со своею апелляцией к простому человеку, чистому сердцу и неистовым мессианизмом с трудом отличим от христианства, и все же хасидизм остался в доме Якова, и Йешу был отвергнут, несмотря даже на готовность христиан включить Ветхий Завет в число священных книг. Мне кажется, что в конечном счете хасидизм оставили внутри иудаизма именно эстетические, вкусовые предпочтения, включающие в себя, с одной стороны, воспроизводящуюся из поколения в поколения традиционную систему символов и знаков, а с другой - интеллектуальную стилистику. Как сказал Гершом Шолем, хасидим в конце концов научились говорить на языке, внятном ортодоксальному Израилю. Язык же этот в широком смысле слова включает и эстетику талмудического мышления, предполагающую развитие именно в докарамзинском смысле слова, то есть восхождение на новые уровни понимания, не пресекающее исходного ствола, связующего поколения.

Почерк талмудического мышления сыграл не последнюю роль в деле сохранения необщего выражения лица еврейского народа. Штейнзальц заметил, что в общинах, терявших связь с Талмудом, терялась и связь с иудаизмом вообще. Во времена гонений именно Талмуд вызывал острейшую же эстетическую неприязнь антисемитов, часто подчеркивающих “иссушающий рационализм еврейской веры”. В русскоязычной среде нередки обвинения иудаизма в излишней рассудочности, холодности, рациональности. Действительно, иудаизм не предполагает того, что основы веры могут быть правильным образом определены, но сохраняет уверенность в том, что нам дано и предписано к истине приближаться. Более того, бескорыстный поиск истины и составляет смысл существования. И в этом весьма глубоком смысле слова наша вера - рациональна.



Штудии, предпринятые мудрецами различных поколений, базируются на том, что Тора дана нам для понимания и говорит с человеком доступным ему языком, с другой стороны, Адин Штейнзальц, анализируя мыслительные приемы талмудистов различных поколений, подчеркивает принцип: “логика Торы и логика балабай-

та“ - две совершенно различные вещи. Речь здесь о предостережении вот какого рода: нельзя автоматически переносить наши профессиональные интеллектуальные ухватки (выработанные физиками, филологами или сапожниками) на выведение умозаключений из текста Танаха. Любопытно, что для постановки добротного мышления Декарт в “Рассуждении о методе“, напротив, советует учиться, скажем, у обойщиков, других ремесленников, занятых рутинной работой.

Анализируя собственные интеллектуальные отмычки, я обнаружил, что на мои нынешние вкусовые предпочтения в немалой степени давит пристрастие к разного рода симметриям и непрерывностям. Это неудивительно: роль симметрий в современном научном познании столь громадна, что избавиться от ее (иногда подсознательных) влияний едва ли возможно. Эстетическая среда, в которой мы обитаем, также переполнена симметриями. В христианстве пристрастие к симметриям узаконено антитезами: святое-грешное, свет-тьма, ад-рай.

Размышляя о чем-либо, я ловлю себя на невольном манипулировании мыслительными приемами, коренящимися в неосознанном поиске симметрий. Последовательному монотеизму, разумеется, претит подобная интеллектуальная эстетика. Агнон рассказывает такую притчу: жили два брата Иссахар и Звулун, Иссахар всю жизнь посвятил изучению Торы, Звулун же, удачливый купец, обеспечивал брату возможность, не заботясь о хлебе насущном, отдать все дни учению. Однажды Звулуну по делам торговым пришлось на два дня задержаться за морем, и он не смог доставить брату-мудрецу вовремя пропитание. Иссахару пришлось оторваться от Книги и заработать на жизнь. Придя на последний Суд, братья изумились решению Творца: Звулуну вся его жизнь была зачтена как праведная, кроме тех двух дней, когда он не доставил брату средства к существованию (и это, в общем, понятно), но вот брату цадику в дни праведной жизни были зачтены лишь те сутки, в которые он зарабатывал себе на хлеб сам. Печаль братьев была безмерна, и Вс-вышнему пришлось расширить Ган-Эден, дабы дать место обоим. Видно, как эстетика целого здесь преодолевает эстетику симметрий.

В талмудических поисках истины почти не встречаются мотивы, связанные с симметриями. Позднее хасидизм, справляясь с противопоставлением “добро-зло“, скажет о том, что зла и вовсе не существует. Мысль мудрецов, скорее, ищет иерархии, дающие

представление об образе целого. Неповторимое своеобразие стиля Талмуда состоит в сочетании ранее отмеченного предельно тонкого дробления проблемы с тем, что в современной философии называлось бы удерживанием гештальта, целостности картины.

Рамбам, говоря об описанном Пророками “грядущем мире”, пишет о том, что глубоко заблуждается тот, кто думает о мире, который будет. Нет, “грядущий мир” существует здесь и сейчас (ср. у Тарковского “грядущее свершается сейчас”), просто мы в силу ограниченности интеллекта не в силах в него заглянуть. Интуиция Маймонида преодолевает уютное симметрическое членение времени на “прошлое-будущее”. Каббалистическая философия тоже не знает привычного со времен Платона западному уму разбиения мира на реальный и идеальный, относя и предметы и мысли о них к “миру действия”. В то же время Каббала дает тонкую иерархию уровней бытия.

Уже в новое время рабби Шнеур Залман из Ляд, комментируя стих: “нет никого, кроме Него” (Дварим, 4:39) сказал, что “это означает не только то, что другая сила или божество не могут существовать, но и что не может быть никакой другой действительности” (Адин Штейнзальц, “Творящее слово”).

В современной философии это преодоление симметрии Мераб Мамардашвили назвал “запретом на удвоение мира”. Здесь мы возвращаемся к разговору о еврейском реализме. Признание иудаизмом реальности, как единственно данной, в немалой степени послужило оформлению эстетики “практического идеализма”, о котором мы говорили выше.

Помимо симметрий, мое профессиональное мышление ищет непрерывности. Точки разрыва вызывают у ученых вначале смутное, а затем нарастающее беспокойство. Палеонтолог недоволен собой и своей наукой до тех пор, пока не выстроит в ряд все черепа человекообразных от обезьяны до Homo Sapiens. Отсутствие хотя бы одного из черепов вызывает внутренний зуд. Спать спокойно можно лишь при наличии всех промежуточных звеньев. Эволюция должна быть непрерывной. Действие на расстоянии в физике уступило место опять же непрерывной полевой картине. Мысль о том, что свойства веществ должны меняться непрерывно, заставила Менделеева оставить пустые клетки в таблице элементов, и Менделеев оказался прав. Всякая новая теория хороша лишь в том случае, если предыдущая концепция окажется ее предельной разновидностью.

М. Илиаде писал, что подобная интеллектуальная эстетика коренится в домонотеистическом, архаическом мышлении. Архаическому мышлению свойственна непрерывность метаморфоз, превращений: человек с легкостью превращается в бога, бог в человека. Иудаизм порывает с этой непрерывностью. “Между Б-гом и Авраамом зияет бездна, полный разрыв непрерывности” (М. Илиаде). Иудаизм, придумав историю, отказывается и от непрерывности времени: время не только имеет начало и конец, в нем есть и особые, выделенные точки: скажем, праздная Песах, мы находимся в особой временной лакуне, выходя из Египта.

Еще одно наблюдение, относящееся к несшиваемости научной и талмудической систем постижения мира. Помимо непрерывностей, наука велит выполнять все действия “в одном приближении”. Бессмысленно шлифовать точность измерения одного из параметров системы, если точность всей процедуры в целом будет загублена другим, не столь точным прибором. Любопытно, что этот принцип оказывает подспудное влияние и на эстетику современной педагогики. Считается, что ученикам бессмысленно излишне углубляться в некий раздел, если смежные вопросы еще не освещены достаточно глубоко. Религиозные предпочтения выстроены иначе. Как сказано выше, усилие по изучению Торы самоценно, поэтому нередко можно встретить ученого талмудиста, глубочайше постигшего некий раздел Гмары, и весьма поверхностно ориентирующегося даже в близлежащих главах устной Торы. В “Пиркей Авот” рассказана такая характерная история: после смерти один из мудрецов предстал перед верховным Судией. Ему был задан вопрос: достиг ли ты в выполнении какой-нибудь заповеди совершенства. Мудрец задумался и пришел к выводу, что едва ли; быть может, в выполнении одной лишь заповеди о пожертвованиях он в самом деле был неплох (мудрец, о котором идет речь, славился исключительной щедростью). Суд согласился с ним, и ворота райского сада раскрылись.

Думаю, что мне удалось показать: эстетические приоритеты научного творчества и талмудизма покоятся на разных основаниях. Скорее можно утверждать, что этические системы науки и еврейской учености вполне совместны, обе предполагают бескорыстный поиск истины. Рабби Менахем-Мендл из Коцка говорил, что заповедь “не укради” в первую очередь подразумевает: не укради у самого себя, не укради у себя Истину!

Меня всегда умиляли лекторы, доказывающие, что между наукой и религией противоречий нет. Сильнейшие напряжения пронизывают все время сосуществования наук и веры. Характерная история произошла недавно: один из израильских ведущих археологов затратил немалые усилия в поисках следов царства Давида. Танах и устная традиция по сей день остаются единственными доказательствами величия и процветания давидова государства. И вот уважаемый профессор перерыл пол-Израиля и пол-Египта и практически ничего не нашел. Эстетика научного знания велит свести к минимуму область недоказанного (в научном понимании слова!), и профессор, ничтоже сумняшеся, опубликовал в прессе примерно следующее: царство Давида было незначительным племенным княжеством, не оставившим в истории заметного следа. Реакция официального религиозного Израиля не заставила себя долго ждать. Брань понеслась со всех сторон. И завершилась.

Любопытно, чего ожидали от ученого наши духовные вожди? По-видимому, он должен был подбросить в раскопки недостающие черепки, и удовлетворить тем самым требования религиозного населения страны. Мне бы хотелось иного: во-первых, меньшей категоричности от ученого, в его работе не слишком часто встречаются обороты “на сегодняшний день нам кажется” и “я полагаю”. Строго научная картина мира ведь так непостоянна. А во-вторых, понимания того, что давидово царство никак не может быть со “строго исторической точки зрения” малозаметным, уже по одному последствию, следу, оставленному в развитии цивилизации в целом. А вот уважаемым раввинам неплохо бы понять, что ученый обязан быть честен и не имеет права украсть у себя и других истину. Глубокое уважение к истине, а не стремление оскорбить чьи-либо религиозные чувства направляет его поиск. Конфликт мог бы стать и конструктивным, плодотворным, если бы стороны осознали, что под истиной они имеют в виду совершенно разные вещи.

В конечном счете эстетические напряжения в зазоре “наука-вера” неизбежны и без принудительных “сшивков” едва ли устранимы, но как и всякие прочие напряжения могут быть мощным творческим фактором до тех пор, пока по спорным вопросам не выносятся постановления компетентных научных или религиозных органов.



Януш Корчак, оказавшись в бесчеловечной ситуации, выбрал свое правильное решение из ощущений почти музыкальных и из чуткости, которую хочется назвать эстетической.
А. Воронель "Трепет забот иудейских"

В заключение не удержусь от некоторых обобщений, касающихся еврейской эстетики "вообще". Уже цитированный витгенштейновский монотеистический выкрик: "этика и эстетика - одно и то же" служит мощным генератором интерпретаций. Предложу свой, "теологический" вариант: грозный еврейский Б-г - нормативен. Еврейская мораль - не есть "общественный договор", ее источник абсолютен, внеположен. Вс-вышний ответственен и за ход вещей во Вселенной, быть может нам не всегда и внятный. Трудность, возникающая в последовательном монотеизме, связана с проблемой свободы воли: если все заранее определено, то как же я должен предпочесть добро злу, где же место для моего свободного выбора? Наши вкус и стиль и есть предоставленный нам выбор. Рабби Рашаб приводил такую притчу: после смерти душу, взошедшую на последний Суд, судят дважды. Один раз ее спрашивают, почему ее обладатель не выполнял заповеди и не воздерживался от нарушений, второй - если уж он должен был нарушить, то почему не сделал чего-нибудь красивого. То есть, эстетика - в решающей степени дело рук человеческих и замкнута на наш свободный выбор.

Талмуд (Таанит, 20б) рассказывает: "случилось, что рабби Элеазар выехал из дома своего учителя на осле и совершал прогулку вдоль берега реки. И был он весел, и закоснело сердце его, потому что он изучил много Торы. И повстречался ему человек уродливый необыкновенно. Сказал ему: "мир тебе, учитель". И не ответил ему рабби Элеазар, а сказал: "Глупец, а урод-то какой! А что, все люди твоего города такие же уроды как ты?". Тот сказал ему: "я этого не знаю. А ты ступай и скажи искуснику, который меня сделал: "как безобразен этот сосуд, Тобою созданный!". Понял рабби Элеазар, что согрешил, и сказал: "Удручил я тебя, прости же меня". И когда добрался до дома учения, так толковал случившееся: "Пусть человек всегда будет мягким, как тростинка, а не твердым, как кедр". Полное погружение в мир Торы не спасает рабби Элеазара от эстетического оскорбления, нанесенного уродом (более то-

го, Талмуд подчеркивает: учение притупило добрые чувства рабби), вкусовая реакция остается в полной мере определена свободным выбором ученого. Недостаток доброты предстает явлением исключительно эстетическим!

Самое красивое, что может существовать для религиозного еврея - свиток Торы, превращается в "эфкер", бесхозное, малоценное имущество, если его не касаются человеческие руки, если свиток не читают. Тот же самый свиток - прекрасен, когда мы достаем его в Субботу для недельного чтения. Я далек от мысли, что мне удалось окончательно разобраться с проблемой свободы воли, да плох тот еврей, который не мечтает стать Рамбамом.

Как выглядит ангел смерти и куда исчезают надоевшие жены,
убийство премьер-министра при помощи каббалы
и секреты преуспевания бизнеса –

читайте в новой книге

Я К О В А Ш Е Х Т Е Р А

**ШАХМАТНЫЕ ПРОДЕЛКИ
БИСКВИТНЫХ ЗАЙЦЕВ**

«Это – нетривиальная проза...»

– считает Дина Рубина.

«...Богом дарованный талант...»

– пишет Анатолий Алексин.

*«...Шехтер возвращает нас к главному, во имя чего
вообще существует истинная литература...»*

– утверждает Эфраим Баух.

«Он любит и умеет искать свое слово...»

– отмечает Григорий Канович.

230 страниц, 25 шекелей

Заказы по телефонам: 08-9457588, 050-927768

КРИЗИС ЛИБЕРАЛИЗМА

Александр Мелихов

ОТ РЕЛЯТИВИЗМА К ЗАКОННОСТИ, или ОТ ГОРДЫНИ К СУТЯЖНИЧЕСТВУ

В последние десять лет национальный вопрос, можно сказать, вошел в каждую семью и школу, и решение его, пожалуй, теперь больше зависит от воспитателей, чем от полководцев. Но воспитатели и сами в этих делах сущие дети, они понятия не имеют, чью сторону принять в тех национальных конфликтах, в которых борющиеся стороны апеллируют сразу к нескольким противоборствующим священным принципам. Слияние народов в единой цивилизации – звучит заманчиво. Сохранение самобытности малых народов – и это чарует слух. Право меньшинства самому определять собственную жизнь – что ж, справедливо. Право большинства сохранять в неприкосновенности границы своего государства и равновесие социальных сил внутри него – тоже вроде бы заслуживает внимания...

Но когда под благородными лозунгами льется кровь, все понемногу начинают впадать в многожды слыханную простоту: у одних нарастает ненависть ко всем вообще нововведениям (“пусть каждый сидит, где сидел”) – зато у других начинает зреть мечта о каких-то бескровных юридических методах, которые могли бы положить конец этим вечным кровавым спорам. К числу страстных апологетов юридического метода принадлежала и Галина Васильевна Старовойтова. И когда в 1999 году в Петербурге вышли в свет сразу две книги Галины Васильевны, я принялся за них с тайным желанием присоединиться к каждому ее слову.

В первой книге “10 лет без права передышки”, состоящей из выступлений и газетных статей, самым отрадным мне показался мотив утраты иллюзий, без которого невозможно расставание с утопизмом – тоталитарным, национальным, интернациональ-

ным, – с любым утопизмом, – то есть стремлением, не зная сомнений, руководствоваться каким-то монопринципом, не уравновешенным целым веером его отрицаний: любой благородный монопринцип – та сила, что вечно хочет блага и вечно совершает зло.

В своем выступлении на Конгрессе российской интеллигенции приблизительно десять лет спустя после своего звездного взлета Старовойтова уже говорила о трагических противоречиях не только “плохих” стран с “хорошими”, но, увы, и “хороших” с “хорошими”: “Многим правозащитникам казалось, что там, позади железного занавеса, существует высшая справедливость. И достаточно разрушить этот занавес – тоталитарный режим, – и мы соединимся в единой мировой цивилизации, все будет в порядке. Сегодня мы знаем, что не все так просто, у всех есть национальные интересы”.

После этих невеселых, умудренных опытом взрослой жизни слов чрезвычайно интересно вернуться на десять лет назад к выступлению Старовойтовой “Права народов и государство” на декабрьском 1988 года заседании “Московской трибуны” – помните такую? В этом выступлении уже сформулированы все основные идеи, которые только более подробно аргументируются во второй книге Старовойтовой “Национальное самоопределение: подходы и изучение случаев”, написанной в 1995 году на английском языке в Уотсоновском институте международных исследований Университета Брауна. Выступление начинается с цитат из Ленина и Горбачева по поводу вечного конфликта между обществом и государством, средством разрешения коего является демократия, и подводит нас к следующему итогу: карабахский конфликт есть часть более фундаментального конфликта между обществом и государством, а решение Карабахского областного Совета о переходе под эгиду Армении есть результат взыскиваемой политической деятельности “трудящихся” – все осе-нено цитатами вождей, значит все делается как надо. Более того, “идеальный государственный механизм призван обслуживать нужды гражданского общества (высокое призвание!). Общества с хорошо развитыми горизонтальными связями, высокой ролью общественного мнения в качестве регулятора социального поведения; общества, состоящего из людей, обладающих гражданскими добродетелями ... Не является ли нация (особенно в современном сверхорганизованном и централизованном государ-

стве) наиболее естественным и живым организмом, на основе которого и может возродиться гражданское общество? А если государственный механизм призван обслуживать нужды гражданского общества, то не следует ли признать в качестве общего принципа, что права народов – в том числе право наций на самоопределение – выше ценности государственности, в том числе и идеи государственного суверенитета?“ Вопрос риторический. “Следует“, – считает Г. Старовойтова.

Рассуждение это столь похоже на правду, что вполне заслуживает высокого звания софизма. Все, вроде бы, так и есть. В нациях (и особенно часто в национальных меньшинствах) действительно более развиты горизонтальные связи – но всегда ли это те связи, которые создают гражданское общество? Ведь в нациях, хранящих древние традиции, эти связи очень часто противоречат таким важнейшим параметрам гражданского общества, как равенство перед законом, равенство в конкурентной борьбе во всех сферах человеческой деятельности: принцип “пусть похуже, зато наш“ является совершенно органичным для очень многих национальных как меньшинств, так и “большинств“. Горизонтальные связи, закрытые для чужих по крови, не только не могут служить зародышем гражданского общества, но способны даже сделаться препятствием на пути к нему. Высокая роль общественного мнения – звучит тоже завлекательно; но если это общественное мнение одобряет или, по крайней мере, относится терпимо к торжеству феодальной иерархии, к набегам на соседние народы, к работорговле, к кровной мести, а любое обращение к современному законодательству европейского типа презирает как измену заветам отцов, – такое общественное мнение служит, скорее, тормозом в движении к гражданскому обществу. И тем более – служит барьером на пути к единой мировой цивилизации.

Хотя кто сказал, что движение к единой цивилизации чем-то лучше, чем распадение на племена, не признающие над собой никаких универсальных законов? Это идеалист Кант мечтал объединить человечество под властью единого закона, а мы же релятивисты: “Будучи на уровне требований конца XX века, мы просто должны признать равноценность и уникальность каждой культуры, то есть того (стиль не мой. – А. М.), что в этнологии и в культурной антропологии называется “принципом культурного релятивизма“. Этот принцип говорит об относительности всякой культурной позиции, культурной шкалы и о понимании возможности существова-

ния другой культуры“. Суждение для нас, представителей европейской цивилизации, более чем азбучное. Хуже то, что среди народов, чью равноценность мы готовы признавать и даже защищать, есть немало таких, которые от всей души ненавидят релятивизм как свинское равнодушие к высочайшим ценностям, сами исповедуя старую добрую преданность исключительно собственным богам и стремясь распространить их власть до тех пределов, до которых достанет физических сил. (Разумеется, я имею в виду лишь пассионарное ядро этих народов.)

Возникает некоторый парадокс: во имя национальной терпимости мы должны защищать права народов на национальную нетерпимость, из уважения к национальным особенностям оправдывать работорговлю, пытки, публичные казни, а понадобится, так и канибализм, – или мы не релятивисты?

Но без парадоксов не обходится ни одно великое учение – вернемся лучше к более скромным задачам: отметим фактические неточности в исходном рассуждении Г. Старовойтовой. Отметим для начала, что сепаратистские устремления любого национального меньшинства порождают прежде всего не конфликт общества и государства, а конфликт одной части общества с другой его частью – то есть один из таких конфликтов, для бескровного разрешения которых и существует государство. Государство, увы, далеко не всегда стремится удовлетворить обе стороны... Но надо понимать, вместе с тем, что никакое решение не будет принято проигравшей стороной (а то и обеими), если у государства не окажется достаточно мощных средств принуждения, как материальных, так и моральных, которые сделают невозможным вооруженное противостояние или хотя бы более мягкие (и все же суровые!) формы вытеснения ненавистных либо просто нежелательных чужаков. Таким образом, конфликт между обществом и государством, о котором пишет Г. Старовойтова, есть в огромной степени продолжение конфликта внутри самого общества. А государственный механизм призван (высокое призвание!) обслуживать нужды общественного целого, а не какой-то, пускай даже обиженной его части. Более того, из-за противоречивости нужд общественного целого, из-за противоречивости нужд его частей даже самое справедливое и гуманное государство всегда стоит перед трагической обязанностью беспрерывно подавлять одни частные потребности во имя других: при любом его выборе какие-то общественные группы все равно окажутся ущемленными.

Но Г. Старовойтова, похоже, не до конца различала трагическую суть социального бытия, означающую, что ни в одном серьезном конфликте не может быть непогрешимо правых: безоговорочная победа любой стороны влечет за собой непредсказуемые опасности. Поэтому ни один социальный принцип не может быть поставлен выше другого: мы обречены вечно искать компромисс равно священных, но противоречащих друг другу требований и вечно нести ответственность за неустранимое несовершенство нашего выбора. Ибо любой наш выбор неизбежно окажется несправедливым по отношению к какой-то части поправленных принципов (а то и ко всем вместе). И, в частности, право на самоопределение не может быть поставлено ни выше, ни ниже права существующих государств на сохранение их суверенитета (нерушимости границ).

Два эти важнейших принципа вступают в противоречие на каждом шагу, и, как правило, суверенитет существующих государств считается более важной ценностью до тех пор, пока борьба между самоопределяющимся национальным меньшинством и стремящимся сохранить статус-кво, а то и расширить свое влияние большинством не достигнет накала, еще более опасного, чем потенциальные катаклизмы, которые может повлечь за собой изменение границ. И взвесить эти опасности заранее, пока они еще не подошли к критической черте, я думаю, в принципе невозможно: эту черту придется определять в каждом конкретном случае заново, причем ждать единства мнений по этому вопросу – дело совершенно безнадежное. Любой суд, которому будет поручена эта миссия, в том числе и специально сформированный суд мирового сообщества, никогда не сможет реализовать никакое свое решение, если, опять-таки, не будет иметь достаточно мощных, материальных и моральных, средств принуждения, которые заставили бы смириться с невыгодным для нее решением обиженную сторону и ее единомышленников. А то и обе стороны – или сколько их ни есть.

Г. Старовойтова надеялась сформулировать такие международные правовые нормы, которые позволили бы определить достаточные основания для национального самоопределения: угроза геноцида, депортации, этническая ассимиляция, непереносимость существующих условий для населения, “историческое право”, свободное волеизъявление всего населения данной территории, последствия для сохранения мира и безопасности в регионе

(способность нового государственного образования контролировать собственные вооруженные силы, деструктивные порывы населения, распадающуюся экономику и т.п.). Критерии эти вполне разумны и, может быть, даже не улучшаемы, но, тем не менее, все они неизбежно допускают – вернее, требуют субъективного истолкования.

Опасность ассимиляции в наше время, быть может, чаще всего угрожает национальному меньшинству в условиях межнационального благополучия, когда инстинкт национального самосохранения расслабляется (теряет бдительность). Угроза геноцида и “непереносимость существующих условий” очень часто возникают именно как следствие национально-освободительного подъема. “Историческое право”, по словам самой Г. Старовойтовой, историками конфликтующих сторон обычно трактуется ровно противоположным образом – в зависимости от того, какой “культурный слой” является главным. Последствия для мира в регионе чаще всего бывают вообще непредсказуемы, но даже и в случае их полной очевидности оценка их плюсов и минусов все равно не может не быть субъективной. И, следовательно, спорной. А потому любому судебному органу, решающему вопрос национального самоопределения, неизбежно понадобятся и средства умиротворения недовольных. Эти средства необходимы и судам, разрешающим конфликты между гражданами одного государства. Но обычный суд отличается от суда международного двумя важнейшими параметрами: во-первых, приданные ему средства принуждения в норме несопоставимо мощнее всего, что способна противопоставить ему недовольная сторона, а во-вторых, моральный авторитет обычного суда как необходимого социального института, моральный авторитет закона, к которому он апеллирует, мало кем оспаривается. С международным же судом ситуация совершенно иная: он не имеет ни подавляющих средств принуждения, ни общепризнанного морального авторитета – как бы он ни был составлен, значительная часть государств будет видеть в нем не более чем диктатуру грубой силы. Даже какие бы то ни было универсальные законы, даже сама необходимость таких законов будет бешено оспариваться как попытка какой-то части стран (скорее всего, стран европейской цивилизации) установить свою власть над миром. А между тем именно европейская цивилизация исповедует принцип, последовательное проведение которого в жизнь делает установление универсальных законов заведомо невозможным: я имею в виду принцип “куль-

турного релятивизма“, позволяющий каждому народу отрицать любые ценности и институты европейской цивилизации, которая пока что в основном и защищает его право на особое мнение. Не забудем: право наций на самоопределение было провозглашено в цивилизованной Европе.

И чтобы мог появиться на свет международный суд, способный обеспечить мятущимся меньшинствам провозглашенное право, должна прежде возникнуть авторитетная и могущественная мировая цивилизация европейского типа, основанная на уважении к правам лиц иной крови, иного языка, иной культуры, иной веры, – то есть именно такая цивилизация, против наступления которой особенно яростно выступают многие из самоопределяющихся меньшинств. Снова парадокс вместо безмятежной истины, снова трагический конфликт разных правд вместо безмятежной правоты: чтобы обеспечить права пассионарных меньшинств, надо их ограничить...

Но означает ли это, что ввиду трагической неразрешимости национальных конфликтов думать о юридическом их разрешении – беспросветная утопия? В запущенной стадии, по-видимому, да: когда конфликт перешел в кровавую фазу, когда каждая сторона успела натворить множество почти неизбежных зверств, превратив себя в воображении противника в бессмысленное кровавое чудовище, компромисс с которым кощунственен; когда отступление и той, и другой стороны угрожает гибелью, как минимум, ее элите, – тогда любое решение любого суда проигравшей стороной будет воспринято как работа на ее врага.

Но это означает лишь то, что юридические механизмы нужно запускать гораздо раньше, еще на стадии диффузного недовольства. Если какому-то национальному меньшинству кажется, что ему препятствуют свободно заниматься законной деятельностью – экономической, политической, культурной, – оно должно иметь средства обратиться к мировому сообществу с жалобой, а мировое сообщество – иметь возможность инспектировать не развалины и поселки беженцев, а школы, клубы, общины, и, если картина окажется неудовлетворительной, – мягко воздействовать на правительства соответствующих стран, не загоняя их в угол, а, скорее, поощряя, стараясь создать ситуацию, при которой компромисс был бы выгоднее обострения. Я не хочу сказать, что это легко или даже всегда возможно, но другого бескровного пути, по-видимому, нет.

Однако для того чтобы юридические процедуры могли быть действованы на ранних стадиях, народам-гордецам, ставящим свою честь выше судебного крючкотворства, должна быть произведена прививка сутяжничества – склонности в конфликтных ситуациях не братья за оружие, а обращаться в суд. И что еще более важно – оспаривать судебные решения юридическим же образом, не осуществляя свою правду в одностороннем порядке самосуда. Без уважения к суду – хотя бы как к необходимому институту – никакие кодексы не помогут. Помните аристократические южные семейства Грэнджерфордов и Шепердсонов в “Приключениях Гекльберри Финна”? Какие-то два их предка из-за чего-то судились (из-за чего – молодежь уже не помнит), и проигравший пошел и застрелил выигравшего. “Да и всякий на его месте поступил бы так же”, – комментирует юный наследник сильно поредевшего рода.

Ясно, что никакой суд не способен примирить Грэнджерфордов и Шепердсонов. До тех пор, пока они уважают только самосуд, вооружать соперников еще и непримиримыми принципами означает с неизбежностью толкать их к взаимному истреблению. Однако мировое сообщество делает именно это, одновременно – во имя релятивизма – отстаивая их право отрицать власть какого бы то ни было суда над собой. Но что делать – мир трагичен, он вынужден служить сразу многим взаимоисключающим целям. Тем не менее накал трагизма понемногу спадал бы, если бы воспитатели исподволь толковали воспитуемым право на самоопределение не как право сражаться, а как право судиться. Бесконечно подчеркивая, что, пускаясь на любые масштабные изменения, мы тем самым вступаем в зону непредсказуемости, что национальное самоопределение даже в удачных случаях все равно может потребовать трудов и лишений, и очень большое счастье – если не крови. Только когда лозунг национального освобождения начнет вызывать не только эйфорию, но и тревогу, воспитатель может счесть свою задачу хотя бы отчасти исполненной.

Помилуй Бог, если читатель вообразит, будто пишущий эти строки стремится опорочить хоть одну из сторон упоминаемых выше и ниже конфликтов: напротив, он исходит из того, что в трагических столкновениях все участники одушевлены самыми лучшими намерениями. Обеими руками я отмахиваюсь и от самомалейшего подозрения, будто я склонен кому-то подсуживать: в таких ситуациях

дозволительно становиться на чью-то сторону только тогда, когда не можешь этого не сделать, когда тебя вынуждает к односторонности либо неодолимая страсть, либо практический долг. К величайшему моему счастью, я свободен и от того, и от другого, а потому меня занимают исключительно принципы, на которые сегодня опирается цивилизованный мир, стараясь как-то разрешать столкновения неосторожно провозглашенных соперничающих прав, кои у него нет возможности обеспечить.

Советская конституция, даровавшая каждому гражданину СССР право на жилье, была гораздо более осмотрительной: ее гарантии прекрасно знали, что только сумасшедший может отнестись к своим правам всерьез. Однако то, что для отдельной личности выглядит безумием, для народов сплошь и рядом оказывается нормой: похоже, и вздыбить-то их способны не реальные выгоды, а только какие-то пьянящие фантомы. И трезвые политики стараются в этих спорах уходить от прямых ответов, пока, что называется, обстоятельства не припрут к стенке, а там уж действуют по обстановке, защищая то самоопределение, то нерушимость в зависимости даже и от того, каким лидером возглавляется то или иное движение.

Бескомпромиссной Галине Старовойтовой эта позиция казалась страусиной, если не лицемерной. В своей второй книге "Национальное самоопределение: подходы и изучение случаев" (СПб, "Лимбус-пресс") она пишет о попытках самоопределения, перерастающих в военные действия, буквально следующее: "В основе подобных конфликтов находится, главным образом, несовершенная реакция международного сообщества, которое не имеет точной руководящей линии для подобных ситуаций. Право людей на *коллективный выбор своей общей судьбы* все еще ожидает своего полного признания" (курсив мой. – А. М.). Сегодня же для дипломатов на первом месте стоят права государства как целого, а не права этносов, проживающих на его территории. Для либералов этносы и вовсе являются племенным анахронизмом в сравнении с правами отдельной личности: комитет ООН по правам человека вообще считает право на самоопределение, как и все коллективные права, расположенным вне своей юрисдикции. Генеральный секретарь ООН Бутрос Гали заявляет, что как суверенитет и территориальная целостность существующих государств, так и принцип самоопределения народов "имеют большую ценность и значение и не должны работать друг против

друга“. Не должны... А что делать, когда они начинают “работать“?

Г. Старовойтова пыталась отыскать для этих ситуаций “точную руководящую линию“. Она не соглашалась с позицией известного американского журналиста, уподоблявшего столкновения между осетинами, грузинами, абхазами, дагестанцами, азербайджанцами, армянами, молдаванами, русскими, украинцами, гагаузами, татарами, таджиками – средневековым племенным войнам. Нет, “люди умирают не столько за свою землю, сколько за сохранение своих уникальных особенностей на земле“. “Сопrotивление гомогенизации“, “попытка сохранить глобальное культурное многообразие и его многоцветную палитру в противовес энтропии серой однородности“, – вот как она определяет источник перегрева прорывающихся то там, то здесь кровавых гейзеров национального самоопределения.

Что ж, сопротивление гомогенизации дело бесспорно благое... Впрочем, бесспорно ли? Не проглядывает ли и здесь конфликт равно достойных целей? Г. Старовойтова сама ссылается на мнение Дж. Ст. Милля о том, что этнические различия в стране препятствуют ее движению к демократии, – и, тем не менее, даже не вступая в полемику, продолжает видеть в “нации-этнoсе“ естественный эмбрион будущего гражданского общества. Культурное многообразие вещь безусловно прекрасная, но... и оно имеет оборотную сторону: всякое подобие единой мировой культуры, мирового правосознания и хотя бы относительная управляемость мира не могли бы возникнуть, если бы сотни, тысячи племен не утратили свои уникальные особенности. Еще, можно сказать, вчера на Берлинском конгрессе 1878 года, утрясавшем балканский “салат“ после русско-турецкой войны, британский министр иностранных дел Солсбери особенно страстно защищал права “лазов“, чье название он сумел припомнить лишь с большим трудом. Однако Бисмарк дал себе волю, только когда дело дошло до “куцу-валахов“: “У этого слова есть только одна право – быть вычеркнутым“. Это прекрасно, что великие державы сегодня далеко не так размахисты в своих вычеркиваниях. Но не утопично ли надеяться, что “сохранение своих уникальных особенностей на земле“ всегда и везде – или хотя бы большей частью – может быть добыто без крови или угрозы кровопролития в обозримом будущем? И всегда ли и везде эти особенности окажутся совместимы с мечтой о едином человечестве, без которо-

го громкое понятие “общечеловеческие ценности” так и останется пустым звуком?

Кстати сказать, Великая французская революция – свобода, равенство, братство – предоставила евреям равные права как частным лицам, но не как народу. Нехорошо – зато обошлось без погромов. Подчеркивание национальных отличий в напряженной ситуации, а еще точнее – наложение социального противостояния на национальное может взорвать социальный мир окончательно – в ущерб, прежде всего, меньшинству. Все профессиональные, региональные корпорации и сегодня имеют претензии друг к другу. Но если бы энергетики и газодобытчики отличались еще и разрезом глаз, обычаями и другими уникальными особенностями – страшно подумать, что могло бы стрястись...

Отстаивая свою любимую идею, Г. Старовойтова готова в трагическом конфликте обвинить не того, кто потребовал отдать ему спорный предмет, а исключительно того, кто отказался это сделать: “Именно отрицание самоопределения, а не стремление к нему ведет к конфликту”. “Жертвенная война за справедливость в одной нации (стиль перевода – отдельная тема. – А. М.) неизбежно будет перерастать в агрессивный национализм, сопровождаемый военным насилием и варварскими этническими чистками, до тех пор, пока мировое сообщество не примет в расчет исходные мирные требования национальных групп и мировые силы не станут воздерживаться от обращения с вновь появляющимися нациями на строго юридических основаниях”. “Исходные мирные требования”... Старовойтова словно не слышала горькой в данном случае поговорки “аппетит приходит во время еды”. Но в этом последнем ее пассаже интересно другое: пытаюсь создать юридические основания для национального самоопределения, она заранее призывает мировые силы не обращаться с новорожденными нациями на строго юридических основаниях. Похоже, в глубине души Г. Старовойтова сознавала недостаточность чисто юридического пути и старалась подкрепить свою позицию эмоциональными аргументами.

“Законодательство и, в частности, международное право не всегда соответствуют естественному праву, который (так! – А. М.) основывается на простом чувстве справедливости”. С развитием кодифицированного законодательства общество все дальше и дальше уходит от корней общинного права, то есть речь от тех формах (так!) социального регулирования, которые были санкциониро-

ванными обычаями и основывались на представлении о добре и зле, распространенном в рамках данной культуры. Справедливость сама по себе не является прерогативой только ума; это трансцендентальное чувство, которое подчас находится вне царства логики. Именно поэтому простые люди часто ближе к идее справедливости, чем профессиональные юристы“.

Только уважение к памяти выдающегося деятеля российского демократического движения не позволяет дать этим суждениям их подлинное название: когда в сложнейших вопросах апеллируют к простому, то есть невежественному человеку – резче говоря, к толпе, призывают к суду не по закону, а по совести...

По чьей? В частности, кто должен интерпретировать хотя бы предложенные Г. Старовойтовой достаточные основания для самоопределения – невыносимость существования, историческое право, опасные последствия?

“Даже субъективное чувство невыносимости продолжительного чужого правления, независимо от его объективной основы, должно быть принято в расчет, когда оно выражается в решениях представительного органа или на референдуме народом, считающим себя притесняемым“.

“Несмотря на его уязвимость, принцип исторического права не может окончательно игнорироваться при принятии решений... Коллективное национальное самосознание народа часто переоценивает данный принцип, и принятие этого во внимание может оправдать конечное решение, считающееся справедливым“. Точный смысл последней фразы редактору перевода, по-видимому, ясен, но читающий эти строки лишь догадывается, что, опять-таки, если народ что-то даже и переоценивает, с этим все равно нужно считаться, поскольку простым людям идея справедливости часто открыта лучше, чем мудрым и разумным.

Но хотя бы прогнозировать последствия самоопределения должны профессиональные эксперты? Ведь голод и гражданские войны – очень нередкие плоды решительных шагов к свободе... “Способность создать жизнеспособную экономику и контролировать новую территорию и ее границы должна быть заранее оценена добивающимся суверенитета народом. Иначе, несмотря на прочную независимость государства, появится лишь новый источник напряжения. Объективные стандарты для оценки готовности принять ответственность еще, однако, не выработаны. Иностранные эксперты не всегда могут оценить, насколько готов стремя-

щийся получить независимость народ к экономическим и политическим переменам. Посол США Джин Киркпатрик сказал (так!) автору интервью, что этот критерий – ответственность за последствия – не должен рассматриваться как препятствие к выражению воли нации, потому что “иногда люди могут совершить чудо, которого никто не мог предвидеть”. Можно добавить, что это особенно верно по отношению к людям, осуществившим мечту самостоятельно определить свою судьбу”.

При желании все это можно было бы окарикатурить примерно следующим образом: поверья невежественных людей в надежде на чудо должны ложиться в основу решений, от которых зависит благополучие, а то и выживание целых регионов. Неудивительно, что, по собственному признанию Г. Старовойтовой, ее “толкования прав группы... находятся вне главного течения современного политического мышления”. О последнем дают некоторое представление приведенные в “Национальном самоопределении” комментарии западных политологов и практических политиков.

Нижеследующие суждения Ст. Шенфельда (в другом месте – Шенфилда), коллеги Г. Старовойтовой по Институту Уотсона, будут особенно интересны тем, кто верит, будто все американцы только рады всякому сепаратистскому скандалу, в который так или иначе впутана Россия (стиль перевода, повторяю, сохранен в его первоизданности). “Не то чтобы аргументы гуманности и справедливости находятся полностью на стороне защитников самоопределения народов. Защитники принципа территориальной целостности также не мотивированы только соображениями циничной Realpolitik. К настоящему времени мы являемся свидетелями более чем достаточного числа “этнических чисток”, проведенных в ходе собственного “освобождения” ранее угнетенными народами, будь-то (так!) еврейские колонисты в Палестине, хуту в Руанде или, в конце концов, победившие абхазы и карабахские армяне, для того, чтобы знать, как охотно те, кто борется за самоопределение собственного народа, отрицает такое же право для других. Если открыть дверь для сепаратизма на этнической основе, не окажемся ли мы вовлеченными в бесконечный цикл ревизионистских войн и кровавой мести? Реалистично ли думать, что международное сообщество может достичь своевременного соглашения в определении легитимности всех разнообразных требований на самоопределение, учитывая то, что критерии, пригодные для такого определения, как показала Старовойтова в

предыдущей главе, так трудно применимы и так часто противоречат друг другу?

Вооруженная борьба за самоопределение может подвергнуть риску не только благополучие людей, живущих на территории, за которую идет эта борьба. Сецессионистские лидеры наподобие Ардзинбы в Абхазии и Дудаева в Чечне подвергают опасности и свои собственные народы, ставя их под угрозу геноцидной ярости врагов. Обращались ли с абхазами в Грузии или с чеченцами в советской России действительно настолько плохо в недавнее время (как бы они ни страдали в более далеком прошлом), чтобы оправдать такой риск? Объясняют ли появляющиеся конфликты стремлением к самоопределению, как это делают наблюдатели, разделяющие точку зрения большинства политиков по вопросу о самоопределении, или объясняют их отрицанием такого стремления, как это делает Старовойтова, мне кажется не столь уж важным. Было предсказуемо, что грузинское и русское государство будут реагировать именно таким образом, как они это делали, и вопросом ответственности абхазских и чеченских лидеров было ни перед чем не останавливаться, чтобы предохранить свои народы от катастроф, которые выпали на их долю”.

Далее Ст. Шенфельд-Шенфилд проводит ту все более популярную ныне мысль, что “самоопределение не обязательно может происходить в форме строительства этнонационального государства или территориального сепаратизма... Этнические группы могут получить правовые, конституционные и даже международные гарантии своих культурных, лингвистических и социально-политических прав. Для обеспечения их представительства в парламенте могут быть установлены специальные квоты, а в районах, где они компактно проживают, им может быть предоставлена административная автономия. Они могут получать преимущества от различных видов симметричных или асимметричных структур федеративного государства.

...В идеале нашей целью может стать создание модели инициатив, которые и поощряет государство к охране основных прав этнических меньшинств (или, по крайней мере, наиболее важного права – права уцелеть), и, в то же время, будут препятствовать этнические меньшинства от стремления (так, так!) к полному самоопределению при доступности других каналов для защиты их прав. Государства, предоставляющие этническим меньшинствам основные права, получили бы искреннюю зарубежную поддержку в их

борьбе против террористов-сепаратистов... а государства, которые отрицают основные права меньшинств, знали бы, что делая это, они подвергают риску международное признание своей территориальной целостности“.

Это уже на что-то похоже: не вооружать соперничающие стороны священными лозунгами, а подталкивать их к компромиссу как угрозой кнута, так и вполне реальными пряниками. И делать это задолго-задолго до того, как конфликт войдет в горячую фазу. Создавать побудительные мотивы к миру – похоже, это и есть “главное течение современного политического мышления“.

Можно сделать еще немало выписок, чтобы читатель убедился, что буквально ни один политический деятель из отобранных Г. Старовойтовой (беседы с ними – едва ли не самая интересная часть книги) не видит возможности обеспечить право на самоопределение посредством какой-то автоматической, осуществимой при всех обстоятельствах юридической процедуры. Но наиболее интересными мне представляются все-таки слова самой Галины Старовойтовой, практически завершающие книгу: “Я согласна с тем, что отделение не является единственным путем для самоопределения“. После заявления 1988 года – в форме риторического вопроса: не следует ли признать, что право наций на самоопределение выше идеи государственного суверенитета, – этот итог говорит о серьезности проделанного пути.

И все же, когда задумываешься, отчего так мало блистательных “демократов“ горбачевского призыва удержались в лидерах большой политики хотя бы на протяжении десяти лет, – одна из причин напрашивается сама собой: утопизм. Недопонимание трагической природы социального бытия, уверенность, что в этом мире можно быть правым – можно вознести какой-то излюбленный монопринцип над принципами-соперниками.

Тогда как даже самое целебное вещество в чрезмерной дозировке становится ядом. А жизнь – сумбурная, неотесанная, грязная – яды иногда все-таки отторгает. И, что особенно обидно, нередко избирает орудием отторжения глупую корыстную толпу, которая ни по уму, ни по нравственным доблестям не годится утописту в подметки: кто был Лев Толстой – и кто его преследователи, стоявшие на страже государственного порядка!

Понимавшие, впрочем, как нужно держаться с гением: все наши тюрьмы не вместят вашей славы, граф! Тогдашние охранители изредка позволяли себе казни на площадях, но до убийств в подь-

ездах додумались только босяки, шагнувшие в политику. Которая, благодаря участию этого контингента, почти перестала быть политикой, превратившись в череду стрелок, терок и разборок. Поэтому убийство Старовойтовой язык не поворачивается назвать политическим: уголовники по самой их природе не способны руководствоваться какими бы то ни было общими принципами – их всегда волнует только шкурный интерес.

Я имею в виду не только тех уголовников, кто спускал курок...

Вышла в свет новая книга
НИНЫ ВОРОНЕЛЬ

„МАЙН ЛИБЕР КАЦ“

(276 стр.)

«...Контрапункт иронии и лирики у Н. Воронель – не случайность, он кроется в природе ее поэтики...»

•
„МОСКВА-ИЕРУСАЛИМ“,
Р.О.В. 44050, Tel-Aviv 61440

•
Цена – 36 изр. шек.
(25 DM для Европы, \$14 для США,
включая пересылку)

Юрий Ранюк

“ДЕЛО УФТИ”

ИСТОРИЧЕСКИЕ КОММЕНТАРИИ К КНИГЕ АЛЕКСАНДРА ВАЙСБЕРГА “ОБВИНЯЕМЫЙ”

ПРЕДИСЛОВИЕ

В 30-е годы УФТИ был одним из самых значительных научных центров Советского Союза. Институт был практически разгромлен волной непостижимых репрессий 1937-1938 гг. При этом пострадало много иностранных ученых, которые в то время работали в УФТИ. Большой размах репрессий, аресты многих всемирно известных как советских, так и зарубежных ученых выводят “дело УФТИ” далеко за пределы события харьковского масштаба - это весомая часть истории мировой физики [1,2].

Начиная с 1962 г. в Харьковском физико-техническом институте регулярно отмечались юбилейные даты по случаю образования института (1928) и осуществления первого в СССР расщепления атомного ядра (1932). По этому поводу в Харькове собирались торжественные заседания, проводились конференции, на которых ветераны науки делились своими воспоминаниями. При этом две темы всегда тщательно обходились: работа в институте иностранных специалистов и репрессии среди ученых.

В 1998 г. в киевском издательстве “Феникс” вышла книга Ю. Ранюка, Павленко и Ю. Храмова “Дело УФТИ”, посвященная событиям 1937-1938 гг., написанная в результате обработки архивов бывшего КГБ [3].

Еще раньше на ту же тему были опубликованы книги участников тех трагических событий, бывших уфтинцев, которые чудом уцелели в сталинской мясорубке и смогли написать свои воспоминания.

Одна из них - книга Александра Вайсберга [4].

В 1951 г. в Лондоне была также опубликована книга другого уфтинца, Фридриха Хоутерманса (в книге Вайсберга он зашифрован под именем "Физель"). Это книга о методах извлечения знаний в застенках НКВД.

1. ВВЕДЕНИЕ РЕЖИМА

1 декабря 1934 г. директором УФТИ был назначен никому ранее не известный Семен Абрамович Давидович. Ко времени своего назначения директором УФТИ он не только не имел никаких научных степеней, но и не опубликовал ни одной научной статьи.

В начале 1935 г. Советом Труда народного комиссариата тяжелой промышленности институту впервые были поручены технические разработки военного характера: мощные генераторы коротких волн, кислородный прибор для высотных полетов, авиационный двигатель, работающий на жидком водороде и др.

Для обеспечения полной секретности научно-исследовательских работ институту было предложено:

1. Пересмотреть личный состав института и
2. Ввести ряд ограничений и мероприятий по обеспечению неразглашения сведений о проведении секретных работ. Соответствующие указания получили Харьковский обком партии и областное управление НКВД.

Протокол N 91 закрытого заседания бюро

Областного комитета КП(б)У от 14 октября 1935 года

Слушали: Об Украинском физико-техническом институте.

Отметили: Значительную засоренность Украинского физико-технического института классово-враждебными и контрреволюционными элементами.

Постановили: В связи с этим считать необходимым провести чистку института, в связи с чем поставить вопрос перед ЦК КП(б)У и Наркомтяжпромом о выделении специального представителя для участия в проведении очистки института от классово-враждебных элементов.

Секретарь обкома Мусульбас

Тут под "засоренностью" подразумевалось в первую очередь наличие в УФТИ известных зарубежных ученых-антифашистов, которые совсем недавно были приглашены для работы в институте,

стали его гордостью и которые в воображении НКВД довольно быстро превратились из физиков и химиков в шпионов и террористов.

Харьковское управление НКВД и обком партии начали разработку мероприятий, которые обеспечивали режим секретности. УФТИ стал превращаться в прообраз будущих “почтовых ящиков”.

Вокруг института была возведена стена, появилась проходная с вахтером, работникам института выдали пропуска. Появился режимный отдел с обитой жостью дверью и окошечком для общения с сотрудниками.

Научные работники, а особенно научные руководители, встретили нововведения, мягко говоря, без энтузиазма. Ольга Трапезникова прикрепляла свой пропуск к ошейнику собачки, вместе с которой ходила на работу [2]. Лев Ландау и Фриц Хоутерманс цепляли пропуска к своим спинам, а то и пониже, выражая таким образом свой протест. Началась настоящая война с директором, перипетии которой легли в основу книги А. Вайсберга.

2. КОНФРОНТАЦИЯ

Первым был арестован М. Корец. Друзья не оставили его в беде. В его досье сохранилось письмо, написанное Ландау и адресованное наркому внутренних дел Украины Балицкому, любовно прозванному Николаем Скрипником “гильотиной Украины” (это был заслуженный комплимент):

“31.12.35 г.

Уважаемый товарищ Балицкий!

Обращаюсь к Вам с просьбой вмешаться в разбор дела сотрудника Украинского физико-технического института инженера Кореца, арестованного 28 ноября с.г. Тов. Корец был в течение последнего года моим ближайшим сотрудником. Я хорошо знал его в личной жизни как человека, бесконечно преданного советской власти. Вместе с ним мы поставили себе задачу сделать все, что в наших силах, для того, чтобы сделать науку в нашей стране первой в мире. Я совершенно не могу себе представить, чтобы этот человек мог сделать что-либо враждебное политике партии. Мне не удалось узнать что-нибудь определенное о причинах его ареста. Я не могу не связать его с деятельностью бывшего директора Давидовича. Внутри института Давидовичем была создана атмосфера грязных интриг и грубой травли. Большинство основных сотрудников института считают, что Давидович разваливает институт, и воз-

буждали перед центральными органами просьбу о его снятии. В ответ на это Давидович пытался всюду и везде представить дело так, что сотрудники института борются не с ним, а с порученными институту спецработами. В частности, такие обвинения Давидович распространял по отношению ко мне, и поэтому я с полной ответственностью могу утверждать, что они представляют собой грубую ложь, не имеющую никакого обоснования в реальной действительности. В настоящее время эти возмутительные обвинения отпали со снятием Давидовича и назначением ЦК ВКП(б) на его место Лейпунского. Я не сомневаюсь в том, что Давидович и его помощники могли систематически вводить в заблуждение органы НКВД и, не считая удобным слишком грубо клеветать на меня, старались представить в виде главы заговора моего ближайшего сотрудника и помощника. Вся деятельность товарища Кореца в УФТИ происходила на моих глазах, и я готов в любое время дать исчерпывающие показания по его поводу. Я очень просил бы Вас, если Вы найдете это возможным, предоставить мне случай в личной беседе с Вами переговорить о деле Кореца.

Научный руководитель теоретического отдела УФТИ
Л. Д. Ландау“

Напрасно научные руководители института, включая Вайсберга, обвиняли во всех смертных грехах Давидовича. Ведь это не он, а специальная комиссия обкома и НКВД составила и утвердила перечень мероприятий по обеспечению режима секретности в УФТИ. Помимо усиления охраны и организации секретного отдела, был составлен список лиц, которые не пользовались политическим доверием властей и которых надлежало под разными предлогами уволить из УФТИ. Реализация этих мероприятий, ясное дело, была возложена на Давидовича.

Главная причина конфликта состояла не в учреждении режима секретности - это было следствием. Источником конфликта стало отстранение научных руководителей от участия в военной тематике. Почему так случилось - нам неизвестно. Не исключено, что они сами отказались от участия в работе, которая могла ограничить их свободу творчества. А может быть, их устранили от участия в военной тематике, как таких, что не пользуются политическим доверием. Военная тематика была приоритетной, работникам, которые к ней приобщались, повышалась зарплата.

Институт раскололся на два враждебных лагеря, каждый из ко-

торых имел покровителей за пределами института. Это, с одной стороны, научные руководители, поддерживаемые руководством Наркомтяжпрома в лице Юрия Пятакова, заместителя наркома, и Николая Бухарина - начальника научно-исследовательского сектора наркомата. По другую сторону баррикад находились директор института, партийная и профсоюзная организации, Харьковское управление НКВД и обком партии.

Война распространилась далеко за пределы института. Ведущие научные работники написали письмо в Москву - в Центральный Комитет, где имели своих сторонников, с жалобой на Давидовича, который, не будучи ученым, сидит не на своем месте и ведет институт к полному развалу.

29 ноября 1935 г. приказом наркома тяжелой промышленности С. Орджоникидзе А. Лейпунский был назначен директором УФТИ вместо уволенного Давидовича. Научные руководители УФТИ могли праздновать победу. При поддержке Наркомтяжпрома и ЦК им удалось добиться своего практически по всем позициям. Давидовича на должности директора заменили Лейпунским, Корец был освобожден из заключения и восстановлен на прежней работе.

Лейпунский уволил Давидовича с работы в УФТИ. Вместе с ним были изгнаны и его сторонники в институтской борьбе. С. Давидович, Ю. Рябинин, Стрельников и другие были вынуждены искать работу в Днепропетровском физико-техническом институте. Владимир Гей возвратился в Ленинград.

Были освобождены от работы и те, кто выступили свидетелями на судебном процессе Кореца, в том числе Лазарь Пятигорский.

Таким образом, Харьковское управление НКВД и обком были вынуждены временно капитулировать и оставить УФТИ в покое. Но не надолго.

3. ПОГРОМ В ИНСТИТУТЕ

30 января 1937 г. в Москве по делу так называемого "Анτισоветского троцкистского центра" были присуждены к смертной казни Ю. Пятаков, С. Ратайчак и другие работники Наркомтяжпрома, заступники и покровители УФТИ. Были сочтены и дни Бухарина. Такой поворот событий сразу развязал руки Харьковскому управлению НКВД, и оно полностью отыгралось за свое поражение в деле М.Кореца.

1 и 4 марта 1937 г. ночью с квартиры на жилой территории института забрали физика, начальника строительства Опытной станции

глубокого охлаждения Александра Вайсберга и его друга, химика, в то время консультанта УФТИ Конрада Вайсельберга. Оба в свое время прибыли в УФТИ из Вены. Обоих увлекла романтика построения социализма, и они очень самоотверженно и плодотворно работали.

Если Вайсбергу удалось уйти из объятий НКВД живым, то с Вайсельбергом особенно не церемонились. Ведь он опрометчиво принял советское гражданство. Согласно решению Особого совещания он был расстрелян 16 ноября 1937 г.

6 августа 1937 г. были арестованы Л. В. Шубников, Л. В. Розенкевич и, чуть позже, В. С. Горский. Все трое - научные руководители УФТИ, выдающиеся физики с мировыми именами. Все трое были расстреляны в первой декаде ноября 1937 г. "в ознаменование" 20-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции

7 октября 1937 г. арестовали молодого физика-ядерщика Валентина Фомина и 22 ноября того же года расстреляли. Он успел опубликовать всего две работы. Вот одна из них:

Fomin V., Houtermans F.G., Kurchatov I.W., Leipunski A.I., Shubnikov I. and Schepkin G. Absorption of Therman Neutrons in Silver at Low Temperatures. - "Nature", 1936, vol. 138, 3486, p. 326-327.

Какой была судьба других соавторов? Шубников расстрелян, Хоутерманс и Лейпунский арестованы. Курчатова со временем стал академиком, "отцом" советской атомной бомбы и трижды Героем.

15 января 1938 г. в Москве уже при оформлении выезда из СССР на таможне был взят Фридрих Хоутерманс. 25 апреля 1940 г. он, как и Вайсберг, был депортирован в Германию.

В то время когда многие антифашисты-беженцы, спасаясь от нацизма, выехали в США и другие западные страны, Хоутерманс подался в Советский Союз и жестоко за это поплатился. Его не только три года пытали в застенках НКВД, но еще и выдали тому же гестапо вместе с другими немецкими антифашистами как презент Гитлеру по случаю подписания пакта Молотова-Риббентропа.

Известно, какую определяющую роль в создании атомного оружия сыграли политические беженцы-антифашисты из Европы, в частности из Германии и Италии, которым американское правительство предоставило все возможности для плодотворной работы. Если бы Хоутерманс эмигрировал в Америку, его имя стояло бы в истории рядом с именами Э. Ферми, Э. Теллера, Л. Сцилларда и других творцов ядерного оружия.

14 июня 1938 г. был арестован второй директор УФТИ А. Лейпунский, но уже 7 августа того же года освобожден.

22 июня 1938 г. в Харькове был арестован первый директор УФТИ И. Обреимов. В 1940 г. по ходатайству академиков С. Вавилова, А. Иоффе, В. Комарова и других он был освобожден и восстановлен на работе в УФТИ.

Еще 28 апреля 1938 г. в Москве был арестован Лев Ландау. Обвинения в его адрес касались работы в УФТИ. Будущий нобелевский лауреат провел в тюрьме ровно год и был освобожден благодаря ходатайству выдающихся физиков - Нильса Бора и Петра Капицы - 28 апреля 1939 года.

Намного меньше повезло Корецу. Второй раз он был подвергнут заключению одновременно с Ландау по одному делу. Но, в отличие от Ландау, он провел в заключении 18 лет - с 1938-го по 1956-й.

Еще 4 марта 1935 г. решением Особого совещания НКВД СССР по Ленинградской области был осужден как "социально опасный элемент" первый начальник теоретического отдела УФТИ Дмитрий Иваненко. 30 декабря 1935 г. Иваненко, на срок, который ему оставался, был сослан в Сибирь.

Были расстреляны парторг института, начальник строительства Опытной станции глубокого охлаждения П. Ф. Комаров, сменивший на этой должности Вайсберга, и начальник отдела снабжения Николаевский. Был также арестован аспирант И. М. Гусак.

Что же формально инкриминировалось харьковским физикам? Об этом, наверное, лучше всего сказал на допросе свидетель В. Гей, бывший заместитель и исполняющий обязанности директора УФТИ. Во время допроса он уже жил и работал в Ленинграде. Гей изложил целую теорию. Неизвестно, кто ее сочинил - он сам или НКВД.

4. ТЕОРИЯ НКВД

Допрос свидетеля Гея продолжался с 17 по 20 мая 1937 г. на его квартире в Ленинграде. Проводил его лейтенант Резников. Свидетель и следователь поработали весьма плодотворно.

ВОПРОС: Что вам известно о существующей в УФТИ контрреволюционной вредительской организации?

ОТВЕТ: На основании имеющихся у меня данных и личных наблюдений в продолжение 5-летней непрерывной работы в УФТИ я считаю, что в последнем существовали и существуют две контрреволюционные группы политических направлений, которые на опре-

деленном этапе своей вредительской деятельности вели объединенную контрреволюционную работу.

ВОПРОС: Какой состав указанной вами контрреволюционной вредительской группы в УФТИ?

ОТВЕТ: Я считаю, что указанные мною контрреволюционные вредительские группы состоят из следующих лиц:

1. Ландау Лев Давидович - бывший научный руководитель теоретического отдела УФТИ - ныне научный сотрудник Института физических проблем при Академии наук в г. Москве.

2. Корец - имени и отчества не помню, бывший научный сотрудник теоретического отдела УФТИ, ближайший друг Ландау. Ныне проживает в Москве.

3. Обреимов Иван Васильевич - научный руководитель лаборатории кристаллов УФТИ.

4. Шубников Лев Васильевич - научный руководитель криогенной лаборатории УФТИ.

5. Трапезникова Ольга Николаевна - жена Шубникова - научный сотрудник криогенной лаборатории.

6. Розенкевич Лев Викторович - научный сотрудник УФТИ. Данная группа возглавлялась Ландау Л. Д.

Другая контрреволюционная вредительская группа состоит из иностранных специалистов, прибывших в СССР в разное время на работу в УФТИ, а именно:

1. Вайсберга Александра Семеновича, бывшего начальника ОСГО, австрийского подданного.

2. Хоутерманса Фрица Оттовича - германского подданного, научного руководителя УФТИ.

3. Руэманн Варвары - немки, германской или английской подданной, научного сотрудника криогенной лаборатории УФТИ.

4. Руэманн Мартина Зигфридовича - немца, подданного Англии, научного руководителя УФТИ.

5. Шлезингер Шарлотты - немки, подданной Германии, прибывшей из-за границы в СССР вместе с Хоутермансом под видом его родственницы.

6. Тисса - имени-отчества не знаю - венгерского подданного, научного сотрудника теоретического отдела УФТИ. Эту контрреволюционную группу возглавлял Вайсберг А. С.

С обеими контрреволюционными группами теснейшим образом связан Лейпунский Александр Ильич - академик, ныне директор УФТИ, - покровительственно и поощрительно относившийся как к

контрреволюционной группе Ландау, так и к контрреволюционной группе Вайсберга.

ВОПРОС: На какой политической платформе стоят и каково политическое направление существующих в УФТИ контрреволюционных групп?

ОТВЕТ: Судя по политическим убеждениям и взглядам группы Ландау и Вайсберга, я считаю, что первая группа (Ландау) является троцкистской, а группа Вайсберга есть контрреволюционная группа "правого" направления. Названный мною выше Лейпунский - по имеющимся у меня данным, которые я изложу дополнительно, является "правым".

Обе эти контрреволюционные вредительские группы, состоявшие из лиц, тесно связанных между собой в течение ряда лет, объединенно выступили в 1935 году после постановки партией и правительством перед институтом ряда серьезнейших задач, развернув в УФТИ активную контрреволюционную работу".

Следовательская бригада в составе Торнуева, Резникова, Вайсбанда, Шалита, Дрешера, Полевецкого, Скраливецкого, Подгорного и др. начала выбивать из своих жертв признания в пользу этой "теории". Руководил "операцией" Райхман.

Институт был разгромлен. Дело не только в том, что наиболее талантливые ученые оказались за решеткой или были расстреляны. Те, кто остался на свободе, на всю жизнь были запуганы, а их инициатива парализована. Прекратились животворные контакты с зарубежными коллегами. Во взаимоотношениях появилось недоверие, подозрительность и отчужденность. Научную работу опутили режимом секретности с его надзирателями, доносами, анкетами, допусками, что не содействовало развитию науки. Директором института, который имел в своем штате профессоров и академика, был назначен аспирант Александр Шпетный, "двойник" Давидовича, который не имел ни одной научной публикации и которого трудно назвать ученым. Он был партийным функционером, пользовавшимся доверием обкома партии и областного управления НКВД.

В заключение этой печальной истории приведем без комментариев отрывок из обращения участников Всесоюзной конференции по физике ядра, которая состоялась 20-26 сентября 1937 г. в Москве, к Сталину:

"...Успешное развитие советской физики происходит при общем упадке науки в капиталистических странах, где наука фальсифицируется и ставится на службу усилению эксплуатации человека

человеком, грабительским войнам и так называемому “научному” обоснованию идеализма и поповщины.

Подлые агенты фашизма, троцкистско-бухаринские шпионы и диверсанты, выполняя волю своих хозяев, не останавливаются ни перед какой гнусностью, чтобы подорвать мощь нашей родины, вырвать у великой семьи народов СССР завоевания Великой Октябрьской социалистической революции. Враги народа проникли и в среду физиков, выполняя шпионские и вредительские задания в научно-исследовательских институтах, пытаются нарушить налаживающуюся связь с практикой и протаскивать под видом физических теорий всякий идеалистический хлам.

Сокрушительный удар, уничтожение фашистских гнезд явились ответом всех трудящихся нашей страны на гнусные преступления врагов.

...Да здравствует великий вождь!..“

ЛИТЕРАТУРА

1. А. И. Лейпунский. Избранные труды. Воспоминания. Под ред. Б. Ф. Громова. - К.: Наукова думка, 1990.
2. Л. В. Шубников. Избранные труды. Воспоминания. Отв. ред. Б. Е. Веркин. - К.: Наукова думка, 1990.
3. Ю. Н. Ранюк, Павленко, Ю. А. Храмов. Дело УФТИ. - К. В-во Феникс, 1998.
4. Von Alexander Weissberg-Cybulski. Hexensabbat. Russland im Schmelztiegel der Sauberungen. Frankfurt am Main, 1951.
5. F. Весл, W. Godin. Russian Purge and the Extraction of Confession. Hurst and Dlsckett Ltd, London, 1951.
6. а) Edoardo Amaldi. The Adventures life of Friedrich Georg Houtermans, physisist (1903-1966). Springer, 1998.
б) В. Я. Френкель. Профессор Фридрих Хоутерманс: работы, жизнь, судьба. С.-Петербург, 1997.

ШУБНИКОВ ЛЕВ ВАСИЛЬЕВИЧ (29.9.1901-10.11.1937)

Выдающийся физик-экспериментатор, доктор физико-математических наук, профессор. Родился в Петербурге. В 1918 г. поступил на математическое отделение физико-математического факультета Петроградского университета и в том же году начал трудовую деятельность лаборантом в Государственном оптическом институте. В 1926 г. окончил Ленинградский политехнический институт.

С 1926 по 1930 гг. работал в Лейденской лаборатории низких температур в Голландии. В 1931-1937 гг. - руководитель Криогенной лаборатории Украинского физико-технического института в Харькове, также профессор Харьковского университета, заведующий кафедрой физики твердого тела физико-математического факультета. В его лаборатории начал свою работу в Харькове А. Вайсберг.

Шубникову принадлежит ряд научных достижений мирового значения. Это - открытие первого осцилляционного эффекта в металлах (эффект Шубникова - де Гааза), обнаружение идеального диамагнетизма сверхпроводников, первое наблюдение и идентификация антиферромагнитного фазового перехода и целый ряд других.

Шубников - пионер советской физики низких температур. В УФТИ им была освоена криогенная техника, в 1931 г. получен жидкий водород, в 1932-м - жидкий гелий. Из Харькова криогенная техника и наука распространилась по всей стране.

6 августа 1937 г. Шубников был арестован и 28 октября 1937 г. решением "тройки" приговорен к расстрелу. В ноябре вместе с двумя другими выдающимися учеными УФТИ, Львом Викторовичем Розенкевичем и Вадимом Сергеевичем Горским, Шубников был расстрелян. Расстрел был приурочен к 20-й годовщине Октябрьской революции. Место расстрела и погребения неизвестны. На многие годы его имя было вычеркнуто из употребления, на его работы было запрещено ссылаться.

Ниже мы приводим документ из дела Шубникова - его "признавательное" заявление на имя следователя.

Написано рукой Шубникова.

*"Следователю Харьковского
областного управления НКВД
тов. Скраливецкому В.И.
от заключенного Шубникова Л.В.*

Заявление

Настоящим моим заявлением я признаю мою вину перед советской властью и хочу в дальнейшем, если мне будет предоставлена возможность, честной и добросовестной работой искупить свою вину. Движимый таким стремлением, я заявляю, что я являюсь членом троцкистско-вредительской группы, работавшей в стенах Укр. физико-технического института. Я обещаю следователю да-

вать честные и исчерпывающие показания как о моей деятельности, так и о деятельности других лиц. Я надеюсь, что мое добровольное признание хоть немного уменьшит тяжелую кару и позволит мне вернуться к труду, который является в нашей стране делом доблести, чести и героизма.

7/VIII- 1937 подпись“

Показания Льва Васильевича Шубникова, написанные им собственноручно, невозможно обойти молчанием. Какие меры воздействия заставили этого честного и мужественного человека написать то, что он написал? Вряд ли это были меры физического воздействия, ибо Лев Васильевич “признался” уже на второй день после первого допроса.

Его арестовали в то время, когда его жена Ольга Николаевна Трапезникова была на последнем месяце беременности. Ныне здравствующая жена прославленного уфтинского стеклодува Егора Васильевича Петушкова Елена Адамовна (ей девяносто один год) напоминает, что Шубникова из тюрьмы привозили на “черном вороне” в родильный дом на свидание с женой и новорожденным сыном, которого он еще не видел. Об этом Елене Адамовне рассказала сама Ольга Николаевна. Не здесь ли скрывается разгадка показаний Льва Васильевича? Нет сомнения, что меры воздействия на Шубникова чекисты подобрали очень действенные и пригрозили ему, как это было у них заведено, жену арестовать, а ребенка поместить в детский дом под вымышленным именем с тем, чтобы никто не мог его найти и чтобы он сам не знал, кто его родители.

Ольга Николаевна Трапезникова отказалась публично осудить своего мужа и отречься от него. Поэтому она была вынуждена оставить квартиру и работу в УФТИ и с помощью друзей перебраться в Ленинград, где умерла в 1997 году.

ЛЕЙПУНСКИЙ АЛЕКСАНДР ИЛЬИЧ (7.12.1903-14.8.1972)

Выдающийся физик, академик АН Украины с 1934 г., Герой Социалистического Труда (1963), лауреат Ленинской премии (1960). Родился в 1903 г. в п. Драгли Сокальского уезда Гродненской губернии (ныне Польша). В 1926 г. окончил Ленинградский политехнический институт, работал в Ленинградском физико-техническом институте. Один из организаторов Украинского физико-технического института, где работал с 1929 по 1941 гг., с 1933 по 1937 гг. директо-

ром (с перерывом). В 1941-1952 гг. - заведующий отделом Института физики АН Украины в Киеве. С 1952 г. работал в Физико-энергетическом институте в Обнинске (с 1959 г. - научный руководитель института) и с 1946 г. - заведующий кафедрой Московского инженерно-физического института.

Научные работы принадлежат, главным образом, к области ядерной физики и ядерной энергетики. Лейпунский положил начало ядерно-физическим исследованиям в Советском Союзе. В 1932 г. он вместе со своими коллегами по УФТИ впервые в СССР осуществил реакцию расщепления атомного ядра искусственно ускоренными протонами. В дальнейшем сосредоточился на физике взаимодействия нейтронов с ядрами. Осуществил широкие исследования в области ядерной энергетики. Был одним из первых, кто понял перспективы, которые открывает перед человечеством ядерная энергетика. Еще до войны выступил с серией научных статей и докладов, посвященных обоснованию возможности осуществления цепной ядерной реакции. Его аспиранту Маслову было выдано авторское свидетельство на изобретение атомной бомбы.

После войны Лейпунский предложил идею атомного реактора на быстрых нейтронах. Под его руководством была сооружена серия исследовательских и первый советский промышленный реактор на быстрых нейтронах в Казахстане.

14 июня 1938 г. Лейпунский был арестован "по подозрению в шпионаже в пользу Польши", а 9 августа того же года освобожден и приступил к работе в УФТИ.

Показания обвиняемого Лейпунского А.И., написанные его рукой:

"Моя деятельность, как руководителя УФТИ, принесла громадный вред развитию советской науки, так как несмотря на то, что я субъективно не был связан с врагами, орудовавшими в институте, моя деятельность объективно была помощью врагам. Только благодаря моей помощи и поддержке враги могли так долго вредить УФТИ. Моя поддержка врагов состояла в следующем:

1. Я ввез в СССР шпиона Хоутерманса и создал ему удобные условия для шпионской работы.

2. Я замазывал сигналы о враждебной физиономии шпиона Вайсберга, оказывал ему всякую помощь, старался сохранить его в институте, некоторое время скрывал от НКВД факт выведывания им шпионских сведений, выдал ему положительную деловую характеристику при его увольнении из института.

3. Я замазывал сигналы о враждебной физиономии контрреволюционеров Ландау, Шубникова, всячески старался сохранить их в институте. Создал им в институте условия для вредительской и шпионской работы. Все это произошло потому, что я, вследствие своей полной политической беспечности, гнилого либерализма, переоценил значение связей с западноевропейской наукой, работая перед Западом, создал в институте исключительно благоприятную для врагов обстановку.

Лейпунский“

В своем заявлении о пересмотре вопроса о восстановлении в члены ВКП(б) Лейпунский пишет:

“Я действительно отчетливо сознаю, что я совершил ряд грубейших политических ошибок. Я настолько потерял большевистскую бдительность, что глупо доверял званию братских компартий, дал возможность укрепиться в институте ряду врагов народа, доверяя этим врагам, а также защищал их от справедливых требований парторганизации. Ценив научную квалификацию некоторых сотрудников института, оказавшихся врагами народа, я мало боролся с их вредительской работой в области подготовки кадров молодых советских ученых.

В руководстве институтом я вел совершенно гнилую политическую линию, линию гнилого либерализма по отношению к врагам народа, линию, свидетельствующую о том, что я не оказался в состоянии давать политическую оценку ряду фактов в жизни института, линию, характеризовавшую меня как человека, потерявшего большевистскую бдительность, и своей политической слепотой создал благоприятные условия для враждебной деятельности в институте“.

ПРИХОДЬКО АНТОНИНА ФЕДОРОВНА (26.4.1906-1995)

Физик-экспериментатор, академик Национальной Академии Наук Украины (1964), Герой Социалистического Труда (1976), лауреат Государственной премии Украины (1977). Родилась в Пятигорске. Окончила Ленинградский политехнический институт (1930). В 1930-1941 гг. работала в Харьковском физико-техническом институте, в 1941-1944 гг. - в Институте физической химии НАНУ. С 1944 г. - зав. отделом физики кристаллов Института физики НАНУ (в 1965-1970 гг. - директор).

Научные работы относятся к низкотемпературной спектроскопии

твердого тела и оптики молекулярных кристаллов. В УФТИ работала в лаборатории Обреимова.

Жена А. И. Лейпунского. По свидетельству Е. А. Паниной, на второй день после ареста Лейпунского публично выступила с его осуждением и заявила о своем от него отречении.

ОБРЕИМОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ (8.3.1884 - 2.12.1981)

Физик-экспериментатор, академик АН СССР (1958). Золотая медаль им. С. И. Вавилова (1959). Организатор и первый директор Украинского физико-технического института.

Родился в г. Аннеси (Франция). Окончил Петроградский университет. В 1919-1924 гг. работал в Государственном оптическом институте, в 1924-1929 гг. - в Ленинградском физико-техническом институте, в 1929-1941 гг. - в Харьковском физико-техническом институте (в 1929-1932 гг. - директор), в 1942-1944 гг. - в Государственном оптическом институте, в 1944-1954 гг. - в Институте органической химии АН СССР, в 1954-1965 гг. - в Институте элементоорганических соединений АН СССР, с 1965 г. - в Институте общей и неорганической химии.

В 20-х годах посетил Лейденскую, Кембриджскую и ряд других научных лабораторий Европы.

Будучи заместителем директора Ленинградского физико-технического института А. Ф. Иоффе, взял на себя основные хлопоты по организации и строительству Харьковского физико-технического института. Активно приобщал к работе в институте иностранных ученых. Александр Вайсберг был приглашен работать в институте Обреимовым и прибыл в Харьков во время его директорства.

Научные работы относятся к физике кристаллов, молекулярной спектроскопии, оптике и др.

22 июля 1938 г. Обреимов был арестован в Харькове и обвинен в том, что он являлся агентом германской и английской разведок и участником правотроцкистской организации. Он также обвинялся в том, что входил в группу научных сотрудников, которые настаивали на признании "чистой" науки и на том, что наукой должны заниматься только "гениальные" люди. 19 ноября 1940 г. за "антисоветские высказывания" постановлением "тройки" ОСО Обреимову был определен срок наказания 8 лет исправительно-трудовых лагерей. С ходатайством о его освобождении в соответствующие инстанции обратились такие выдающиеся ученые, как С. И. Вавилов, А. Ф. Иоффе, В. Л. Комаров и др. Они характеризовали Обреимо-

ва как выдающегося специалиста в области физики. 21 мая 1941 г. постановлением Особого совещания при Народном комиссариате внутренних дел СССР дело в отношении Обреимова было прекращено, а сам он освобожден из-под стражи. Досье Обреимова находится в Москве, и ознакомиться с ним автору этих строк не удалось.

Приведем страницы институтского фольклора, которые если и не соответствуют действительности, то характеризуют обстановку того времени.

Обреимов сидел в одной камере с уголовниками и часто по вечерам развлекал их всякими баснями - пересказывал прочитанные романы, читал лекции по истории. Они его очень уважали, опекали и даже доставали ему свечи и обрывки бумаги. Он по ночам где-то под кроватью зажигал свечу и писал свою знаменитую научную статью на тему "О Френелевой дифракции света". Он смог передать рукопись с уголовником, у которого окончился срок. Тот опустил ее в почтовый ящик на имя Иоффе. Иоффе якобы поехал с этой статьей в Кремль и сумел добиться, чтобы дело Обреимова было затребовано. Однако оказалось, что никакого дела нет, следствия не было, суда не было, не было и приговора. Ученого привезли на Лубянку, где и объявили, что он свободен. Обреимов якобы заартачился и сказал, что в таком виде он по Москве не поедет и что, мол, как его забирали, пусть так и отвезут. Его отвезли на машине к дальнему родственнику - академику Крылову, а от него он уже перебрался в Харьков. Все это якобы со слов самого Обреимова.

Согласно другой версии, ходившей в институте, статья попала к Сергею Ивановичу Вавилову, будущему президенту Академии наук. Тот собрал отделение оптики и прочел доклад Обреимова, выдав, однако, его за свой. Академики сразу поняли ценность работы и ее прикладное значение для оптических приборов и в своих выступлениях очень ее хвалили. "Вот и хорошо, - сказал в заключение Вавилов, - это статья не моя, а арестованного Обреимова. Я подготовил письмо товарищу Сталину с просьбой освободить Обреимова и надеюсь, что вы все его подпишете". Академикам деваться было некуда, письмо они подписали, и Обреимов был освобожден.

ЛАНДАУ ЛЕВ ДАВИДОВИЧ (22.1.1908 - 1.4.1968)

Выдающийся физик-теоретик, академик АН СССР (1946), Герой Социалистического Труда (1954), Сталинские премии СССР (1946,

1949, 1953). Ленинская премия (1962). Член многих зарубежных академий и научных обществ. Нобелевский лауреат (1962).

Родился в Баку. Окончил Ленинградский ун-тет (1927). В 1927-1932 гг. - аспирант, научный сотрудник Ленинградского физико-технического института. В 1932-1936 гг. возглавлял теоретический отдел УФТИ и заведовал кафедрой теоретической физики Харьковского механико-машиностроительного института, а с 1935 г. - кафедрой общей физики Харьковского университета. С 1937 г. заведовал теоретическим отделом Института физических проблем АН СССР, куда был приглашен П. Л. Капицей. Одновременно был профессором Московского университета (1943-1947 гг. и с 1965 г.) и Московского физико-технического института.

Круг его научных интересов очень широк и касается почти всех разделов физики. Автор фундаментальных результатов по квантовой механике, физике твердого тела, теории фазовых переходов второго рода, теории ферми-жидкости и теории сверхтекучести, физике космических лучей, квантовой теории поля, физике элементарных частиц, физике плазмы. Героем Социалистического Труда Ландау стал за участие в работах по созданию атомной бомбы.

Автор всемирно известного многотомного "Курса теоретической физики" Л. Д. Ландау и Е. М. Лифшица, написание которого было начато в Харькове. До конца жизни сохранял тесные научные и дружеские связи с харьковскими физиками.

28 апреля 1938 г. Ландау был арестован. В это время он жил в Москве и работал в Институте физпроблем. Был обвинен в том, что являлся руководителем харьковской антисоветской вредительской организации, проводил подрывную работу в науке.

По ходатайству выдающихся отечественных (П. Л. Капица) и зарубежных (Н. Бор) ученых 28 апреля 1939 г. был освобожден.

ХОУТЕРМАНС ФРИДРИХ ГЕОРГ ("ФИЗЕЛЬ") **(22.01.1903 - 1.02.66)**

Родился в Данциге (теперь Гданьск, Польша). В 1928 г. получил степень доктора философии в Геттингенском университете. В 1933-1934 гг. работал в Англии, в 1935-1937 гг. - в Украинском физико-техническом институте, в 1940-1945 гг. - в частной научно-исследовательской лаборатории Альфреда фон Арденне в Шарлоттенбурге, в 1945-1952 гг. - в Геттингенском университете (с 1950 г. - профессор). С 1952 г. - профессор Бернского университета и директор организованного им Центра физических исследований при университете.

Еще в Геттингене Хоутерманс вместе с одесситом Георгием Гамовым в 1928 г. опубликовал классическую работу о квантовомеханических аспектах радиоактивного распада атомных ядер.

Работы по ядерной физике, физике высоких энергий, ядерной геологии. В 1929 г. впервые высказал мысль о ядерном (термо-ядерном) происхождении энергии звезд. В 1940 г. впервые обратил внимание на плутоний как на сырье для изготовления атомной бомбы. Был близок к созданию лазера, участвовал в создании электронного микроскопа.

Харьковские работы Хоутерманса посвящены физике нейтронов. Эти работы выполнены в соавторстве с Л. Шубниковым, И. Курчатовым и другими выдающимися советскими учеными.

В лаборатории фон Арденне Хоутерманс занялся ядерно-физическими исследованиями и цепной реакцией. В 1941 г. он изложил результаты своих теоретических исследований на 33 страницах отчета "К вопросу о запуске цепной реакции", на который германские власти не обратили особого внимания. Хоутерманс еще в 1940 г. первым высказал мысль о перспективности использования плутония в качестве ядерного топлива.

15 января 1938 г. Хоутерманс был арестован на московской таможне, где он оформлял свой выезд за рубеж. Основанием для ареста послужило подозрение в принадлежности к агентуре гестапо. 25 апреля 1940 г. Особое совещание при НКВД СССР приняло решение о выдворении Хоутерманса Фрица Оттовича, как нежелательного иностранца, за пределы Советского Союза.

В 1951 г. в Лондоне вышла книга Хоутерманса, написанная им с сокамерником по киевской Лукьяновской тюрьме Константином Штепой. В целях конспирации книга была издана под псевдонимами. Она явилась предтечей "Архипелага Гулага" А. Солженицына.

С 1952 г. и до самой своей смерти в 1966 г. Хоутерманс работал в Швейцарии в созданном им Центре физических исследований при Бернском университете.

БАЙСЕЛЬБЕРГ КОНРАД БЕРНАРДОВИЧ ("МАРСЕЛЬ") (25.10.1905 - 16.12.1937)

Родился в г. Бырлад, Румыния, в семье австрийского лесоторговца. В 1907 г. семья переехала в Черновцы, а в 1914 г. - в Вену. В 1925 г. окончил среднюю школу, затем институт. В 1934 г. был приглашен на работу в Харьковский углехимический институт. С 1936 г. работал в Украинском физико-техническом институте.

В 1934 г. вступил в брак с Анной Давыдовной Мыкало, домработницей Вайсберга. В феврале 1937 г. принял советское гражданство. 4 марта 1937 г. был арестован по обвинению в том, что прибыл из-за границы для проведения контрреволюционной троцкистской работы против СССР и стал участником контрреволюционной группы иностранных специалистов в УФТИ. 16 декабря 1937 г. расстрелян согласно приговору Особого совещания.

В книге Вайсберга выведен под именем Марселя.

“В документальных материалах в ЦГАО СССР по секретному списку и справочнику СССР, составленному в аппарате Главного управления имперской канцелярии и госбезопасности Германии, по-видимому, до нападения фашистской Германии на СССР, проходит Вайсельберг Конрад, доктор химии, родившийся 11 октября 1905 г. в Бырладе, проживавший в Харькове.

Вайсельберг отнесен к категории лиц, представляющих серьезную опасность для Германии с точки зрения полиции госбезопасности Германии и подлежит аресту. Сведения за 1939-1940 гг. Основание - секретный список, том 1. 13.11.58 г.“

ВАЙСБЕРГ АЛЕКСАНДР СЕМЕНОВИЧ (8.10.1901 - 4.3.1964)

Вайсберг Александр Семенович родился 8 октября 1901 г. в Кракове (Польша). Умер 4 марта 1964 г. в Париже.

В 1920 г. поступил в Венский университет и одновременно в Высшую техническую школу. В 1929 г. получил диплом инженера в области математики, физики, электротехники. Работать начал в Берлине.

В 1931 году Вайсберг получил приглашение директора УФТИ И. В. Обреимова работать в Харькове. Свою научную работу в УФТИ Вайсберг начал в Криогенной лаборатории Л. В. Шубникова. Имея некоторый опыт издательской деятельности, он проявил инициативу и активно участвовал в организационных мероприятиях по изданию в Харькове международного физического журнала, который стал выходить в 1932 г. Вайсберг был бессменным членом его редакционной коллегии. В 1932 г. в Харькове началось строительство прикладного криогенного института - Опытной станции глубокого охлаждения. Проектирование станции и ее строительство с самого начала возглавил Вайсберг. Накануне сдачи станции приемной комиссии Вайсберг был арестован. Произошло это 1 марта 1937 г. С ходатайством о его освобождении с письмом к Сталину обратились А.Эйнштейн и ряд нобелевских лауреатов.

5 января 1940 г. Вайсберг был депортирован в Германию и передан в руки гестапо.

После войны Вайсберг перебрался вначале в Швецию, затем в Англию.

В 1951 году во Франкфурте-на-Майне вышла его книга "Ведьмовской шабаш. Россия в горниле чисток". В книге описана его работа в УФТИ, обстоятельства ареста и подробности пребывания в Холодноторской, Лукьяновской, Лубянской и других тюрьмах. Книга была переиздана во многих странах.

ЛАНГЕ ФРИЦ ФРИЦОВИЧ (16.12.1899 - 25.7.1987)

Родился в Берлине. С конца 1918 по 1924 гг. учился в университетах Берлина, Фрайбурга и Киля. Окончил Берлинский университет в 1924 г., занимался физикой, химией, математикой.

В 1924 г., будучи учеником В. Нернста, выполнил научную работу "Теплоемкость при низких температурах", за которую получил звание доктора. С 1924 до 1933 г. работал ассистентом Нернста в физическом институте Берлинского университета.

С приходом Гитлера к власти эмигрировал. В 1935 г., живя в Лондоне, принял приглашение А. Лейпунского переехать в Советский Союз на работу в Украинский физико-технический институт в Харьков, где основал Лабораторию ударных напряжений (фактически институт), подчиненную Академии Наук СССР (УФТИ входил в систему Наркомтяжпрома), и стал ее научным руководителем.

В 1936 г. ходатайствовал о принятии в советское гражданство и получил его 9 февраля 1937 года.

В апреле 1940 г. ему была присуждена степень доктора физико-математических наук без защиты диссертации.

В 1941 г. выехал из Харькова в эвакуацию, где перешел на работу в Киевский институт физики и математики, располагавшийся в Уфе. С 1943 г. работал в Уральском физико-техническом институте в Свердловске, а с 1945 г. - в Лаборатории N 2, затем возглавил в Москве Лабораторию N 4. В 1951-1952 гг. работал в Днепропетровске, затем в Москве. В 1959 г. возвратился в Берлин, где возглавил лабораторию физики в Институте биофизики.

До приезда в СССР Ланге стал знаменит благодаря своим попыткам использовать грозовые разряды для расщепления атомного ядра и разработкам ускорительной техники, в частности ускорительных трубок.

В Харькове конструировал высоковольтные разрядные трубки,

на основе которых создавал нейтронные генераторы и источники рентгеновского излучения. Построил самый большой в мире, по тому времени, генератор, рассчитанный на напряжение 5 миллионов вольт.

Сотрудник его лаборатории В. С. Шпинель является сообладателем авторского свидетельства на изобретение советской атомной бомбы. Упомянутый Шпинель вместе с другим сотрудником УФТИ Масловым еще до войны писали письма в Наркомат обороны о возможности создания “уранового боеприпаса” большой разрушительной силы.

В Харькове Ланге занялся проблемой разделения изотопов урана и предложил для этой цели метод ультрацентрифуги. Свои опыты с ультрацентрифугой он продолжил сначала в Уфе, а затем в Москве.

Ланге - единственный из иностранных ученых, кто не был ни арестован, ни выслан. Вот что рассказывает по этому поводу институтский фольклор.

После принятия советского гражданства Ланге был призван военкоматом на медицинскую комиссию. На комиссии он выделялся среди прочих призывников своим солидным возрастом, незнанием русского языка, неуклюжестью и кажущейся бестолковостью. Подозревая у него плоскостопие, врачи попросили его макнуть ногу в таз с водой и сделать отпечаток ступни на полу. Вместо этого неуклюжий Ланге перевернул таз, наступив на его край. Терпение врачей лопнуло, они позвонили в НКВД и сообщили, что у них находится подозрительный тип, который совершил явное вредительство - опрокинул таз с водой. Оперативники не заставили себя долго ждать. Изучив паспорт Ланге и посмотрев на него самого, начальник скомандовал: “Одевайтесь, гражданин Ланге, и следуйте за мной. Нет ли у вас еще какого-нибудь документа?” - “Нет”. Когда Ланге натягивал штаны, то нащупал еще один документ и протянул оперативнику. Тот его небрежно взял и стал читать. Внезапно лицо его помертвело. С неподдельным ужасом он протянул документ обратно и со словами “Извините, товарищ Ланге” попятился к двери, козыряя и кланяясь, а затем опрометью выскочил за дверь.

Что же случилось? Поначалу немецких антифашистов встречали в СССР с большими почестями. И вот небольшой партии прибывших были выданы удостоверения личности, подписанные лично Сталиным, в которых предлагалось всем советским и партий-

ным органам оказывать всяческое содействие предъявителю. Это удостоверение, очевидно, и послужило той индульгенцией, которая уберегла Ланге от кругов ада.

КОМАРОВ ПЕТР ФРОЛОВИЧ

Ни личное дело в архиве ХФТИ, ни досье в НКВД на Комарова найти не удалось. Был парторгом УФТИ, после ареста Вайсберга в 1937 г. возглавил строительство Опытной станции глубокого охлаждения; в том же году был арестован и расстрелян.

РУЭМАНН MARTIN СИГФРИДОВИЧ

Английский ученый и инженер, специалист по низким температурам. Вместе со своей женой Барбарой по приглашению Вайсберга прибыл на работу в УФТИ в 1932 г. Работал в лаборатории Шубникова, затем возглавил Опытную станцию глубокого охлаждения, директором строительства которой был Вайсберг. В 1937 г. после ареста Вайсберга выступил в его защиту и в знак протеста против его ареста покинул СССР. Сейчас живет в США.

ТИССА ЛАСЛО

Венгерский физик-теоретик. В 1934 г. участвовал в работе 3-й теоретической конференции в Харькове и остался работать в УФТИ в отделе Ландау. В Харькове защитил кандидатскую диссертацию. В начале 1937 г. выехал из СССР. Сейчас - профессор в Массачусетском технологическом институте (США). В архивных материалах НКВД фигурирует как резидент гестапо в УФТИ.

ПЛАЧЕК ГЕОРГ (26.9.1905 - 11.10.1955)

Физик-теоретик. Родился в Брно. Получил степень доктора философии в Венском университете. В 1932-1938 гг. (с перерывами) работал в Институте теоретической физики в Копенгагене. В 1936-1937 гг. работал в УФТИ. В 1938 г. переехал в США. В архивных материалах НКВД фигурирует как резидент гестапо в УФТИ.

МЫКАЛО АННА ДАВЫДОВНА ("ЛЕНА")

(29.01.14 - ?)

"Автобиография

Я, Анна Давыдовна Мыкало, родилась в 1914 году в селе Михайловка Запорожской области. Отец - крестьянин, умер в 1932 году. Мать с первых дней коллективизации - член колхоза. Я 2 года учи-

лась в сельской школе. Приехала в Харьков в 1931 году. Работала в столовой официанткой и уборщицей. 2 года училась в вечерней школе для взрослых. С 1934 по 1937 я с ребенком была на содержании мужа.

С 1937 года работала в артели имени 2-й пятилетки решелевщицей. Во время оккупации работала в УФТИ уборщицей, когда пришли наши, работала подсобной работницей. Сейчас работаю в стеклодувной мастерской.

Подпись “

В 1934 году Анна Давыдовна вышла замуж за Конрада Вайсельберга. В 1936 году родила сына, который в честь Вайсберга был назван Александром.

ХАРЛАМОВ АЛЕКСАНДР КОНРАДОВИЧ (род. 25.12.1936)

“Я, Харламов Александр Конрадович, родился в семье австрийского гражданина Вайсельберга Конрада Бернардовича и украинки Мыкало Анны Давыдовны. Мое детство прошло в селе Михайловке Запорожской области. Там я закончил первый класс начальной школы в 1945 году. Затем переехал в Харьков, где живу по сей день. Окончил среднюю школу, техникум, политехнический институт (вечернее отделение). Работал автослесарем, инженером-конструктором. Сейчас работаю заместителем главного технолога завода. Женат, имею сына, дочь и двоих внуков .

Подпись “

Единственный ныне здравствующий персонаж книги Вайсберга. Когда его отца расстреляли, был в младенческом возрасте. Мать всегда боялась за его жизнь, поэтому сменила его фамилию на Мыкало, а при заключении брака посоветовала ему взять фамилию жены. Так он стал Харламовым.

КОРЕЦ МОИСЕЙ АБРАМОВИЧ (12.10.1908 - 1984)

Родился в Севастополе. В 1926 г. поступил в Ленинградский политехнический институт на физико-математический факультет. К началу 30-х гг. относится его знакомство с Л. Д. Ландау и первые “пробы пера“ в журнале “Знание - сила“.

Будучи на 4-м курсе (1932), М. А. Корец заведовал кафедрой физики в Комвузе им. Сталина в бывшем Таврическом дворце. После окончания Политехнического института некоторое время работал в Свердловском физико-техническом институте, затем по приглашению Л. Д. Ландау перебрался в Харьков, где занял долж-

ность инженера теоретического отдела и, по совместительству, ассистента Ландау в местном университете.

В конце 1935 г. был арестован, но вскоре освобожден и восстановлен на работе в УФТИ.

В 1937 г. следом за Ландау переехал в Москву, где в 1937-38 гг. работал в Московском педагогическом институте.

27 апреля 1938 года М. А. Корец снова был арестован и освобожден лишь в 1956 г. С конца 50-х гг. жил в Москве, работал в журнале "Природа". Умер в 1984 г.

РЯБИНИН ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ (26.9.1908- 25.3.1986)

Доктор физико-математических наук, профессор, лауреат Ленинской премии.

Родился в Петербурге. Окончил физико-механический факультет Ленинградского политехнического института в 1930 г. С 1927 по 1930 г. работал в Ленинградской физико-технической лаборатории. С 1930 г. - в Украинском физико-техническом институте. Работал в Криогенной лаборатории Шубникова.

Научные работы посвящены физике низких температур. Принимал участие в оборонной тематике. В 1935 г. работал старшим инженером ОСГО. С 1936 г. - руководитель спецлаборатории в Днепропетровском физико-техническом институте. В том же году перешел на работу в московский Институт химических и физических исследований.

ПЯТИГОРСКИЙ ЛАЗАРЬ МОИСЕЕВИЧ (5.1909 - ?)

Физик-теоретик. Родился в с. Фундуклеевка Одесской области. В 1931 г. окончил Харьковский физико-химико-математический институт, математический факультет (позже преобразованный в Харьковский госуниверситет). С 1931 г. - аспирант УФТИ. В 1936 г. закончил аспирантуру и работал в теоретическом отделе УФТИ вплоть до эвакуации.

Одновременно преподавал. В 1931-1935 гг. - старший преподаватель ХГУ, в 1935-40 гг. - заведующий кафедрой теоретической физики, в 1940-1941 гг. - старший преподаватель ХГУ.

В 1937 г. в Москве в издательстве ГОНТИ вышла "Механика" Пятигорского и Ландау.

В эвакуации - старший преподаватель Объединенного украинского головного университета (Кзыл-Орда, Казахстан).

С 1944 г. снова в УФТИ. В 1955 г. защитил кандидатскую диссертацию.

В 1956 г. перевелся в Подмоскowie.

ТОРНУЕВ ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ (1894 -?)

“Обзорная справка по архивно-следственному делу 12032 на Торнуева Дмитрия Ивановича, 1894 г.р., уроженца села Торопец Калининской обл., русского, б/чл. КПСС, со средним образованием, б. сотрудника УНКВД по Харьковской обл., до ареста работавшего пом. нач. сектора кадров комитета по делам кинематографии и проживавшего в г. Москве.

Торнуев арестован 10 мая 1941 года УНКВД по Московской обл. за нарушение социалистической законности в следственной работе и 31 мая 1941 г. военным трибуналом войск НКВД Киевского военного округа Торнуев на основании ст. 206-17 п. “б” УК УССР был осужден к высшей мере уголовного наказания - расстрелу.

По приговору Торнуев признан виновным в фальсификации следственных материалов и нарушениях процессуальных норм при расследовании дел о контрреволюционных преступлениях.

Определением Военной коллегии Верховного Суда СССР от 9 октября 1941 года избранная в отношении Торнуева высшая мера наказания заменена на 10 лет ИТЛ.

Архивно-следственное дело 12032 на Торнуева хранится в учетно-архивном отделе УКГБ Харьковской области.

18 апреля 1959 года. Помощник военного прокурора по Харьковской области полковник юстиции Райхман”.

ИЗДАТЕЛЬСТВО „МОСКВА - ИЕРУСАЛИМ”

предлагает книгу

АЛЕКСАНДРА ВОРОНЕЛЯ

« В П Л Е Н У С В О Б О Д Ы »

Сборник историко-литературных эссе, посвященных анализу социальных процессов, преобразивших Россию и Израиль в XX веке. Автор рассматривает эти процессы как своеобразную религиозную Реформацию. Центральная проблематика книги сосредоточена вокруг вопроса о смысле и ограничениях понятия «свобода», о чем говорят заголовки ее разделов

1. Свобода как неосуществимый проект.
2. Свобода в практическом применении.
3. Свобода как исполнение завета.

304 стр. В Израиле – 36 шек. Вне Израиля, с пересылкой – 16 долларов.

Чеки и заказы посылать по адресу:

“Moscow-Jerusalem”, P.O.B. 44050, Tel-Aviv 61440, Israel.

М. И. Каганов

ЧЕРЕЗ 60 ЛЕТ

Заметки после прочтения книги “Дело УФТИ. 1935-1938”

Смотришь фильм, читаешь книгу - и вдруг осознаешь, что ты был в тех местах, где происходит действие, или, тем более, знаком с теми, о ком фильм. Твое восприятие изменяется: возникает ощущение присутствия и участь героев волнует больше, чем раньше.

Естественно, я знал, что в книге “Дело УФТИ” речь пойдет о “моем” УФТИ - институте, в котором я проработал 21 год с момента окончания Харьковского университета в 1949 году до 1970 года, когда я переехал в Москву, в Институт физических проблем.

И все же прочитанное поразило меня больше, чем я ожидал.

Впервые я попал в УФТИ года за полтора до окончания университета. Посещал институтский семинар. Познакомился с будущими сослуживцами. Некоторые стали потом друзьями. Ходили в УФТИ мы вдвоем, как и занимались все университетские годы: В. М. (Витя) Цукерник и я.

Мы прекрасно знали, что 1937 год не прошел мимо УФТИ. Не могу с уверенностью сказать, что знали имена всех жертв. Но что Ландау бежал из Харькова, что это не избавило его от ареста и что вмешательство П. Л. Капицы его спасло, знали.

Пытаясь всмотреться в прошлое, очень трудно вспомнить, когда что узнал. Мысли о “1937 годе”, как именовался тогда весь период террора, были обязательной составляющей нашего сознания (во всяком случае, в нашей семье и в компании близких друзей). И все же, несомненно, XX съезд, доклад Хрущева произвели на меня ошеломляющее впечатление. Думаю, большинство до 1956 года не представляло себе масштабов происходившего.

Директором УФТИ в 1949-м году был К. Д. Синельников, его заместителем - А. К. Вальтер, секретарем партийной организации (почти бессменным) - А. И. Шпетный. Все эти фамилии встречаются

ся в книге “Дело УФТИ”. До того, как открыл книгу, я уже задумался: как они вели себя “тогда”?



Октябрь 1949-го года. Я стал младшим научным сотрудником теоретического отдела, руководимого И. М. Лифшицем. Кроме меня, в отделе было еще два сотрудника: Липа Розенцвейг и П. Б. (Пеля) Найман. Очень скоро все мы стали друзьями. Липа, на правах старшего из нас троих, объяснял: попасть в УФТИ трудно (секретность и пр.), но после того как попал, ты в институте навсегда. “Вынесут ногами вперед”, - так он выразился. И ошибся: вскоре прокатилась волна увольнений. Меня она, правда, не коснулась. Боюсь быть неточным, но, по-моему, уволены были только евреи. Время, к счастью, было “вегетарианское”: арестов не было.

Институт жил бурной и очень интересной жизнью. Благодаря атомной тематике финансирование, по сути, было неограниченным. Тематика была разнообразной. Всем интересным в физике тех лет занимались и в институте. Практически не ощущалось провинциальности, хотя раздражала почти полная закрытость: с зарубежными учеными не встречались, не участвовали в международных конференциях, не публиковались в западных журналах.

Моя жизнь в УФТИ складывалась замечательно. Имея руководителем И. М. Лифшица, я прошел путь от младшего научного сотрудника до заведующего лабораторией.

Эта скороговорка скрывает многое, что вспоминать не хочется.

Партийные собрания. На фронте я вступил в партию и после демобилизации пришел в университет с партийным билетом в кармане. Партийное собрание всего института невозможно было собрать внутри института: не было помещения, которое вмещало бы всех членов парторганизации; снимали зал на стороне. В буфете торговали пивом, и к концу собрания многие теряли контроль над собой. Но шумная аудитория была всегда послушна и штамповала любые угодные руководству решения. Даже в тех (к счастью, редких) случаях, когда от решения зависела судьба человека.

Дирекцию на партсобраниях представлял А. К. Вальтер (он единственный умел спать на собраниях так, что его голова при этом не клонилась). Иногда, для программного доклада, появлялся на собрании К. Д. Синельников. Это всегда было событием. Авторитет директора был огромный. В институте царил авторитарный режим. Он

проявлялся во всей жизни института. Именно директор определял выбор главных направлений деятельности научных коллективов. Особенно откровенно авторитарность проявлялась в том, что на принятом жаргоне называлось подбором руководящих кадров.

Довоенный УФТИ часто упоминался в разговорах старых сотрудников. И, если мне не изменяет память, как правило, с некой ностальгией. Я не помню в институте разговоров о разгроме УФТИ, учиненном в 30-х годах. Многое, что было заведено тогда, сохранилось. Например, библиотечные порядки со свободным доступом к книжным полкам. Некоторое время научные сотрудники даже имели ключи от библиотеки.

Запомнился веселый рассказ о том, что Обреимов (первый директор УФТИ) когда-то издал приказ, запрещавший приходить в библиотеку без штанов. Кое-кто приходил в библиотеку сразу после тенниса - в трусах, и пожилая заведующая библиотекой смущалась.

Вспомнилась смешная примета прошлого. В одном из корпусов на второй этаж вели две симметричные лестницы. Все старые сотрудники УФТИ ходили по левой лестнице. Я спросил у одного из них - почему? Он задумался и сказал, что до войны по правой лестнице нельзя было пройти: на площадке стояли какие-то ящики - вот они и привыкли ходить по левой.

В разговорах возникала идиллическая картина: маленький институт, активная научная жизнь, дружный увлеченный коллектив высоких профессионалов. Вспоминались романы: кто в кого был влюблен. Цитировались шуточные стихи.

И вот теперь, в 1998 году, вышла книга "Дело УФТИ. 1935-1938".



Мы все знаем. Прочли и Солженицына, и Шаламова. Что может добавить рассказ о еще нескольких (из миллионов!) арестованных и даже расстрелянных?

Из тех, чьи портреты на обложке "Дела...", я встречался с А. И. Лейпунским, хорошо знал И. В. Обреимова, был близок с Л. Д. Ландау. Остальных (Л. В. Шубникова, Л. В. Розенкевича, В. С. Горского, А. С. Вайсберга, К. Б. Вайсельберга и Ф. Хоутерманса) знаю либо по их работам (Шубникова и Горского), либо по воспоминаниям хорошо мне знакомых людей.

Читать описание "большого конвейера" - семисуточного непрерывного допроса со сменой следователей физически невозможно.

Начинает болеть тело в тех местах, которые особенно остро ощущали пытку нескончаемым сидением на стуле. И концовка:

“- Вы готовы признаться сейчас?

- Да...

...Произошло это в полночь на седьмые сутки моего конвейера. Я боролся, пока хватило сил, но меня победили. Ничего, кроме капитуляции и признания, мне не оставалось“, - воспринимается с облегчением. (Цитата взята из приведенной в “Деле УФТИ“ главы “Внутренняя тюрьма харьковского ГПУ“ в книге А. Вайсберга.)

По-видимому, способы были разные. Например, от Л. В. Шубникова, предполагают авторы, удалось добиться “признания“, воспользовавшись тем, что в то время как велось “следствие“, у него родился сын.

Жизнь в СССР, особенно в годы террора (а когда его не было?), была не только страшна, но и демонстрировала раздвоенность социального сознания. Мне хочется этот феномен назвать социальной шизофренией. Один лишь пример. Первомайские демонстрации, в которых большинство из нас участвовало. Мы бодро маршировали, весело пели, кричали “ура“, когда с трибун выкрикивали лозунги. И... ГУЛАГ. Что? Мы узнали о нем из доклада Хрущева или из солженицынского эпоса? Нет, мы знали, но я - не психиатр, я не умею описывать раздвоенность сознания. Кроме того, социальная шизофрения по-разному себя проявляет. Были и такие, которые совсем не были затронуты этой болезнью. Только их было очень мало.

Книга “Дело УФТИ“ воспринимается как свидетельство социальной шизофрении. С одной стороны:

- первое в истории советской науки расщепление атомного ядра; письмо т.т. Сталину, Молотову, Орджоникидзе в “Правде“ со словами: “Украинский физико-технический институт в результате ударной работы к 15-й годовщине Октября добился первых успехов в разрушении ядра атома“. В заметке, подписанной директором УФТИ Обреимовым, указано, кто добился успеха: К. Д. Синельников, А. И. Лейпунский, А. К. Вальтер и Г. Д. Латышев;

- важнейший цикл теоретических работ Л. Д. Ландау. Среди них: открытие возможности существования антиферромагнетиков и построение феноменологической теории фазовых переходов 2-го рода;

- создание под руководством Л. В. Шубникова первой в Союзе и одной из первых в мире криогенных лабораторий, в результате чего “посыпались“ открытия. Достаточно упомянуть обнаружение сверхпроводников 2-го рода.

С другой стороны - материалы следствия с жуткими подробностями. Именно из тех, чьими трудами получены замечательные результаты, четверо арестованы (Обреимов, Лейпунский и Ландау, а Шубников расстрелян). Сегодня страна чествует своих героев, а завтра требует их уничтожения.

Меня потрясло, как реальная борьба мнений и устремлений разных по своему профессиональному уровню сотрудников, разных по пониманию того, что есть фундаментальная наука, по своему представлению о том, чем должен заниматься институт, чтобы быть максимально полезным своей стране, как именно эта внутриинститутская борьба превратилась в сюжет для допросов. Вопросы, решать которые необходимо на заседаниях ученых советов и на научных конференциях, обрастали определениями “контрреволюционная деятельность, антисоветская политика, шпионаж, диверсии”.

Если бы Шубникова обвиняли в том, что он хотел взорвать какой-нибудь завод или организовать покушение на Сталина, я бы “понял”, что происходило. Но его обвиняли в том, что он хочет уничтожить созданную им Криогенную лабораторию.

“Говорить о его вредительской деятельности в области физики низких температур совершенно абсурдно, учитывая, что он как раз является одним из создателей этой области у нас”. Это - из письма Л. Д. Ландау военному прокурору от 15 августа 1956 г., когда было возбуждено дело о реабилитации.

В современной режиссуре есть такой прием. Не знаю точного термина, но, наверное, его можно назвать сдвигом жанра. Драму ставят как комедию, а комедию - как трагедию. Иногда таким путем удается глубже проникнуть в психологию персонажей.

Режиссеры из НКВД бытовую драму из научной жизни Института превратили в трагедию. С теми же героями, что писали, остроумно защищая свою точку зрения, статьи в стенную газету, вышучивали оппонентов в капустнике и гневно (по-настоящему) обличали на ученых советах и семинарах бездарных в науке коллег, не считаясь с тем, что наживают себе врагов, врагов, которые проявят себя не в бытовой драме, а в страшной, со смертельным исходом трагедии.

Следователи НКВД - опытные режиссеры. Они умели заставить “произносить” то, что им нужно, и так, как им нужно. Читаешь протокол допроса и с ужасом понимаешь, что многое написано или сказано действительно подследственным. Следователь не мог написать подобный текст самостоятельно. Он написан, как минимум, совместно с подследственным.

Поражает (скорее - ужасает) неразрывность происходившего в институте и в застенках НКВД.

Очень трудно писать на эту тему. Неточность, неумение найти нужное слово могут обернуться оскорблением тех, кого я не хочу оскорбить, к кому по-прежнему испытываю бесконечное уважение. За то, что они делали и сделали, когда сами распоряжались собой.



Наверное, надо ответить (не только себе, но и читателю) на вопрос, заданный вначале. Как вели себя те, кто пережил трагедию разгрома института, кто не был арестован? В книге нет (и, по-видимому, это соответствует фактам) документов, бросающих тень на Синельникова, Вальтера, Слуцкого, Шпетного, хотя в той научно-бытовой драме, которую превратили в трагедию, они были "на другой стороне". Частично против них выступали репрессированные (потом!) сотрудники.

В "Деле..." есть "Объяснение" К. Д. Синельникова, написанное 3 июля 1956 г. (по-видимому, тогда было начато дело о реабилитации, для некоторых - посмертной). К. Д. Синельников в 1956 г. - директор УФТИ.

В "Объяснении" все "правильно": "Ни о каких контрреволюционных организациях ни в ЛФТИ (ленинградский физтех многократно упоминается в "Деле..."), ни в УФТИ я ничего не знаю, не знаю также о причастности Шубникова, Горского и Розенкевича к какой-либо политической или контрреволюционной организации". И дальше: "...они никогда не выступали против сотрудников института, занимавшихся оборонной или прикладной тематикой. В УФТИ в те годы проводились многие дискуссии о направлении работ, было много споров и разногласий об общем направлении научной деятельности института, было много разговоров, что институт работает плохо благодаря наличию большого числа сотрудников, которые в течение ряда лет не дают научной продукции, о необходимости поднять теоретический уровень сотрудников, о необходимости регулярно проводить "чистку" института от ненужного балласта и т.п., но никогда я не слыхал о какой-то "травле".

Пожалуй, К. Д. притупляет остроту борьбы мнений в годы, предшествовавшие репрессиям. Но ниже (для меня неожиданно) Синельников пишет: "Однако должен заметить, что все дело о контрреволюционной (или шпионской) организации в УФТИ очень не-

ясно (по крайней мере для меня), т.к. у нас действительно существовали бесспорные шпионы - Фриц Хоутерманс и Вайсберг, а также непонятная личность Фомин...”

Ф. Хоутерманс и А. Вайсберг - иностранные специалисты-физики. Их, как и химика К. Вайсельберга, и многих других, привлекла романтика социалистического строительства в СССР, в котором они хотели принять активное участие. И принимали. В результате - арест. К. Вайсельберг был расстрелян, а Ф. Хоутерманс и А. Вайсберг более двух лет провели в советских тюрьмах и, наконец, были высланы за границу как нежелательные иностранцы.

Сравнительно недавно вышла интересная книга В. Я. Френкеля “Профессор Фридрих Хоутерманс: работы, жизнь, судьба” (СПб, 1997). А. Вайсберг сам описал свои приключения в стране большевиков. Его книгу мы уже цитировали по опубликованным отрывкам в “Деле УФТИ”.

Вернемся к “Объяснению” К. Д. Синельникова. Его уверенность, что Хоутерманс и Вайсберг - шпионы, по-моему, имеет своей основой ксенофобию. Удивительно, что ею был заражен такой человек, как К. Д. Он провел некоторое время в Англии, был учеником великого Резерфорда. Между прочим, его женой была англичанка. Трудно понять. Среди сотрудников УФТИ в мое время шли разговоры (шепотом), что К. Д. очень боится НКВД. Именно потому, что у него жена - англичанка. Более того, будто с использованием ее писем в Англии была издана книга, в которой наша жизнь не изображалась сплошным праздником. В результате (повторяю ходившие слухи) К. Д. ощущал себя “на крючке”, боялся. Быть может, чувство страха заставило его высказаться столь определенно. Он как бы “объяснил”, что действия НКВД имели определенные основания. Боюсь, я несправедлив. Но мое “недовольство” Синельниковым питается не столько его “Объяснением” (а вдруг он действительно был уверен, что Хоутерманс и Вайсберг - шпионы!?), сколько действиями, непосредственным свидетелем которых я был: например, увольнением из УФТИ Финкельштейна, Цукерника, Цирлина, Дейча, Корсунского, Фогеля.



Есть пьесы, в которых главный герой (или один из главных героев) не выходит на сцену. О нем говорят, на него ссылаются, приводят его высказывания. Ландау не был непосредственным участни-

ком трагического спектакля, поставленного харьковским НКВД. Но почти в каждом из документов, собранных в разделе “Один год из жизни УФТИ в документах и материалах”, он упоминается. Его пытаются сделать главой “контрреволюционной вредительской группы”, в состав которой входили, кроме Ландау, Корец, Обреимов, Шубников и Трапезникова. “Данная группа возглавлялась Ландау Л. Д.” Арестован Ландау был только в апреле 1938 г. И, как известно, провел в тюрьме “всего лишь” год: П. Л. Капице удалось добиться его освобождения.

Меня занимает вопрос, почему главой одной из “вредительских” групп пытаются сделать Ландау. Что это: своеобразная дань уважения к его способностям физика-теоретика или к его авторитету среди коллег? Скорее, это подтверждение того, что все “следствие” - продолжение институтских дискуссий о направлении работ - другими методами, конечно. Ландау был из наиболее активных, значит - глава контрреволюционной, вредительской группы.

Копаясь в прошлом своих “героев”, энкавэдэшники пытались обнаружить истоки их “антисоветской деятельности” в ленинградские годы: многие до УФТИ работали в ЛФТИ. В состав антисоветских групп “кооптируются” почти все крупные советские физики: Я. И. Френкель, П. Л. Капица, Н. Н. Семенов. Френкель упоминается особенно часто. Физически ощущаешь, какие тучи сгущались над ним.



1935-й год открывает “Дело УФТИ” потому, что в этом году был арестован М. А. Корец.

У меня нет желания излагать “дело Кореца”, как назван один из разделов книги (стр. 175). Но все же несколько слов надо сказать. Причина ареста ясна - донос директора (в то время) УФТИ С. А. Давидовича, пытавшегося отвести от себя удар за фактический развал института. Уже в первом (от 17.11.1935 г.) постановлении по делу Кореца фигурирует контрреволюционная группа, которая “проводит разложенческую работу среди сотрудников УФТИ”. Давидович “информировал харьковский НКВД о том, что в институте возник заговор под руководством Л. Д. Ландау и А. Вайсберга для саботажа военных работ”.

Читая приведенные документы, диву даешься, хотя понимаешь, что алогизм - основная черта происходящего. В деле Кореца есть характеристика, подписанная “треугольником” (не забыли этот тер-

мин?). Одна вершина треугольника - директор - А. И. Лейпунский. Он уже сменил Давидовича, знает, что Корец арестован за выступление против Давидовича, по доносу Давидовича, и подписывает документ, в котором: "Корец был активным участником группы, борьба которой против дирекции и оборонных работ ударяла по выполнению оборонной тематики УФТИ". Меньше чем через два года он сам "станет" участником этой группы.

Корец в тот раз избежал долгого тюремного заключения. За него вступились Л. Д. Ландау, И. В. Обреимов, Л. В. Шубников и другие. М. А. Корец был арестован вторично 28 апреля 1938 г. в Москве - в тот же день, что и Ландау. Корец отсидел свой срок от звонка до звонка.

В "Деле Кореца" приведено письмо Л. Д. Ландау к наркому внутренних дел Украины В. А. Балицкому. Написано оно приблизительно через месяц после ареста Кореца. Обратите внимание на деловой и спокойный тон письма. Испытывал ли Ландау страх, когда писал и отправлял письмо? Мне кажется, нет. Похоже, он уверен, что НКВД введен в заблуждение. Разберутся и исправят допущенную ошибку. Он, со своей стороны, готов этому помочь: "Я очень просил бы Вас, если Вы найдете это возможным, предоставить мне случай в личной беседе с Вами поговорить о деле Кореца".

Знакомство с письмом Балицкому еще раз убедило меня в справедливости самооценки Ландау, который корил себя за то, что суть советского режима понял только тогда, когда сам был арестован (см. М. И. Каганов, "Школа Ландау. Что я о ней думаю", 1998 г.).



Читая "Дело УФТИ", я невольно переносился в 30-е годы. В 1937 году мне было 16. Конечно, жил в душе страх. Был ли он доминантой настроения в те годы? Память услужливо подсовывает трогательные моменты юности: школьные друзья, первые свидания. "Помню - папа еще молодой... Помню - мама еще молода". В 1937-м у меня родилась сестра. Жили. И знали. К нам из Харькова в Киев, где мы тогда жили, приезжала моя тетька - сестра мамы - в безуспешных попытках узнать о судьбе арестованного мужа. Через много лет выяснилось, что он был расстрелян вскоре после ареста (как Л. В. Шубников). Мы знали и жили...

ПЕЧАЛЬНЫЙ АККОРД

Каждому поколению взгляды предыдущего кажутся наивными, а последующего - циничными. Суть дела, однако, наверное, в том, что это взгляды на разные реальности, которые находятся перед глазами тех и других. Если старшему поколению КГБ теперь кажется жуткой, всесильной мафией, окруженной атмосферой смертоносной тайны, моему возрасту эта организация предстала уже чем-то вроде привилегированной милиции, которой можно опасаться, но перед которой не стоит трепетать.

Трагический ужас "Дела УФТИ", отрывки из которого напечатаны на предыдущих страницах, кажется профессору М. И. Каганову дьявольской работой НКВД. "Следователи НКВД - опытные режиссеры", - пишет он в своей эмоциональной статье "Через 60 лет", завершающей "Дело..."

А я думаю: откуда был у них режиссерский опыт? И зачем он им?

Каганов дальше пишет о проф. К. Д. Синельникове: "Его уверенность, что Хоутерманс и Вайсберг шпионы, по -моему, происходит от ксенофобии. Удивительно, что ею заражен такой человек, как К. Д., бывший в Англии учеником великого Резерфорда. Между прочим, его женой была англичанка. Трудно понять..." Что, собственно, здесь так трудно понять? Что у человека, женатого на иностранке, вряд ли может быть ксенофобия? Что он обвиняет своих коллег; чтобы выгородить себя? Что, не решаясь в период реабилитанса прямо назвать шпионом молодого физика Фомина, расстрелянного за две недели, ни за что ни про что, он объявляет его "непонятной личностью"? (Разве всех непонятных следует расстреливать?) Дальше объясняется, что Синельников, наверное, из-за жены так боялся НКВД, что подыгрывал ему. А кто, интересно, его не боялся?

Каганову и в голову не приходит, что Синельников, возможно, ничего не боялся (по крайней мере, поначалу), а был с ними на короткой

ноге... Это потому, что он знает Синельникова как “ученика великого Резерфорда” и директора УФТИ, “авторитет которого был огромный”.

В нашем циничном поколении (т. е. среди студентов проф. Каганова) было широко известно, что Синельников - сотрудник КГБ. Что это конкретно означало - никто, конечно, не знал, но и трудностей в понимании, как и пиетета к ученику великого ученого, у нас уже не было и в помине.

Такое циничное понимание позволяет также и кощунственную мысль, что часть вины за всю эту “режиссуру” ложится на самих обвиняемых. Именно они позволили некомпетентным (фактически малограмотным) людям участвовать (а, может быть, и помогать в борьбе) в своей профессиональной дискуссии о развитии науки и технологии в СССР так, как будто эти люди ничем, кроме пользы отечества, не были озабочены. Как будто вообще есть такие люди, для которых свои собственные интересы ничего не значат.

И эта вина ложится прежде всего на тех, кто искренне верил советской власти и принимал всерьез ее лозунги. Профессор М. (Мусик) Каганов свидетельствует, что в шестидесятые годы Л. Ландау корил себя, что и он сам понял суть советского режима только после собственного ареста.

А у меня есть и другое неожиданное свидетельство. В 1975 г., после заседания попечительского совета Тель-Авивского университета, ко мне подошел пожилой джентльмен и в небрежной манере спросил, был ли я в России знаком с профессором Ландау. Я сказал, что знаком, конечно, был, но не настолько близок... Тут он перебил меня и азартно закричал: “Ну и как, он до конца остался таким же дураком, как и в 50-е годы?!..” Я смущенно забормотал что-то про его гениальность и “Курс физики”, но он отмел все это взмахом руки: “Я не о физике говорю. Я говорю, что он был фанатично предан советской власти и верил всем их выдумкам...”

Эксцентричный джентльмен оказался профессором Теллером - отцом американской водородной бомбы. В молодости он вместе с Ландау был в семинаре у Нильса Бора и, оказывается, вступал в горячие споры с ним (и многими другими физиками) по политическим вопросам.

Ландау был тогда не одинок. Бесчисленное множество интеллектуалов в Европе начала XX века всерьез верило, что стоит “научить каждую кухарку управлять государством”, чтобы жизнь потекла по-другому. И вслед за Ландау, Шубниковым и Капицей эти западные идеалисты рванулись в страну победившего социализма. И там

искренне пытались слиться и отождествиться... (См. страшную историю расстрелянного австрийского химика Конрада Вайсельберга и его сына, ставшего Александром Конрадовичем Харламовым.)

Что должен был думать следователь НКВД с четырехклассным образованием, попавший в ЧК по комсомольской путевке, когда он получил от директора УФТИ заявление, что “в институте возник заговор под руководством Л. Ландау и А. Вайсберга для саботажа военных работ”? Или характеристику сотрудника с такими словами: “Корец был активным участником группы, борьба которой против дирекции и оборонных работ ударяла по выполнению оборонной тематики“. И, вместе, протокол Ученого совета, на котором научные сотрудники выступали друг против друга и употребляли такие слова, как “интересы социализма“, “оборонная тематика“ и т.д. (В наше циничное время уже всем было известно, что “оборонная тематика“ означает просто прибавку к зарплате.)

Должен ли был следователь быть “опытным режиссером”? Или отпетым злодеем? Скорее, он был бы самоубийцей, если пытался бы погасить это дело в раскаленной атмосфере “обострения классово-борьбы в капиталистическом окружении“ 30-х годов в СССР. То, что Ландау целых три года не сажали, несмотря на бесчисленные доносы любителей, скорее показывает, что до определенного времени (может быть, и до особого указания) НКВД добросовестно выполнял свою работу, полагаясь только на проверенную информацию своих профессиональных кадров.

“Режиссеры из НКВД“ не столько “превратили в трагедию бытовую драму из жизни института“, сколько реализовали недопустимые метафоры партийно-политического жаргона, на котором пытались разговаривать полные самоубийственного энтузиазма интеллигенты. “Если враг не сдается - его уничтожают“, - эту подходящую ко времени фразу произнес не осторожный товарищ Сталин, а всемирно известный гуманист Максим Горький, чье имя много лет с гордостью носил наш Харьковский университет. Ученых расстреляли, конечно, не за их взгляды или поступки. И одного из следователей, замешанных в “Деле УФТИ“, Торнуева, приговорили к расстрелу спустя четыре года не за “нарушения социалистической законности“ и бессмысленную гибель невинных людей. Просто и те и другие попали в шестерни мощной машины, которую они, с разных, конечно, сторон, помогали строить, но которая не предполагала их благополучия и вообще на реальных людей совсем не была рассчитана.

Перечитывая в очередной раз весь предшествующий материал,

я думаю: “Откуда взялось у молодого Теллера столько пронизательности, чтобы уже в 20-х видеть, куда идет дело?”

Впрочем, и в 40-х, во время войны с Германией, он был достаточно пронизателен, чтобы поддержать проект атомной бомбы. А в 50-х и 70-х он не испугался прослыть поджигателем войны и махровым мракобесом, настаивая, что коммунизм - это разновидность фашизма. Как ни странно, среди ученых он был почти одинок. Его позиция не вызывала сочувствия, а его эксцентричная манера (вполне в духе Ландау) отпугивала людей, привыкших к принятым на Западе обтекаемым формам выражения.

Те самые ученые, которые не знали, как выразить свое восхищение Сахаровым, с трудом сохраняли вежливость в отношении Теллера, делавшего (и, в сущности, провозглашавшего) то же самое.

Сахаров сделал свое изобретение в молодости, будучи полон патриотического энтузиазма. В зрелые годы опыт жизни убедил его, что советскому режиму нельзя доверять судьбы человечества. Теллер уже смолodu был уверен, что идея планируемого общества ничем иным, кроме всеобщей тирании, быть не может, и в зрелые годы занялся сначала атомной, а потом и водородной, бомбой, считая, что и от нацизма, и от коммунизма равно следует ожидать смертельной опасности демократическому образу жизни. Я не думаю, что он руководствовался какой-нибудь социальной теорией. Просто его представления о человеческой природе оказались более реалистическими, чем у его сверстников и коллег.

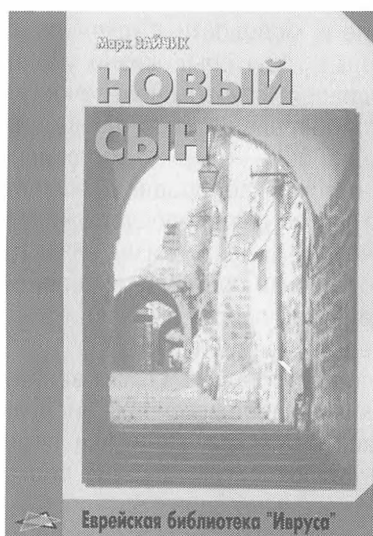
Но, как физики, они оба работали над одной из самых важных для будущего человечества проблем: создание источника энергии, не зависящего от органических запасов Земли. Политики видят здесь одну только бомбу, но если человечеству суждена долгая жизнь, эта проблема станет проблемой номер один.

Я спросил у Теллера, почему он смолodu был так скептически настроен по отношению к человечеству. Он ответил, что в 1919 году во время советской революции в Венгрии попутчики выбросили его на полном ходу из поезда, заподозрив в нем еврея. Они оказались правы. Он выжил. И, хотя он с тех пор хромает (ему тогда было 17), он благодарен судьбе за этот жестокий урок человековедения.

Конечно, это не объяснение. Почему одни люди поддаются иллюзиям и коллективным психозам, а другие - нет, не знает никто. Но все же знание истории (и психологии) поставляет нам прецеденты, которые могли бы помочь вдумчивому человеку. Знание добавляет печали. Станет ли следующее поколение от этого еще циничнее?

Михаил Юдсон

К РАДОСТИ, ИЛИ ЯСНЫЕ СНЫ (О сборнике рассказов Марка Зайчика "Новый сын")



“Во сне с Мишей происходили удивительные и даже странные вещи”.
(От Марка; III рассказ; 25 стр.)

Во время тяжелого, с регулярными вздрагивающими пробуждениями к кошмарной яви, чуткого сторожевого сна (я охранял какую-то будку на задворках мегаполиса), примерещилась мне литературная ночь - вот, во-от оно, последствие неумеренного посещения литвечеров!.. Виделось - большая, уж побольше будки, зала была ярко освещена (плюс свечи горели), и люди сидели на скамьях, тихо раскачиваясь. Автор - атлетического сложения добро-

душный мужчина с внимательными глазами, стоял где-то посреди этого всего и, держа свиток, зачитывал главу. “Вещая вещь русскую речь из Иерусалима!” И понял я, что зовут его Марк Меирович Зайчик (далее М. З.), а читает он свой сборник “Новый сын”. И хорошо стало, и я засмеялся во сне.

Известно из книг, что, ежели такое приснится, то, по Юнгу, - это точно к снегу, перемежаемому дождем. Но уж до дождя ли, когда ежедневно горячий воздух из пустыни!.. Ну и ладно, пусть. Ненадолго смутимся, задумаемся, сняв очки и ихней оглоблей почесывая переносицу, да и примемся отважно толковать, трактовать и рассматривать соткавшиеся, возникшие эти рассказы всяко-разно! Заранее предупреждая о множественных (поблескивающих) вкраплениях авторской речи...

Сны вплетены в странную прозу М. З. Они живут там, множатся, из них вылупляются персонажи (“вот он выходит из моего сна...”), они тяжелые, цветные, негасимые, реальные, осязаемые, а если герои слишком пристально начинают в них всматриваться, то и сны начинают всматриваться в них...

Проза Зайчика все время, всю дорогу странствий по страницам, немного как бы плывет перед глазами. По содержанию абсолютно вроде бытовая (иногда прямо статья) - мирные малосюжетные истории про наших, так сказать, соседей, так сказать, современников, так сказать, знакомых, новых и старых добрых репатриантов, вот про что пишет автор - но он умеет Так сказать!.. И вот как это загадочно смастерено, как завораживающе расставлены значки на бумаге, что им, как значкам легионов, хочется поклониться, да поближе, вчитываясь... Какой-то, скажем так, “иерусалимский реализм”.

Иерусалим - вообще столица этой славной книги, и, следуя близлежащему Леониду Добычину с его “Городом Н”, сборник мог бы зваться “Город И”. Да и названия рассказов: “По дороге в И”, “Сменив в И фамилию”. А если еще и вспомнить, что на языке аборигенов “И” означает “остров”, то и замятинские, мычащие чего-то по-своему, островитяне всплывают - из пещеры да в нумера, в нумера! Поближе к Бл-годетелю!

Этакое неторопливое, как бы одышливое, с пробками, движение повествования - с иерусалимскими реалиями (“поворот на мою улицу был сразу за крутым спуском от дворца английского губернатора”, “их дом стоял на Французском холме” - дублинская точность!), незамысловатые новеллы про разных людей, приехавших сюда издалека - выкарабкавшихся из Котлована к Чевенгуру, бело-

му городу на горах... Героя главного рассказа "Новый сын" зовут Платонов, и это неспроста. "Тут даже котенок настожится!" Любознательный, гибкий, прочный и плавный язык, да, да, между прочим, конечно... - Но это ничего не значит, господа! - любит повторять сам М. З.

Такая очень плотская проза, постплатоновский пир - еда, питье, женщины (короче, е.п.ж. - е.б.ж., как говаривал Лев Николаевич) - и очень радостная! Солнечная сторона жизни, светлые блики, скользющие вдруг по селедке, бутылке, залке (вот вам, кстати, и классическая лунная ночь готова!...). Немножко, позвольте - любимое, избранное, наизусть: "Две 750-граммовые бутылки водки "Север" (город Ашход, фабрика "Колхида"); три фужера коньяка "Медицинский"; непочатая бутылка JB; стакан "Метаксы"; оседлал бутылочку "Белого коня"; финская водка из бутылки с насечкой; бутылка местного "84-го" (привет от Оруэлла?) коньяка; полупустая бутылка английского джина с дядькой на этикетке; рюмка водки "Голд"; 150 граммов в граненом и мокром стакане тепловатой, мягкой на вкус водки под названием "Сибирская" (калужского разлива); стаканчик виски из литровой праздничной бутылки; бутылка анисовой водки с зеленой оленью на этикетке..."

Это ж просто волшебный сон какой-то! Полет пчелы вокруг граната!..

"Нужно обязательно принять и расслабиться! - мягко убеждает автор. - Полегчает!" И тут же спешит суховато добавить: "И обязательно закусывай - иначе плохо будет тебе от выпитого, а должно быть хорошо". О, навек родимые интонации Венички! О, ода водочке - до зеленых оленей! В общем, куда там дилетантам: "Попьем вина, закусим хлебом. Или сливами..."

Приступим же к основательной серьезной закуске и совмещенным с ней женским образам. Наиболее часто встречается "чудесная красноватая обожаемая селедочка иерусалимского засола". Но коронное блюдо - суп из ноги (уточню - коровьей осмоленной). Этот суп кочует, переливается из рассказа в рассказ, а вообще верховья его, берет начало он в романе Зайчика "Сделано в СССР", сделанном в 1988 году в Иерусалиме. (Кстати, ремарка: антрекоты перед тамошними влюбленными Гиорой и Ирит - это вечные свиные отбивные, "три товарища", перед Робертом и Пат).

Сборник обнадеживающе забит едой, как морозильник. Проза М. З., окутанная маревом от варева, пронизана вкусовыми рецепциями, и будничные рецепты приготовления бульонов, мясов и са-

латов, попадая сюда, под его рукой (языком?) превращаются, как тыква в карету, в нарядный текст. Ну, дано ему такое. "Омлет, похожий цветом на ночной черноморский залив при лунном июльском свете у города Алупка". Это видит и выдает нам не работяга с холодильника Яша Платонов, тот прост и не импрессионист, а это сам Марк Зайчик, внимательный мужчина. Повторюсь - радость бытия и письма! Коньяк добр, а Марк Меирович мудр и памятлив на лакомые кусочки, и печет "сладкий хворост воспоминаний" под неумолчный хруст прустовского миндального печенья.

Краешком, походя коснемся-с женщин. В рассказах их хватает - они обитают под боком, изредка что-то сготовят, подадут и отходят. Семенящие существа! "Она вступила в эту жизнь, как входят в майское море, - осторожно и зябко..." Да, да, как луг в мае, по которому бродят женщины и Бабель... Или вот, не удержусь, цитата: "Данные личного тела у нее были бесспорно. Замечательные". Это и есть М. З. Это он - мгновенно узнаваемый из ныне пишущих. Замечательный. (Крупный, чувственный еврей, как написал бы Генри Миллер). В дальнейшем автор приводит известные строки Шевченко:

*Бабы - они как люди,
Но не совсем люди.*

И все всем становится понятно, а на сердце легче.

В раблезианских снах Зайчика много и дружно жуют, сладко пьют горькую и самоотверженно уважают женщин. Да и Наверху наверняка время от времени кто-то есть - вот ведь как все неплохо устроено! Нас ненавязчиво подводят к мысли, что, возможно даже, и та самая Книга - и она, в общем-то, о вкусной и здоровой пище, выпивке, женщине - о жизни!

Движения сюжетов рассказов медлительны и чуть неуклюжи, как и подобает во сне, но пропитавший прозу М. З. азартный спортивный дух, активный запах носков "Найк", футболки, раздевалки создает совершенно особую атмосферу сборника. Да и рассказов не зря одиннадцать - команда, конечно. Спорт - он, бесспорно, тоже творчество, не хуже прочих, некое искусство, внушает автор. Владение мячом верхними и нижними человеческими конечностями (баскетбол, футбол) - важнейшее и фундаментальное занятие (верую, сам такой!), и действительно, что наша жизнь, как не череда чемпионатов с памятными датами матчей, "звенящее мячом и счастьем" существование. Дубля "Зари" 1972 г. я не помню, но основу - да! ("Колоссально! - похвалил бы В. Г. Попов. - Жизнь уда-

лась!“) И обязательно - настольные игры, минус преферанс, плюс шахматы. Эти ходячие, почти разумные фигурки встречаются у отца Марти, немца, и у отца Марка, разыгрывающего в Вене защиту Нимцовича (“По дороге в Иерусалим“). На Французском холме играют французскую партию в “Новом сыне“. Незримый подзаголовок сборника - “Защита Зайчика“, доброжелательного, мягкого, читающего человека, незаурядного литератора, живущего в Иерусалиме, в окружении персонажей. Полупроводник по венскому чистилищу Вергилий Овидиевич (малонормален и колоритен) поднимается, оборачивается в соседа Плутарха Овидиевича из следующего рассказа - дом-то один и соседи повсюду те же. Грустен и растителен “Просто Гальперин“, молчаливый иерусалимский велосипедист (но когда-то он трижды сказал “Да“, а не отрекся, как некоторый). Страшен грузно переползающий из рассказа в рассказ злыдень майор Куперман Г. Б. (“К вопросу о наказании“) - приехавший доживать кощей (К.Г.Б., конечно, олицетворенье тьмы). Странен прихрамывающий немец-голландец-скандинав, провозвестник мрачного царства справедливости-марксизма, грядущего в Ершалаиме (встретился он нам почему-то в бане и, слава Иешуа, хорошо хоть без свиты!) И сны снова и снова перетекают в явь, где и загустевают, застывают, как в янтаре. Четок и прозрачен Иерусалим. Остальные земли Израиля в дымке. Даже Тель-Авив где-то там, далеко, в тени деревьев, под сенью девушек в цвету, “очень дорого“, да и есть ли он вообще?! Вот герой, нынешний репатриант, далеко не полубог (“Блажен, кто им когда-нибудь дышал“), сидит с поэтом Довидом Кнудом в тель-авивском кафе, пьет коньяк с лимоном - ах, хорошо! - как такое место называется, где оно, ребята, не доскакать, вы ж понимаете...

“Особенный еврейско-русский воздух“ в зоне прозы М. З. И на обложке книжки - известное иерусалимское архитектурное нечто - освещенная солнцем арка, а за ней другая, третья, длящаяся “череда впечатлений“, и ступени, ступени, слава Б-гу, вверх...

Послесловие

Я познакомился с Марком Меировичем Зайчиком около десяти лет назад, где-то в середине осени, как раз в Тель-Авиве. Здание, где это произошло, существует и поныне, и находится неподалеку от старой Таханы Мерказит. Редакция располагалась, кажется, в третьем этаже. Шел, чтоб ему, дождь, и пока я доплелся с котомкой от автобуса, то сильно вымок и озяб. В редакции я согрелся,

обсушился и остался. Столы с компьютерами стояли по кругу в центре большой комнаты, и за ними сидели разные интересные люди. М. З. выделялся. Он был неизменно приветлив, бодр и трудолюбив. Он писал. В далекой Америке в "Эрмитаже" вышла у него тогда уже книжка, и в Израиле тоже, и готовилась в Ленинграде вроде бы. Я подходил к нему, когда он работал, и осторожно заглядывал через плечо на экран - мне нравилось появляющееся, я хотел понять последовательность, уловить, как возникают тексты - "громоздкие сооружения из слов", так он их называл. Изредка он общался, передыхая.

- Вот, сборник у вас там выходит, Марк Меирович, скоро, - говорил я вежливо. - Вот хорошо-то как, да?

- Кому это надо... - неопределенно отвечал он, мягко улыбаясь, и вновь принимался касаться клавиш, выдалбливать что-то гармоничное.

Вскоре, однако, жестокая жизнь разбросала нас и наше общение (я не посмею сказать - дружба) прекратилось. Встретились мы недавно, столкнувшись в узком редакционном коридоре большой ежедневной русскоязычной газеты с почти евангелическим названием. Я забрел туда без всякой специальной цели (или нет, вру, в туалет), а Марк Меирович к тому времени руководил там хорошим, и отчасти даже литературным, приложением. Я обрадовался случаю возобновить знакомство и немедленно представился. Он пожал мне руку и не узнал. Так мы снова стали видеться. Часто, заходя, когда приспичит, я наблюдаю, как его крупный организм легко скользит по коридорным лабиринтам, кабинетам и закуткам редакции - эдакий дриблинг, извилистые движения форварда вдоль кромки поля. М. З. в форме, он творит плодovито и чудотворно. Даже в газетных заметках, когда он явно действует автоматически - все равно, в движениях его текста, пусть слабо оформленных, ощущается могучее изящество таланта, полностью согласен. Необъяснимость, феномен, прихват (его термин) странного таланта - складывать слова. Да, может собственных Платонов!..

Его рассказы, статьи и заметки (их сразу вычлeняешь из общей скучной кучи), ныне разбросанные, когда-нибудь, конечно, будут вместе, воссоединятся. Как были они собраны и систематизированы у другого знаменитого М. З. (Михаила Зоценко) по всяким там "Крокодилам" - "Бегемотам"...

Он живет в Иерусалиме и, не знаю, имеет ли собаку, но зато играет в футбол с друзьями и пишет.

- Вот, сборник у вас здесь вышел, Марк Меирович, "Новый сын" называется, недавно, - говорю я вежливо. - Вот хорошо-то как, да!

- Никому это не надо, - твердо произносит он, по-прежнему улыбаясь.

- А я вот весь его прочитал, от корки до корки, Марк Меирович, и, вы знаете, мне очень понравилось. Но вот о чем, о чем все-таки все это написано, а?

- О свободе, абсурдности и удовольствии человеческой жизни, о цели ее и мраке ее, - отвечает Марк Зайчик исчерпывающе. - Но это ничего, абсолютно ничего не значит, господа!..

Вышли в свет новые книги
ВАЛЕНТИНА КРАСНОГОРОВА

„ЧЕТЫРЕ СТЕНЫ И ОДНА СТРАСТЬ

или

Драма - что же это такое?"



„ПРЕЛЕСТИ ИЗМЕНЫ“

(сборник пьес)

Валентин Красногоров известен как драматург, прозаик и публицист

«Четыре стены и одна страсть» – размышление писателя о сущности драмы.

Книга написана живо, увлекательно и высоко оценена многими известными деятелями литературы и театра.

В сборнике «Прелести измены» представлены пьесы, сыгранные в лучших театрах России: БДТ им. Товстоногова. Малом драматическом театре в Петербурге под руководством Льва Додина, Академическом театре им. Пушкина (Александринке) и др. Трагедия «Собака» поставлена также в США. Сюжет этих пьес вечен и прост – встречаются мужчина и женщина ..

Цена каждой книги в Израиле – 18 шек.,
в других странах – 8 долларов США (не считая пересылки).

Желающие приобрести книги могут обратиться к автору:

11/20 Ha-Prahim St., Haifa 34733

тел.: 972-4-829-3461, 972-4-824-7538; факс: 972-4-867--9365

E-mail: merghvf@tx.technion.ac.il

Эли Корман

ЗАЧЕМ ГОРЯТ РУКОПИСИ, или ЧЕГО НЕ МОЖЕТ ВОЛАНД

Пассажир ночного автобуса смотрит в окно. Он видит огни, прохожих, стены с вывесками. И это значит, что окно - прозрачно.

Но он видит и себя, видит салон автобуса, видит других пассажиров, видит, наконец, противоположное окно, а в нем - огни, стены с вывесками, прохожие... И это значит, что окно - зеркально.

Но если он смотрит внимательно, он видит царапину на стекле, налет грязи, застывший пузырек воздуха, он может оценить толщину стекла и его крепость.

Литература подобна окну автобуса. Через нее можно познавать внешний мир (прозрачность), а можно себя (зеркальность). И еще при желании можно познавать внутреннее строение самой литературы.

Поговорим о замечательном афоризме Воланда: "Рукописи не горят". Это высказывание оторвалось от породившего его текста, стало крылатым.

Не беремся полностью объяснить, в чем его сила. Но одну частную причину укажем. Сразу вслед за произнесением афоризма следует его зримое подтверждение: появляется восстановленная рукопись.

Воланд восстановил рукопись! "Всесилен, всесилен!" - восклицает Маргарита. Рукопись сожгли, но она восстановлена, и потому - "рукописи не горят".

И только одна маленькая ложка дегтя. Жаль, но мы вынуждены ее добавить: рукопись восстановлена не полностью.

Как вставить письменный документ в художественный текст? Или, выражаясь программистским языком, каким должен быть интерфейс вставляемого и объемлющего текстов?

Если речь идет о коротенькой записке, проблем не возникает.

Они появляются, когда документ занимает несколько страниц, и становятся весьма ощутимыми, когда речь идет о вставном романе, например, романе Мастера о Пилате.

Какой, собственно, роман написал Мастер? Как он называется? Сколько в нем глав, каковы их названия, порядок следования и, наконец, где тексты глав?

Название романа неизвестно. (Как неизвестно и название написанной Иваном Бездомным поэмы об Иисусе). И имя автора неизвестно. Или, если угодно, его имя - Мастер. Но какова природа этой неизвестности? Не является ли неизвестность результатом умышленного сокрытия?

“Она гладила рукопись ласково... и поворачивала ее в руках, оглядывая со всех сторон, то останавливаясь на титульном листе, то открывая конец”.

Ах, значит, есть титульный лист? А на нем, как положено, имя автора и название романа? Надо полагать. Но прочесть это нам не дано.

*Желтый, в дешевом издании,
Будто я вижу роман.
Даже прочел бы название,
Если б не этот туман.*

В стихотворении Анненского речь идет о сне. Что ж, давайте продолжим аналогию со сном. Спящему кажется, что он вот-вот прочтет название. Оно есть, но прочесть его пока что не удалось. Туман мешает.

На деле же названия нет. А туман нагнан исключительно для того, чтобы у спящего была благовидная оправдательная причина, почему он не прочел название.

То же и с титульным листом романа о Пилате. Лист - пуст.

Но если он пуст, то как же этого не видит Маргарита? А очень просто. Структурное сознание - сознание высокого уровня (а, значит, невидимое) прокралось в сознание Маргариты и создало там “слепое пятно” невнимательности. Маргарита, может, и видит, что титульный лист пуст, но не придает этому значения.

“Ах, помню, помню! - вскричал Иван. - Но я забыл, как ваша фамилия!” Ах, как кстати забыл Иван фамилию собеседника! Собеседник, видите ли, отказался от своей фамилии, не хочет ее называть, вот поэтому забывчивость Ивана очень, понимаете, кстати. И забывчивость Ивана, и невнимательность Маргариты инду-

цированы, наведены структурным сознанием. Это ширмы, которыми оно заслоняется, чтобы за ними спокойно делать свое дело - дело уплощения текста, то есть удаление имени автора, названий глав и т. д.

Формально в "Мастере и Маргарите" лишь две главы вставного романа: "Как прокуратор пытался спасти Иуду из Кириафа" и "Погребение". Глава "Понтий Пилат" - это рассказ Воланда литераторам, глава "Казнь" - пересказ кем-то (повествователем?) сна Ивана. При этом ясно, что на самом деле это никакой не сон. Например, известно, что в настоящем сне спящий не может читать мысли людей, снящихся ему. А вот Ивану "снятся" мысли Левия Матвея.

Но, поскольку стилистически главы "Понтий Пилат" и "Казнь" соотносятся с главами "Как прокуратор..." и "Погребение", и все четыре резко отличаются от всего остального текста - то мы, так и быть, не будем мелочными. Будем считать, что все четыре главы принадлежат вставному роману и расположены в нем в том же порядке, что и в объемлющем, то есть в "Мастере и Маргарите".

Прекрасно. Но вот с названиями вставных глав такой идиллии уже не будет. В самом деле: роман состоит из двух частей. Нумерация глав сквозная. Номера глав образуют единый числовой ряд, и здесь неважно, относится глава к объемлющему тексту или ко вставному. Но в таком случае то же самое должно иметь место и для названий глав. Иными словами, названия всех глав образуют единый текст одного (первого) уровня и, стало быть, все принадлежат объемлющему тексту!

А теперь обратим внимание на явление, возникающее всякий раз (а всего четыре раза), когда очередной массив вставного романа погружается в объемлющий текст.

1. Воланд начинает рассказ о давних событиях в Ершалаиме:
"все просто: в белом плаще

ГЛАВА ВТОРАЯ. ПОНТИЙ ПИЛАТ

В белом плаще с кровавым подбоем..."

Нет, не все просто: почему Воланд пропустил заглавие? Мы помним, что заглавия романа о Пилате принадлежат объемлющему, а не вставному тексту. Стало быть, глава, рассказываемая Воландом (ведь он рассказывает главу из романа!), имеет, скорее всего, другое название.

Пусть другое, но ведь имеет! А Воланд его пропустил. Разумеется, Воланд волен рассказывать с любого места, и никто ему не указ, но все-таки сделаем для себя зарубку: заглавие пропущено.

2. Повествователь начинает описывать сон Ивана: *“и снилось ему, что солнце уже снижалось над Лысой горой...”*

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ. КАЗНЬ

“Солнце уже снижалось над Лысой горой...”

Опять заглавие пропущено. А ведь мог повествователь написать что-то в таком роде: *“и снилась ему казнь. Да, снилось ему, что солнце уже снижалось над Лысой горой”*.

И опять-таки: никто повествователю не указ, но все же, все же, все же... Вторая зарубка.

3. Маргарита читает уцелевший фрагмент сгоревшей рукописи: *“...тьма, пришедшая со Средиземного моря... Маргарите хотелось читать дальше, но дальше ничего не было, кроме неровной угольной бахромы”*.

Правильно. Лист обгорел снизу, и дальше - бахрома. А вот сверху он вроде бы не обгорел, и непосредственно перед словом *“тьма”* должно находиться название главы, а Маргарита его пропустила. Впрочем, возможно, что название находилось на предыдущем листе (титulyном листе главы), сгоревшем полностью. Возможно. Все возможно. А мы, на всякий случай, сделаем третью зарубку.

4. Маргарита читает восстановленную рукопись: *“и сколько угодно, хотя бы до самого рассвета, могла Маргарита шелестеть листами тетрадей, разглядывать их и целовать и перечитывать слова:*

- Тьма, пришедшая со Средиземного моря, накрыла ненавидимый прокуратором город... Да, тьма...

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ. КАК ПРОКУРАТОР ПЫТАЛСЯ СПАСТИ ИУДУ ИЗ КИРИАФА

“Тьма, пришедшая со Средиземного моря...”

Ну, а теперь-то почему Маргарита пропустила название? Четвертая зарубка.

Да, беда с этими рукописями: как не до конца они сгорают, так не до конца и восстанавливаются. Причем если наибольшее сопротивление огню оказывает текст нулевого уровня, то наибольшее

сопротивление восстановлению оказывают тексты высших уровней: названия глав, название всего текста, имя автора. Может быть, так происходит потому, что тексты высших уровней составляют как бы покрытие основного текста, и потому сгорают первыми и невозстановимо?

А может быть, текстов высших уровней и не было? Может быть, Мастер выполнил что хотел, но не посмел сделать манновский Серенус Цейтблом - написал текст без разделителей, одним потоком?

О нет, прокуратор, не так. И огонь тут ни при чем, и Мастер написал все как положено. Но структурное сознание знало, что тексту Мастера предстоит быть погруженным в некий объемлющий текст и, стало быть, подвергнуться уплощению. Вот оно и провело уплощение. И проследило, чтобы нигде никакой фрагмент уничтоженных текстов высших уровней не всплыл.

“Это была какая-то глава из середины романа, не помню какая”. Конечно, Мастер не помнит: структурное сознание знает свое дело. И в тот момент, когда Воланд восстанавливал рукопись, оно, “стоя за его спиной и выглядывая из-за плеча”, позаботилось о том, чтобы был восстановлен лишь нулевой уровень.

И Воланд, всеильный Воланд, не заметил подлога! Ибо он, при всем своем могуществе, всего лишь персонаж нулевого уровня, к тому же не получивший - в отличие от того же Цейтблома - филологического образования.

Теперь мы знаем, что не сожжение виновато в отсутствии высших уровней романа о Пилате. Но оно, сожжение, выполняет маскировочную функцию. Если у читателя возникают вопросы; “Почему вставной роман дается фрагментами?”, “Почему у вставного романа нет названия?”, то подсказывается ответ: потому, что он был сожжен. Сожжение - это ширма, за которой прячется структурное сознание.

У сожжения есть и скрытая сюжетная функция: уничтожение улики. Ведь в доносе Алоизия Могарыча упоминается “нелегальная литература”, а ею может быть только роман Мастера - ведь именно им интересовался Алоизий. Благодаря тому, что улика уничтожена, Мастер отделяется лишь тремя месяцами заключения.

А все-таки: почему вставной роман распался на три массива?

Ну, во-первых, потому, что нужно по возможности соблюдать единство места и времени, и каждое такое единство оформлять в

отдельную структурную единицу. Во-вторых, потому, что это помогает избежать дурацких ляпсусов, вроде такого:

“Было около десяти часов утра.

Солнце уже снижалось над Лысой горой...”

В десять часов утра солнце поднимается, а не снижается. Последняя фраза главы “Понтий Пилат” и первая фраза главы “Казнь”, будучи поставлены рядом, выглядят странно, и потому их надо разнести по разным главам, да и сами главы отодвинуть друг от друга. А раз главы друг от друга отодвинуты, то мотивировка появления в них вставного текста должна быть у каждой своя: в одном случае что-то рассказывает Воланд, в другом - что-то снится Ивану.

Как видим, потребности структурного сознания обеспечиваются сюжетными ходами. Структурное сознание выше сюжетного!

Из школьного курса алгебры мы помним выражение: “привести к виду, удобному для логарифмирования”. И теперь можем ответить на вопрос “Зачем горят рукописи?”

Рукописи горят, ветшают, пересказываются дословно или “близко к тексту” и претерпевают прочие неприятности и метаморфозы, чтобы в конце концов принять “вид, удобный для логарифмирования”, то есть для погружения в объемлющий текст.

Рукописи умирают, чтобы возродиться.

“Смерть для жизни новой”.

ТРИ КОМПОЗИТОРА

Одна из загадок “Мастера и Маргариты”: почему трем героям романа - героям отнюдь не эпизодическим - присвоены фамилии известных композиторов Берлиоза, Римского, Стравинского?

Если речь не идет об историческом повествовании, присваивать героям имена реальных и широко известных личностей как-то не принято. Даже не то что присвоение героям, но и простое упоминание знаменитых имен становится в ряде случаев проблематичным. Возникает, например, явление цензурирования. Так, у Достоевского в “Униженных и оскорбленных” фамилия “Белинский” цензурированием сводится к “Б.”, а в рассказе “Бобок” фамилия “Боткин” - к “Б-н”. Художественный текст противится слишком прямому вторжению реальности!

Даже если все имена в тексте - самые обычные, не знаменитые, то и тогда зачастую ощущается какой-то дискомфорт, и писатели вынуждены давать перед началом текста (или, наоборот, в конце) уведомление: мол, любые возможные совпадения имен героев с именами реальных лиц - не более чем случайность. А тут сразу три знаменитых фамилии, и все почему-то музыкальные.

Ключ к разгадке следует искать в фамилии "Римский", ибо она не полностью совпадает с фамилией композитора (Римский-Корсаков).

С финдиректором происходит непонятная вещь: на него нападают вампиры. Непонятна причина нападения. Вот Варенуха, например, наказан за то, что "хамил и лгал по телефону" и, кроме того, понес телеграммы, куда не велено было носить. А Римский вроде бы ничем перед нечистой силой не провинился.

Но, может быть, он виноват уж тем, что хочется ей кушать? В смысле - пить. Но ведь всего несколько часов назад Гелла напилась крови Варенухи: "полнокровный обычно администратор был теперь бледен меловой нездоровою бледностью, а на шее у него в душную ночь зачем-то было наверхено кашне" (чтобы скрыть следы укусов). Зачем ей еще Римский?

А сам Варенуха - всего лишь вампир-наводчик, чужая кровь ему не нужна ("я не кровожадный").

Итак, в чем цель, в чем причина нападения?

Всмотримся, вслушаемся в эту фамилию: Римский. Она - значащая. Это прилагательное от "Рим". А какое к нему подходит существительное? Много разных подходит: наместник, Колизей, клуб, папа...

Вот наместник хорошо подходит: римский наместник. То есть Пилат. Но это ложный след: зачем вампирам Пилат?

Имя финдиректора - Григорий. Оно популярно у римских пап. В частности, григорианский календарь, которым мы пользуемся, получил название в честь одного из пап, принявших имя Григорий.

А слово "наместник" действительно подходит, но - по-другому. Римский папа - наместник Бога на земле. Гелла - служанка сатаны, врага христианства. И она организует нападение на финдиректора - как на главу римско-католической церкви Папу Римского Григория, наместника Бога на земле.

Итак, фамилия "Римский" только с виду композиторская, а на деле - христианская. Ее музыкальность - лишь маскировка. И фа-

мили Берлиоз и Стравинский - хотел того или не хотел Булгаков - продолжают функцию маскировки. Они призваны создать у читателя впечатление, что и фамилия "Римский" принадлежит тому же музыкальному ряду - и тем затушевать ее христианскую сущность. Вот почему они не цензуруются.

Бен-Барух

ЗЕМЛЯ ОБЕТОВАННАЯ

Гносеологический опыт

Мы настолько привыкли доверять тропам, по которым ходит наша тренированная мысль, что опасаемся сослупить с них, словно по бокам топкое болото или минное поле... Сделав с Бен-Барухом шаг в сторону, остаешься, однако, цел и вдруг обнаруживаешь себя в пространстве, где мысль, гуляя, подобно киплингской кошке, сама по себе, озаряется вспышками истины, еще не забредавшей нам в голову. Философия здесь не мудрствование, но как бы иной способ дыхания: ему стоит поучиться — и многое видишь по-новому, а мыслить по-старому уже представляется непродуктивным.

Автор этой небольшой, но емкой книги, выступающий под псевдонимом Бен-Барух, много лет знаком читателю журнала „22” своими эссе — иногда спорными, но почти всегда запоминающимися. Книга соединяет в один пучок силовые линии его размышлений. Может быть, именно для того, чтобы возникли эти силовые линии, ему следовало оказаться здесь, на Земле Обетованной...

65 страниц, Иерусалим 1999.

World Association for Studies of Interaction of Cultures

Цена 18 изр. шек., с пересылкой – 23 шек.

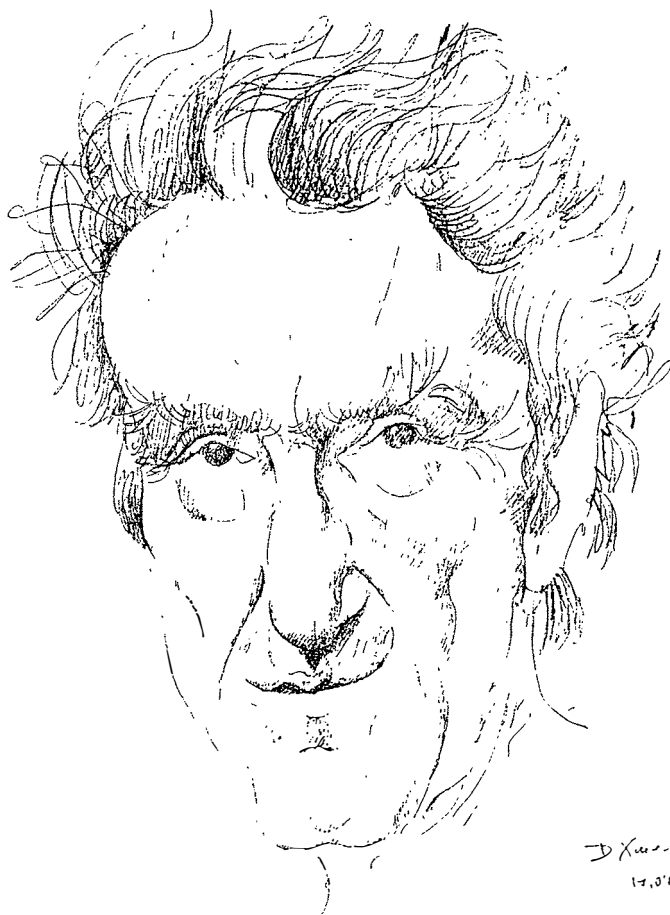
Цена за рубежом \$7,5 (включая пересылку).

Заказы по адресу:

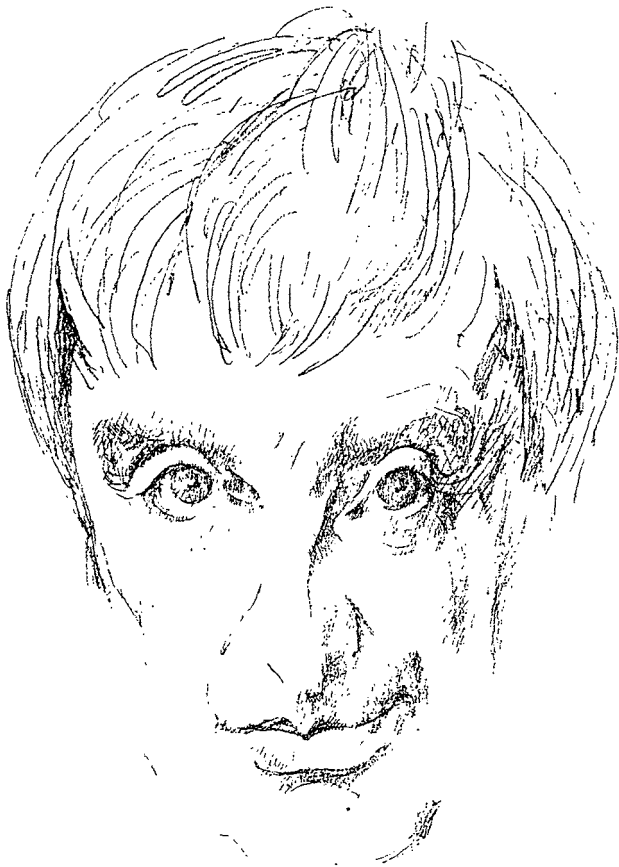
Евгений Фумбаров, P.O.B. 11213, Jerusalem 91111.

Tel. 02-6766552

ПОРТРЕТНАЯ ГАЛЕРЕЯ
ДМИТРИЯ ХМЕЛЬНИЦКОГО



Игорь Губерман



6.04.98

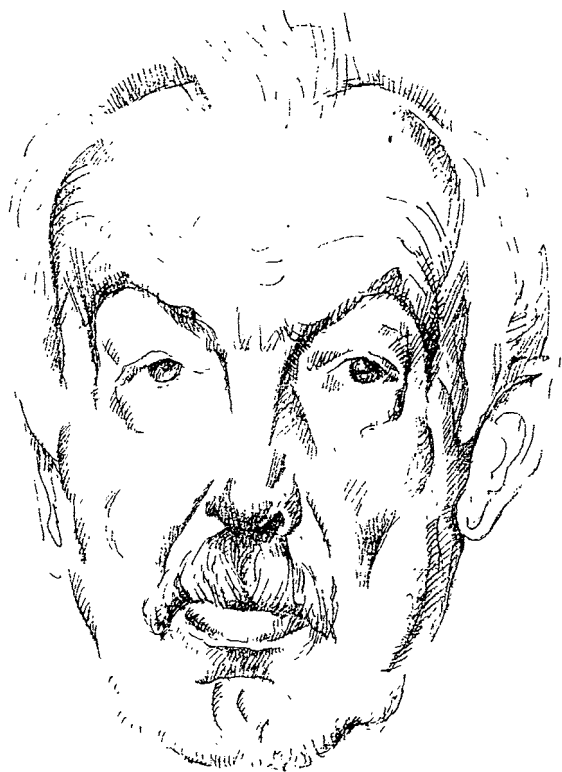
D. Хаси

Вениамин Смахов



22.10.99
D Хмельницкий.

Александр Воронель



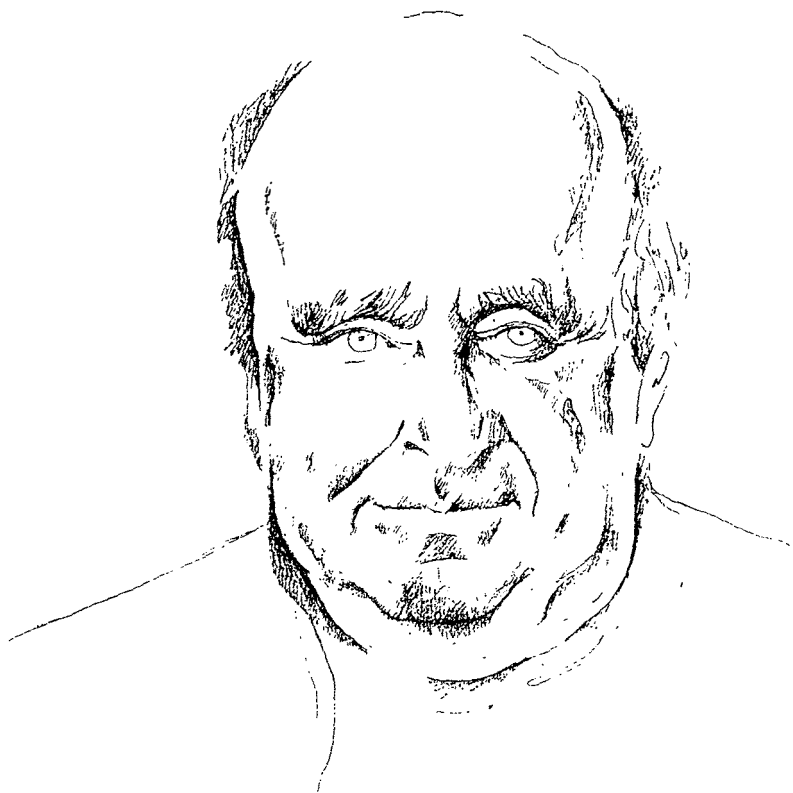
3.10.93
Д. Хитинский
(рисовал)
А. Битов
(седел)[†]

Андрей Битов

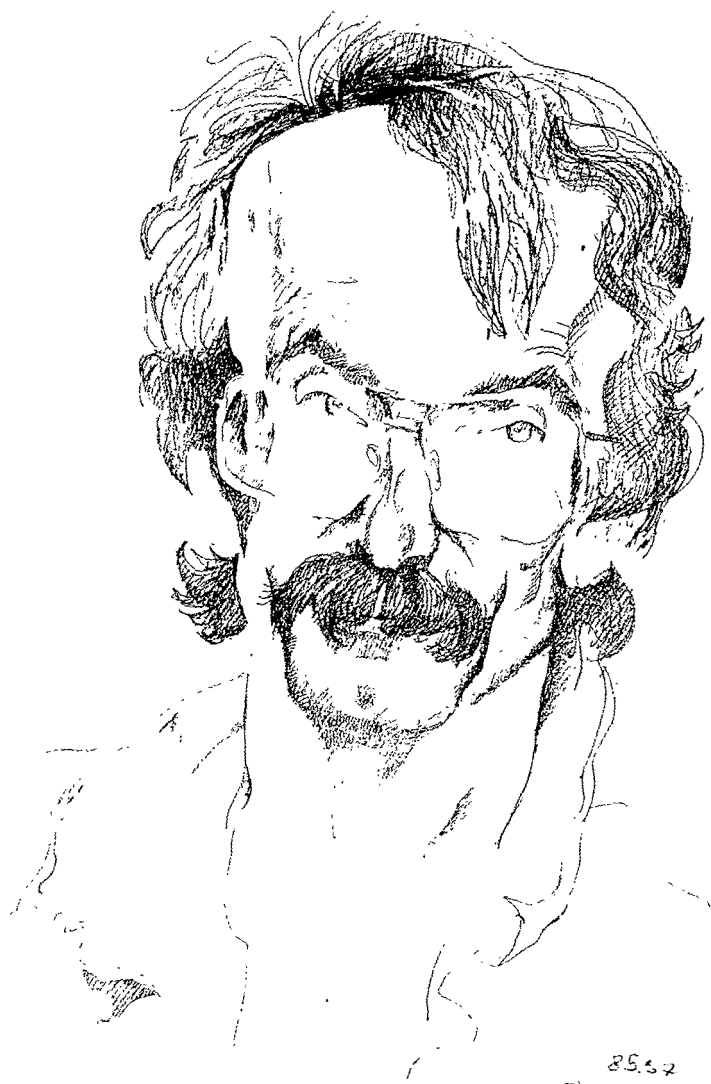


24.10.99
Д.Хачикянц

Нина Воронель

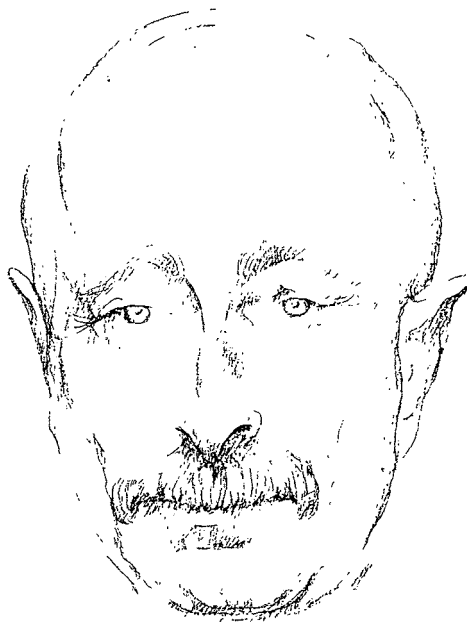


Леонид Гиршович



85.52
D. X. ...

Михаил Шаболовский

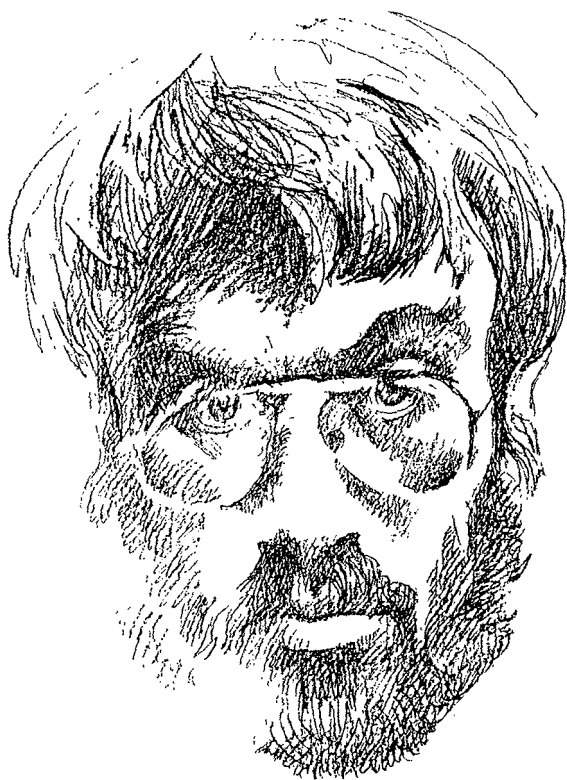


Внес камень я в дом -
Ибо мой это камень.
И вещью он станет,
Как стол и кровать.
Он бурет при шне,
Чтобы трогать рунами,
Чтоб шило ходить,
Чтобы редом стоять.

В.М.О.Г.
- В Хлебоземельце

Григорий Остер

Григорий Остер



25 10. 99
Д. Хисметович

Автопортрет

Эмилия Обухова

СЛОВО “О СЛОВАХ”

О некоторых положениях статьи Д.Соболева “О словах”

Статья Дениса Соболева “О словах” в номере 115 журнала “22” представляется ярким образцом современной публицистики. Это живое слово, даже слишком живое. Слишком, потому что статья настолько эмоциональна, так динамична и злободневна, что по совокупности всех этих качеств подошла бы скорей для публикации в газете, чем в журнале. Но она спорна, противоречива и оставляет такое ощущение, что через короткое время автор без труда смог бы пересмотреть некоторые свои положения и заменить их другими.

Любопытно, к примеру, в каком смысле Израиль представляется ему провинцией: в географическом, техническом или как периферия литературы и науки филологии на русском языке? В статье нет определенности. Д. Соболев сам доказывает ниже, кстати, очевидное, что для искусства не существует понятия центра или провинции. Тогда о чем речь?

Оказывается - о различных типах русскоязычных писателей в Израиле, и разделение их автором на группы зависит от того, какова степень их провинциальности. Не называя никаких имен (так спокойней, что ли?) автор громит всех и вся, предсказывает всем скопом, что они вскоре станут “атавизмом”. Но этим “обреченным” нашим писателям-соотечественникам автор уже и теперь не позволяет ничего: ни ностальгии, ни рефлексии, ни космополитизма. В последнем запрете есть что-то до боли знакомое.

Вообще в этой боевой статье много поразительных, напоминающих далекое советское прошлое положений. Израильским критикам, пишущим по-русски, вменяется в вину бесконтрольное употребление латинизмов, что, по мнению автора эссе, несомненный признак провинциальности. Но кто-то, может быть, помнит, как за

то же травили Лотмана и его учеников, тартуских провинциалов? И, собственно, кто же в Израиле злоупотребляет словами “интериоризация” или “амбивалентность”? Опять без адреса.

Но самое непонятное в статье - это упрек литераторам в том, что они называют себя интеллигентами. Если это о тех, кто кичится этим, тогда они не стоят и упоминания, если же все-таки это действительно интеллигенты, тогда опять, как в том анекдоте: аналогичный случай был в советской истории.

Автор статьи “О словах” задумал, кажется, разоблачить и до основания уничтожить не только само понятие “русская интеллигенция”, но и представить доказательства ее полного отсутствия - здесь, в Израиле и там, в России. На самом деле, вопрос о том, существует ли интеллигенция в России и в различных пределах распространения русского языка, не нов, довольно банален и весьма традиционен. Он был предметом споров и конфликтов в прогрессивных кругах России еще в прошлом веке и вызвал к жизни целую литературу, включая критику и эссе. Новым в статье Д. Соболева был только беспримерный тотальный нигилизм по отношению к этой общественной среде.

Автор утверждает, что со второй половины XIX века в России интеллигенцией уже некого было назвать, и во все последующие времена это был “средний слой русского общества”. По-видимому, автор пишет “средний слой”, имея в виду уровень обеспеченности тех врачей, ученых и писателей. Остается впечатление, что разночинцы, этакая голь перекатная, бесцветная масса, создавали только революционные кружки. Вот и Манделъштам считал себя разночинцем. Таким образом, у ученых и писателей из бывшего СССР, оказывается, нет никаких приличных культурных корней, ведь “подобная генеалогия... не является основанием для гордости”.

Но, кажется, уважаемый автор - и сам плоть от плоти русский интеллигент (в единственном положительном смысле), живущий и работающий в Израиле, как полагается интеллигенту, “умственно”, и этой статьей и фактом своего существования он невольно доказал противоположное своей основополагающей мысли. Получилось как с чеховской “Душечкой”: Чехов, по словам Толстого, хотел показать пустоту и несамостоятельность своей Оленьки, а сам, не желая того, возвеличил ее необыкновенную способность любить.

Итак, все эссе Д. Соболева стремится к тому, чтобы найти точное значение двух этих слов - “провинциальность” и “интеллигенция” - и соответственно производных от них. О пережевывании

первой лексемы, кажется, и думать скучно, сразу Бродский вспоминается с его аргументами преимуществ провинциальной жизни, не все же провинциальны в провинции; об определении понятия “интеллигенция” разговор уже, собственно, начат. Молодой Вознесенский когда-то, кажется, лет тридцать назад написал:

Есть русская интеллигенция!

Вы думали - нет? Есть!

Не масса индифферентная,

А совесть страны и честь.

Это было довольно удачное определение. Интересно, что бы сказали на это Пушкин, Кюхельбекер или тот же Толстой, которые, по мнению автора эссе, интеллигентами себя не считали. Но, судя по их биографиям, произведениям и письмам, они-то и были совестью и честью России. Правда, они называли себя иначе: русскими поэтами, писателями, литераторами - “литературными аристократами”. Но для ученого-филолога информация о том, что Пушкин и его окружение слово “интеллигенты” не употребляли, еще не материал для заключения, что наши поэты вообще отрицали значение интеллигенции и даже презирали ее. Просто (и автору эссе это, конечно, известно) любой язык - живой, растущий, меняющийся коммуникативный организм, и все слова в нем, а особенно слова иностранного происхождения, семантически подвижны и часто, исторически, становятся многозначными. Если бы автор заглянул в какой-нибудь этимологический словарь, он бы узнал, что со словом “интеллигенция” произошла удивительная история. Оно, конечно, иностранного происхождения, но в значении “люди, профессионально занимающиеся умственным, преимущественно сложным, творческим трудом, развитием и распространением культуры” - издавна употребляется только в русскоязычном языковом пространстве. На Западе более распространен термин “интеллектуалы”. Иначе говоря, если обычно чужое слово приживалось в русском языке при условии возникновения в России соответствующей ему реалии, то это, как сказал бы Булгаков, обратный случай.

Итак, термин “интеллигенция” соответствует понятию, по большей части связанному только с русскоязычным культурным пространством. Более того, определение “русская” рядом со словом “интеллигенция” употребляют только в определенном контексте - для усиления, а вообще это не принято, так как на русской почве эта лексема расширилась семантически. Пушкин и Вяземский об этом не могли знать, хоть самому понятию, кажется, вполне соот-

ветствовали. Это слово в их время употребляли редко и с оговорками, как "vulgar". Иначе говоря, интеллигенция была, а слова еще не было - получалось, как у Ильфа и Петрова: евреи есть, а еврейского вопроса нет. Конечно, долго так продолжаться не могло, и в конце прошлого (или позапрошлого, смотря как считать) века, в 1890-х годах, русским писателем П. Д. Боборыкиным был наконец введен термин "интеллигенция" в том значении, в каком мы с вами употребляли его с детства - "и душа, и одежда... и мысли". А уж из русского в этом именно значении он перешел в другие языки. Нам, по крайней мере, точно известно, что в иврите это действительно так. Но все-таки "русская интеллигенция" - идиома только русского языка, то есть почти всегда; когда мы говорим "интеллигенция" в смысле "образование, нравственность и духовность" ("Шишков, прости..."), речь идет только о русской интеллигенции. Пушкин с друзьями не дожили до появления этого слова в русском словаре, и заменяли формирующееся определение словосочетанием "литературные аристократы". Так что хочется напомнить автору эссе стих из Цветаевой: "Пушкиным не бейте..."

Кстати, автор пишет, что в Израиле он слышал "от представителей советского среднего класса", что интеллигенты - это те, кто "уступает место в автобусе, стирает пыль с полированных стенок" и т.п. И этим ограничивается их представление об интеллигентности. Что сказать? Может быть, метаморфозы со значением этого слова еще не завершились и продолжают в русскоязычном мире на нашей исторической родине? Во всяком случае, в среде бывшего "советского среднего класса" - опять бедноте досталось.

В современном "Словаре иностранных слов" статья к слову "интеллигенция" опирается на семантику латинского корня и учитывает условия его употребления в других языках: "Социальная группа, в которую входят люди, профессионально занимающиеся умственным трудом и обладающие необходимым для такого труда специальным образованием (инженеры, техники, врачи, учителя, юристы, работники науки и искусства)". Как видим, нравственный аспект в этом строго научном тексте не присутствует, как и положение лингвистическому справочнику.

В стихотворении Вознесенского наоборот - только нравственный, или этический, разворот смысла. Для сравнения: Толковый словарь русского языка глубоко советского времени: "Интеллигент. 1. Лицо, принадлежащее к интеллигенции. 2. То же, как человек, официальное поведение которого характеризуется безволием, ко-

лебаниями, сомнениями (презрит.)“. Вот это последнее опять знакомо до боли, так как сильно напоминает кое-что из эссе Соболева. Возможно, Д. Соболев не помнит и не может помнить атмосферу всеобщей ненависти к интеллигенции, десятилетиями насаждавшуюся коммунистами в СССР. В институтах и университетах существовало такое судилище - парткомы. Они за любую провинность могли наказывать, и чаще всего расправе подвергались именно интеллигенты. Подлинных, не “коррупцированных” ученых вызывали “на ковер” за то, что они не позволяли издеваться над студентами на овощных базах, за то, что они вставали на защиту дискриминируемых коллег, и не только евреев... да мало ли за что.

Среди тех, кто “выходил на площадь”, были всегда “интеллектуалы” - в западном смысле этого слова. Это Галич когда-то придумал такую проверку на интеллигентность:

*И все так же, не проще,
Век наш пробует нас -
Можешь выйти на площадь,
Смеешь выйти на площадь...
В тот назначенный час?!*

Уже говорилось, что еще до возникновения непонятого сегодня термина русские писатели размышляли о значении и месте интеллигенции в государстве, о ее роли в исторических событиях России. Странно, что сейчас вновь поднимается эта тема, этот исконно русский вопрос. Уж не ностальгия ли прокралась к нам незаметно? Или, может быть, возникновение вопроса о русской интеллигенции здесь, в Израиле, просто симптоматично - страна молодая. Так и в юном СССР начинали с размышлений об интеллигенции и пришли к ее уничтожению. Старую фразу о том, что во всем виновата только она, с удовольствием повторяет и Д. Соболев.

Но молодая страна Израиль имеет традицию относиться к образованности с почтением. Слава Богу, что очки и шляпа (здесь нет двусмысленности) не раздражают простой еврейский народ. Если считать каноническим определение “умственный труд плюс этика”, то первая половина его здесь принимается всеми. Что же все-таки отторгается? У Д. Соболева почему-то вызывают отвращение слова “духовность”, “честь” и все с этим связанное в старинном представлении об интеллигентном человеке. Непонятно, зачем нам превращаться в манкуртов, заниматься самоуничтожением, истребляя память о великих интеллигентах, наших современниках (Сахаров и другие, те, кто смог “выйти на площадь”, когда была

Венгрия, Чехословакия, Израиль, Афганистан), и аплодировать выкорчевыванию собственных культурных корней. Как, например, могло сложиться вот такое заключение у автора эссе "О словах": "Даже Чехов, который нам часто кажется воплощением интеллигентского духа и мироощущения, совсем не всеми современниками воспринимался в подобном ключе". Какая фраза! С какой стати все современники должны были считать Чехова своим кумиром? Лев Толстой, как известно, не считал, и критиковал Антона Павловича. Как в уже упомянутом его комментарии к "Душечке".

Что касается литературы на русском языке в Израиле, то хочу заметить, что литература эта является частью прежде всего русского языкового пространства, в котором, и только в нем, между авторами могут случаться диалоги, устанавливаться связи и отыскиваться их будущие читатели. Сюда же, хотя бы этого писатели или не хотят, входят и книги на русском языке, выходящие в Америке, Европе или в самой России. Ни к чему другому они не могут примыкать, иначе здесь, в Израиле, это будет похоже на уродливое культурное образование - "литература народов СССР". Если же Д. Соболев имел в виду борьбу русскоязычных литераторов за власть и за деньги в писательских кругах, если он пишет о каких-то чванных и эгоистичных личностях (каких?), то снова получается путаница: при чем тут интеллигенция и уж тем более ее провинциальность?

Кстати, о провинциальности. Отвращение к жизни в провинции и жажда столичных благ никогда и не были свойственны интеллигенции. Напоминать ли о земских врачах, о Ясной Поляне, о Михайловском, о Сэлинджере или Эмили Дикинсон? Но Д. Соболев пишет о псевдоинтеллигентах, живущих в Израиле и страдающих от его провинциальности, а исходя из этого утверждает, что интеллигенции здесь нет. Что сказать? Ты, Моцарт, недостойн сам себя!

Вышла в свет книга стихотворений и поэм

Наума Басовского

« СВОБОДНЫЙ СТИХ »

(240 стр.)

Цена в Израиле – 37 шек.,

в других странах – 15 долларов США, включая пересылку.

Обращаться к автору по тел 03-9500662

Адрес: Nachum Basovsky, Ben Zeev Str 8/22, 75289 Rishon Le-Zion, Israel

Михаил Юлин

ЧУВСТВО ЧУДА

“А что, если нет ничего,
А все - лишь предчувствие чуда...”
Илья Бокштейн

Я не знал его лично, к сожалению. Очень хотелось бы встретиться, поговорить, точнее - послушать... Человек, состоявший, в отличие от нас, не из воды и забот, а из чистой поэзии. Называвший, как написал Леонид Финкель, тель-авивскую Тахану Мерказит “разговором Монстра и Моцарта”. Он смотрел на мир под другим углом и видел его в ином измерении - блоковский цветной туман был привычен и прозрачен для него.

Жил, не жалуясь, здесь. “Ничем, кроме сочинительства, не занимался”, - писал он о себе. Но его “сочинительство” - это тяжелый, ежедневный, изнурительный труд души.

*Я был как все
Я пас стада овец и коз
Но когда все пастухи отдыхали
Я думал о Боге*

Он не был странником. Обитал в Яффо и изредка ходил в Тель-Авив. Он не был странным. Это мы странные и суеверные в пространстве (сказано же - и то самое царство, и все, все остальное - внутри нас). Он понимал и прощал:

*Дух рвется ввысь, как Дон-Кихот,
А жизнь пожизненно ползет.*

Илья Бокштейн. Многие сравнивают его с Хлебниковым - вселенская неприкаянность (скитальческая - у Велимира, оседлая - у Ильи), гениальность поэтического слуха. Хлебников, приложив ухо к Земному Шару, слушал ритмичный стук Хаоса (“Топот. Кони. Инок“.). И Бокштейн, судя по его рукотворным строчкам, торопли-

во, но внятно, с вариантами, записывает морзянку звуков сверху:

*Это в августе по лесу
Осени посвисты.*

Изредка они с бюджетянином пасуются, аукаются через степь времени: “Леса лысы. Леса обезлосели”. - “Лысый как пальцы лесничего лист к лесу прилип”. И нет никакой зауми, а есть звучанье:

*У колодца расколоться
Так хотела бы вода... -*

это Хлебников.

*Ты красива как крапива
Ты нежна как не жена -*

а это Бокштейн. И еще:

У вокзала нет причала...

Легкие, пляшущие, плещущие, играющие в глубине строчки, и тут же вырвавшееся невольно: “Мне только б строку одолеть...”

В книге Ильи Бокштейна “Блики волны”, написанной фактически от руки (факсимильное издание), авторские рисунки врастают в текст (тут отсылка к Ремизову, тишайшему Алексею Михайловичу, с его “кукхой”, “ахру” и взглядом на жизнь “подстриженными глазами”). Книгу невозможно читать быстро, ее надо проговаривать и рассматривать:

*И разум от них улетает
В уныло крылатый простор
Что ангелам видится раем
А змеям узорами нор.*

Илья Бокштейн всю жизнь учился и создавал учение: “Каждый из поэтов должен создавать свою поэтическую Библию”. Он называл своими учителями Гомера, греческих трагиков, Данте, Шекспира, Гете, Достоевского, Толстого. Писал, что из философов ему ближе всего св. Фома Аквинат, Гегель...

Стихи его включены в известные антологии русской поэзии XX века: “Гнозис” (1983, США); “Голубая лагуна” (1984, США); “Мулета” (1985, Франция); “Оксфордская антология” (1985, 1990, Англия); “Поэт - Поэту” (1998, США).

Вот данные из книги Мины Лейн “Генеалогия семьи Бокштейн” (1999, Хайфа): “Единственный сын Бениамина Бокштейна и Рахили Радинской - Илья Бокштейн родился 11 марта 1937 года в Москве.

Перед войной четырехлетний Илья заболел костным туберкулезом и вместе с диспансером был эвакуирован. В Москву детей вернули в 1948 году. Отец в 1941 году умер, воспитывала Илью мать.

Окончил 7 классов школы, учился в техникуме, закончил Библиотечный институт. Занимался самообразованием, его интересовали литература, философия, история.

В 1961 году выступил на площади Маяковского, где молодежь слушала поэтов, с речью о необходимости преобразовать жизнь в СССР. Был арестован и сослан в Потьму, Мордовию. Освободился в 1966 г. Ютились с матерью в одной комнате коммунальной квартиры. Илья писал "в стол", опасался нового ареста.

В 1972 году уехал в Израиль, поселился в Яффо. Печатался в газетах и журналах "Время и мы", "22", "Круг", "Алеф" и других. В 1986 году вышла книга его стихов "Блики волны", был принят в Союз израильских писателей.

Он работал над новыми книгами стихов, но не успел их завершить.

Умер неожиданно 18 октября 1999 года. Похоронен на городском кладбище Яркон в Тель-Авиве.

Илья Бокштейн, человек-остров, ушел, но океан его стихов остался. Нам видны только блики волны, а удивительные глубины, я уверен, обязательно будут исследованы.



„Без преувеличения можно сказать, что такой книги об израильской кухне еще не было“.
Вести

„Кухня Шулы – это предложение нанести визит на кухню с гарантией „Не пожалеете““.
Время

„На каждой странице находишь что-то, что возвратит тебя в мир детства с его сладкими снами, в мир, который никогда не повторится“.
Новости Недели

КУХНЯ ШУЛЫ – израильская поваренная книга, более 100 недель возглавляющая список бестселлеров. Перевод с иврита.
Израиль: 79 шек, За-границей – 20 долларов.

МЕРКУР, ул Дов Хоз 7/7, Тель-Авив. Тел: 03-527401

Михаил Копелиович

КНИЖКА С КАРТИНКАМИ

В Иерусалиме это выглядело
По-домашнему бесхитростно и мило.
З. Палванова

Одни и те же природные явления бывают грозными, а бывают и уютными. Гроза в лесу или в открытом поле, с ослепительными всполохами молний, с оглушительной сшибкой громовых литавр, с поваленными или сожженными деревьями, с потоками ливня, затопляющими все вокруг, - природа в своем пугающем, первозданном естестве. А короткий слепой дождик, с мостиками радуг, с каплями, сверкающими в солнечном луче, с быстро просыхающими лужицами - что-то такое прирученное, домашнее, смиренное. Но это иной лик все той же Природы.

Вот так же и другая стихия - стихи - может сверкать и грохотать, как поэзия Марины Цветаевой или раннего Маяковского. А может быть и тишайшей, веселой, безбурной, без клекотания страстей, роковых пророчеств или беспощадных инвектив. К последней разновидности относится стихотворство Зинаиды Палвановой, свое наиболее полное и адекватное воплощение нашедшее в книге "Иерусалимские картинки" (Иерусалим, 2000). Это название как нельзя лучше подходит книге - и не только потому, что у З. Палвановой есть соавтор, художник Вениамин Клецель, чья прелестная графика сопровождает всю книгу, от обложки до обложки (и каждый разворот). Сами стихи - тоже своего рода иерусалимские картинки, беглые зарисовки и моментальные снимки городских ландшафтов и сценок, вызвавших у автора живой эмоциональный отклик.

Каждый отдельный отклик не поражает интенсивностью переживания. Но все разом они складываются в то самое эхо, о котором Пушкин забываемо высказал:

*На всякий звук
Свой отклик в воздухе пустом
Родишь ты вдруг.*

.....
И шлешь ответ...

В этом все дело: либо “шлешь”, либо - нет. То есть рождается ли из отклика послание.

Какое послание дошло до меня, когда я перевернул последнюю страницу книги? Его главный “пункт” - открытость автора добру. Д-о-б-р-о-о-о...

*Деревья за ночь сделались седыми.
Но это не пугало душу, нет.
Наоборот, восторгом наполняло!*

Здесь синонимом добра выступает “снежный рассвет” (так называется стихотворение), и это сравнительно простой случай “эхообразования”. Тут душе вернули “родное прошлое” (слова З. Палановой).

Вот вариант посложнее. Здешнее пространство:

*Я сперва все думала: на что
здешнее пространство,
вместе взятое,
так щекотно, ускользающе похоже?*

Сходство не ускользнуло, открылось доброму внимательному взору: “А потом вдруг поняла: /на жизнь”.

Наконец, версия противоречивая (но тоже убедительная). Лирическая героиня едет в автобусе, в котором все сидячие места заняты молодежью. “Какие они красивые, /как звонко хохочут!” Хохочут они звонко, но эти полные жизни красавцы и красавицы не имеют обыкновения уступать свои места пожилым людям. И те, как говорят на Руси, “привыкли”, или, как сказано в самом стихотворении, “никто из них не ропщет”. Далее героиня признается в довольно странной (по несоответствию поводу) ассоциации: она “почему-то” вспомнила “о покорных евреях, /молча шедших на смерть”. Следует намек на поворот интонации - от восхищения к осуждению.

*Молодые хохочут.
А мне начинает казаться,
что они над нами смеются.*

Честно говоря, я (если б умел сочинять верлибры) на этом бы и закончил. Только поставил бы всегда выручающее многоточие. (Без него стих выглядел бы как элементарный очерк с намеком на мо-

раль.) А текст Зинаиды Палвановой обретает неожиданную и даже отчасти шокирующую, но и единственно необходимую концовку:

*И вдруг они все поднимаются
и дружно выходят -
словно в знак протеста
против глупых мыслей моих!*

Мысли отнюдь не глупые. Более того, абсолютно адекватные наблюдаемой ситуации. Дело вовсе не в мыслях. Дело - в умении себя дослушать. Я не хочу сказать, что стихотворение "В автобусе" написано ради последнего четверостишья. Просто эхо должно слать ответ не на часть "звука", а на весь. Без этого поэзия состояться не может. Покажу это на примере другого текста З. Палвановой. Он называется "Солнцепоклонница". Исходный посыл разрабатываемого мотива - закат над Эйн-Каремом, где семья поселилась после переезда в Иерусалим (этому событию посвящен ряд стихотворений книги). Сам закат "выделан" живописно:

*Каждый день
огромный закат
горит над Эйн-Каремом,
и ломится в дом,
и стремительно угасает.*

Ну, и..? Об эту картину (достаточно грандиозную, чтоб не вместиться в понятие "картинки") плещут и разбиваются валы разных ощущений: от жизни - "до ручки", от "новой округи" - до солнца восходящего. Но во имя чего все это?

*Где же, как не в Израиле,
жить отчаянной солнцепоклоннице
вроде меня?..*

Неуместное кокетство. Риторичность вопроса не способна ни заполнить, ни замаскировать его внутреннюю пустоту. Воистину "стихи мои здесь не всходят". А почему? Звук растворился в воздухе, не породив подлинного эха.

Еще одно - попутное - замечание. Стихотворение "Жар-птица", в целом удачный опыт в жанре "темы с вариациями", содержит двустышие, поневоле соблазняющее приставить к нему "зеркало":

*Лучшая в мире жар-птица - будильник.
С помощью железного петушка
сбудутся все твои мечты.*

(Два предыдущих катрена начинаются одной и той же строкой: "Лучшая в мире жар-птица - петух".)

Зеркало:

*... и поет по утрам все снова и снова
городской петух - толстобрюхий будильник.
Борис Слуцкий. "Горожане"*

В чем тут З. Палванова очевидно уступает маститому собрату? Опять же в том, что он своего "петушка" дослушал до конца. Исчерпывающе выработал потенциал, заложенный в мотиве.

*...бывшие деревенские дети
начинают смеяться над бывшей деревней,
над тем, что когда-то их на рассвете
будил петушок - будильник древний.*

Ну, и уж коль скоро я заговорил о Слуцком. Есть у него стихотворение под броским заголовком "Мещанское счастье". Речь в нем, собственно, об обыкновенном человеке, порешившем - "без всяческих сомнений /и без долгих прений", - что мир хорош. О счастье "от зари с рассветом". У З. Палвановой счастье ассоциируется с обыкновенным днем, который

*...начинается с хорошей погоды,
с утренней дымки между холмами,
с тихой обыкновенной свободы,
то есть права заниматься своими делами.*

И продолжается этот день не более экзотическими утехами, а именно: кормлением кошек ("во дворе хвостом и вечно голодном"), чашкой кофе и... стихопарением (отличный неологизм!). А еще есть в этом замечательном тексте "нежность, ответственность и готовность трудиться" - триада, которой можно позавидовать. В итоге:

*Полетала вольной птицей лошадка
И становится довольной лошадью птица.*

Все это не что иное, как счастье. То самое, которое Слуцкий в концовке своего стихотворения отказывается "обозвать мещанским". В "Обыкновенном дне" наша современница "держит уровень". Как, впрочем, и в ряде других стихотворений, кучно разместившихся в последней трети "Иерусалимских картинок": "На перекрестке" ("Молодые эфиопы в центре города..."), - как и "Обыкновенный день", это очень нежное стихотворение; "В Иерусалиме щедр Господь", "Скрипач на крыше", "Пурим, полнолуние и мы", "Иерусалимские холмы".

В общем, славная получилась книжка с картинками.

Коротко об авторах

Юлия Винер - поэт ("22" N 46, 89, 91, 99, 101, 115). Живет в Иерусалиме.

Катя Капович - литератор. Живет в США.

Яков Шехтер - прозаик ("22" N 82, 94, 98, 106, 109, 114). Живет в Реховоте.

Валерий Стратиевский - поэт; бард. Живет в Араде.

Вадим Фадин - российский писатель. Живет в Германии.

Владимир Ханан - поэт и публицист. Живет в Иерусалиме.

Эдуард Бормашенко - физик и публицист ("22" N 98, 103, 106, 108, 111-113, 116). Живет в Ариэле.

Александр Мелихов - российский писатель ("22" N 115). Живет в Санкт-Петербурге.

Юрий Ранюк - доктор физ.-мат. наук, начальник лаборатории ХФТИ. Живет в Харькове.

Михаил Каганов - профессор физики в Харьковском университете, затем в Институте физических проблем в Москве. Живет в Бостоне.

Александр Воронель - главный редактор "22" (с N 90), физик и публицист ("22" N 100, 104, 106, 109, 111, 113-115).

Михаил Юдсон - литератор ("22" N 73, 74, 116). Живет в Тель-Авиве.

Эли Корман - поэт, литературовед ("22" N 104). Живет в Азуре.

Дмитрий Хмельницкий - архитектор и публицист ("22" N 81, 95, 96, 99, 102, 110, 116). Живет в Берлине.

Эмилия Обухова - филолог ("22" N 101, 103, 109, 112). Живет в Нетании.

Михаил Юлин - псевдоним литератора, живущего в Тель-Авиве.

Михаил Копелиович - литературный критик ("22" N 101, 103-105, 107, 109, 111, 114, 115). Живет в Иерусалиме.

Главный редактор - Александр ВОРОНЕЛЬ

Помощник редактора - Михаил ЮДСОН

Редакционная коллегия:

**Н. ВОРОНЕЛЬ, Н. ГУТИНА,
А. ДОБРОВИЧ, А. ДОНДЕ, Н. ДРАЧИНСКАЯ,
Э. КУЗНЕЦОВ, М. ХЕЙФЕЦ,, Д. СОБОЛЕВ,
Д. ЦИФРИНОВИЧ, И. ЧАПЛИНА, Н. БАСОВСКИЙ,
В. КРАСНОГОРОВ, Э. БОРМАШЕНКО**

Заведующая редакцией - Мирьям БАРОП

Компьютерная обработка - Алекс ВАЛЛЕЙ

Печать - издательство "МЕРКУР"

Всю корреспонденцию направлять по адресу:

"22", P.O.B. 44050, Tel-Aviv 61440

Телефон редакции - 03-7394525

Все права на материалы журнала (за исключением особо оговоренных случаев) принадлежат издательству "Москва-Иерусалим", и их использование без ведома и согласия издательства не разрешается.

Стоимость годовой подписки в Израиле - 120 шек., для организаций - 130 шек., за рубежом - 80 долларов (авиапочтой в Европу - 90, в США - 95 долларов), для организаций - 100 долларов (включая пересылку).

Стоимость подписки для новых репатриантов (до 1 года в стране) - 90 шекелей (с рассрочкой в два платежа).

*Отвергнутые рукописи не возвращаются
и в переписку по их поводу редакция не вступает.*

ПОДПИСНОЙ ТАЛОН

Прошу подписать меня на журнал "22", начиная с N

Прилагаю чеки (чеки) N на сумму

Журнал прошу высылать по адресу:

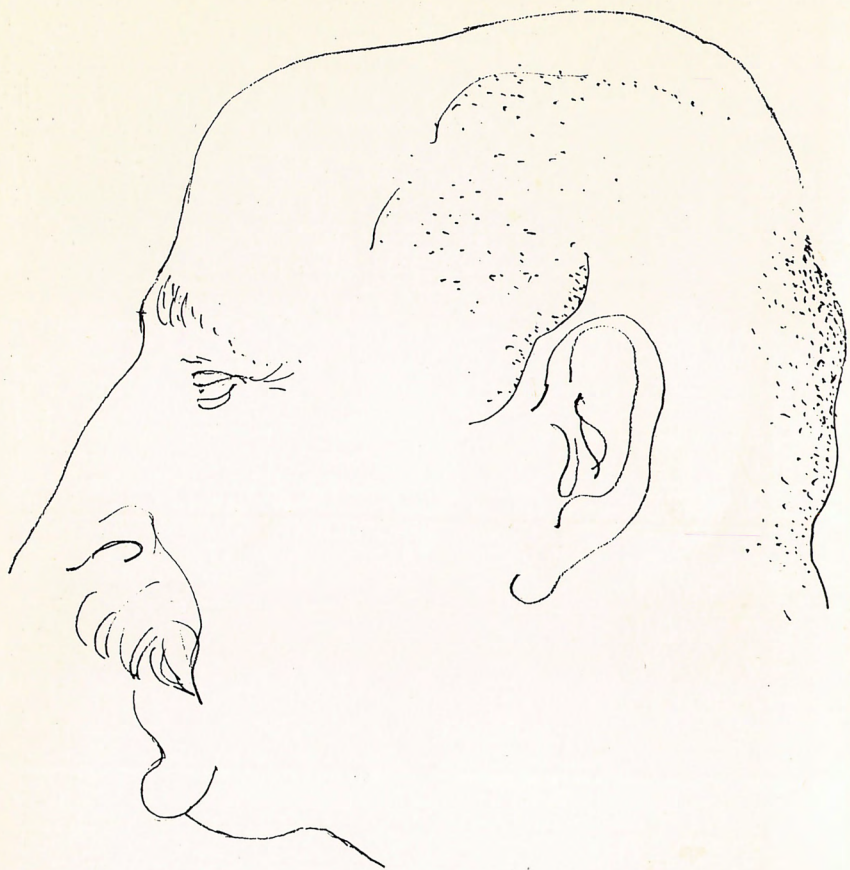
.

(пишите разборчиво, Желательно указать номер телефона)

Жертвую в фонд журнала

(фамилия)

Наш адрес: "22" Тель-Авив. 61440 п/я 44050



204.92

Д. Хитоминский

Если ты в своём кармане
Ни копеечки не нашёл,
Загляни в карман к соседу.
Очевидно деньги там.

— Дар